



ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ



ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Логика и методология науки



Логика и методология науки

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Сборник статей

Общая редакция и вступительная статья
профессора И. С. КОНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
Москва 1977

Перевод с английского, немецкого, французского
Ю. А. Асеева

Редакция литературы по философии

© Перевод на русский язык с сокращениями, «Прогресс», 1977

Ф $\frac{10506-179}{006(01)-77}$ 11-76

Цель настоящего сборника — познакомить советского читателя с некоторыми наиболее интересными работами и тенденциями западных исследователей в области философии и теории истории, включая проблему междисциплинарных связей. Интерес к этим темам в последние годы быстро растет, а вопрос о специфике истории и исторического метода, о том, что может дать история смежным общественным наукам и что они в свою очередь дают истории, не сходит со страниц научных журналов. Важное место занимает он и в подготовленном ЮНЕСКО обобщающем труде «Главные тенденции исследований в общественных и гуманитарных науках»¹.

Чем вызван этот интерес и в чем отличие современной постановки философско-исторических проблем от той, которая преобладала на Западе 20—30 лет тому назад? Для ответа на эти вопросы обратимся к истории науки.

Термин «философия истории» многозначен, и соотношение онтологической (теория исторического процесса), гносеологической (теория исторического познания) и логико-методологической (анализ методов исторического исследования и форм исторического объяснения) проблематики было неодинаковым на разных этапах развития общества (и обществоведения)².

Философия истории XVIII и первой трети XIX веков была по преимуществу теорией исторического развития. Поскольку философы стремились сформулировать цель, движущие силы и смысл исторического процесса как це-

¹ The Main Trends of Research in the Social and Human Sciences, Part 1—2, Paris, 1970—1975. Глава об истории во 2-м томе написана известным английским историком Д. Барраклафом.

² См. об этом подробнее: И. С. Кон. Проблема истории в истории философии, в кн.: «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 4, Томск, 1966; его же: «Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли». М., 1959.

лого, их теории неизбежно принимали спекулятивный характер.

Как писал Энгельс, задача преодоления спекулятивной философии истории «в конечном счете сводилась к открытию тех общих законов движения, которые в качестве господствующих прокладывают себе путь в истории человеческого общества»³. Эта задача была выполнена Марксом.

В свете материалистического понимания истории философия не претендует на то, чтобы дать априорную схему всемирно-исторического развития. Изучение прошлого, как и настоящего, не может обойтись без определенных теоретических предпосылок. Однако «эти абстракции отнюдь не дают рецепта или схемы, под которые можно подогнать исторические эпохи. Наоборот, трудности только тогда и начинаются, когда приступают к рассмотрению и упорядочению материала, относится ли он к минувшей эпохе или к современности, когда принимаются за его действительное изображение»⁴.

Исторический материализм открывает широчайшие перспективы как для развития социальной теории, так и для разработки гносеологии и логики исторического познания. Но буржуазные ученые в силу своей идеологической ограниченности отнеслись к новой теории враждебно. Вульгарно-экономическое истолкование марксизма его критиками было принято большинством академических ученых на веру, и это серьезно задержало развитие научного обществоведения.

В немарксистской философии второй половины XIX века сложились две различные линии в отношении истории. Первая была представлена позитивизмом, вторая — неоидеалистическими философскими течениями (неокантианство, неогегельянство, философия жизни и др.).

Позитивизм Конта — Спенсера — Милля, развиваясь в полемике с традициями романтической историографии, подчеркивал единство научного знания и необходимость превращения истории в такую же строгую науку, как и естествознание. Критикуя примитивную описательность и сведение исторического процесса к случайной деятельно-

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 305.

⁴ Там же, т. 3, стр. 26.

сти «великих людей», доказывая возможность и необходимость широких обобщений относительно общественной жизни, позитивизм оказал определенное положительное влияние на историческую науку XIX века, способствуя переходу от описательно-повествовательной истории отдельных событий к изучению сложной эволюции социально-экономических процессов, отношений и структур.

Тем не менее, не говоря уже о несостоятельности их философских предпосылок, позитивисты крайне упрощенно понимали природу и задачи социально-исторического познания. Онтологическую проблематику, то есть объяснение исторического процесса, они целиком и полностью отдавали социологии.

Историки социологии до сих пор обсуждают, была ли эволюционистская социология XIX века действительно исторической. Но ответ на этот вопрос зависит от того, что понимать под «историзмом». С одной стороны, историзм ассоциируется с идеей закономерного развития, которая была, безусловно, присуща позитивистской социологии. Полемика Спенсера и других социологов-эволюционистов с «традиционными» историками велась именно под знаменем детерминизма и борьбы против культа «случая» и «великих людей». Но, с другой стороны, историзм, в его марксистском понимании, не ограничивается указанием на закономерность процесса развития в целом, он ориентирует на конкретное изучение особенностей *каждого отдельного* явления, его собственных фаз и состояний. «Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь (α) исторически; (β) лишь в связи с другими; (γ) лишь в связи с конкретным опытом истории»⁵, — писал В. И. Ленин.

Такая конкретность была глубоко чужда позитивистской социологии. Контовская социальная динамика мыслилась как «абстрактная история», «история без человеческих имен и даже без имен народов»⁶. «Законы» и «стадии развития» общества выводились не из эмпирической истории, а из некоторых общеполитических принципов. Да и сам принцип развития толковался социологами-позитивистами плоско, вульгарно, упрощенно. Рассматривая

⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 49, стр. 329.

⁶ А. Comte. Cours de philosophie positive, t. V. Paris, 1908, р. 8.

буржуазную цивилизацию как высший этап социальной эволюции и не замечая ее внутренних антагонизмов, они представляли всю предшествующую историю лишь как «подготовку» нынешнего положения вещей. Идея развития превращалась при этом в зауряднейший ортогенез, несовместимый ни с исторической конкретностью, ни с эмпирической проверкой суждений. Именно эти концепции имел в виду Маркс, говоря, что «так называемое историческое развитие покоится вообще на том, что новейшая форма рассматривает предыдущие как ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко и только при совершенно определенных условиях она бывает способна к самокритике»⁷.

Отсюда — пренебрежение «описательной» историей и нескончаемая полемика между социологами и историками. Причем в этих спорах нельзя по справедливости принять сторону тех или других. У социологов идея закономерности и повторяемости явлений оборачивается полным пренебрежением к особенному и единичному, а у историков мысль об уникальности исторических событий доводится до отрицания возможности каких бы то ни было теоретических обобщений.

Позитивисты не видели гносеологической и логической специфики исторического познания, рассматривая историю либо как склад «сырого материала», который должна обобщить социология, либо как «недоразвитую» науку, особенности которой объясняются именно ее недоразвитостью.

Противоположная позиция была представлена неоиdealистической «критической философией истории». Продолжая традиции романтической историографии, неоиdealизм подчеркивал значение индивидуального в историческом процессе, а в теории исторического познания, которой он занимался особенно много, — его специфичность, несводимость к познанию естественнонаучному. Хотя эта специфика по-разному определялась различными школами и авторами (Дильтей, Кроче, Виндельбанд и Риккерт, позже Коллингвуд), ей всегда придавалось решающее значение, причем она использовалась как средство борьбы против идеи детерминизма и применения научных методов в обществоведении в целом. Методологическая специфика

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 732.

исторического исследования выводилась при этом не столько из конкретного анализа методов, действительно применяемых историками, сколько из общефилософских постулатов. Даже у Риккерта, которого интересовала прежде всего методологическая сторона дела, методология и логика занимают фактически подчиненное место по отношению к философии ценностей.

Методологические дискуссии конца XIX — начала XX в. привели к резкому противопоставлению «индивидуализирующей» истории теоретическим разделам обществоведения. Поскольку они развертывались на фоне интенсивной дифференциации и специализации общественных наук, каждая из которых была весьма озабочена своей предметной и методологической автономией, значение проблемы междисциплинарных «границ» вообще было сильно гипертрофировано.

Разочарование в глобальных эволюционистских схемах плюс внутренние трудности развития исторической мысли выдвинули на первый план *гносеологические* проблемы истории: вопрос о природе исторического познания, критериях его истинности, понятии научной «объективности» и т. д. Споры «объективистов» с «субъективистами» занимают центральное место в философско-исторических дискуссиях 20—50-х годов. Значение этих дискуссий противоречиво. С одной стороны, они расшатывали укоренившуюся в сознании традиционных историков иллюзию о «беспредпосылочности» исторического познания, показывали его неустранимую партийность, стимулировали философские интересы и понимание того, что, хочет историк того или нет, его мышление является концептуальным. С другой стороны, вульгарный субъективизм, свойственный, например, американскому «презентизму», порождал скепсис в отношении исторического познания, вольно или невольно обосновывая модернизацию истории. Дискуссии по этим вопросам (равно как и их философское исследование) продолжаются и сегодня. Но они уже не занимают прежнего центрального места; их отодвинули два новых, причем взаимосвязанных, круга проблем: 1) логико-методологическая специфика истории, исследуемая средствами современного логического анализа, и 2) новые проблемы и методы исторического исследования и место истории в системе общественных наук.

Эта переориентация философско-теоретического мышления начиная особенно с 60-х годов имеет серьезные социальные и идейные предпосылки.

Потребность в истории и историческом мышлении активизировалась прежде всего под влиянием социально-исторических сдвигов. Мир, в котором мы живем, быстро меняется. Грандиозные социальные проблемы, перед которыми стоит человеческое общество, будь то предотвращение войны, демографический взрыв, научно-техническая революция или экологический кризис, не могут быть не только решены, но и осмыслены вне широкого исторического подхода. Развитие мирового социализма и появление «третьего мира» напоминают буржуазному обществу о его собственной исторической ограниченности. Все это не могло не подорвать авторитет теорий и концепций, подчеркивавших момент стабильности и постоянства социальных систем.

Тенденция к «историзации» общественных наук и ее трудности яснее всего выступают в социологии. Позитивистская социология начала с того, что присвоила себе главную функцию традиционной «философии истории» — объяснение исторической эволюции. Однако кризис эволюционизма уже в начале XX века заставил социологов искать другую точку опоры.

Социологическая теория пошла по пути формализации и построения абстрактных моделей общества, не связанных с определенной исторической реальностью.

Трудность сочетания формально-аналитической типологии с исторической обнаруживается уже у Ф. Тенниса. Теннис подразделил все общественные отношения на отношения типа общины (*Gemeinschaft*), для которых характерна патриархальность, интимная близость людей, и отношения типа общества (*Gesellschaft*), основанные на взаимной выгоде и разделении функций. Но каковы основы этой типологии? С одной стороны, Теннис рассматривает ее как историческую, указывая, что с переходом к капитализму патриархально-общинные отношения все больше уступают место безлично-функциональным. С другой стороны, он придает своей типологии формально-аналитический характер, связывая «общину» и «общество» с преобладанием двух различных типов воли — «сущностной» и «произвольной». Но историческая классификация разных типов обществ не может совпадать с психологи-

ческой классификацией типов индивидуальной воли. Отсюда — методологические трудности, возникшие позднее в связи с применением этой схемы, в которой одни видят обозначения реальных *стадий* развития общества, другие — формальную классификацию, применимую к любым социальным объектам, в какой бы среде они ни находились.

Эти трудности отчетливо сознавал и Макс Вебер. Говоря о теоретических понятиях социологии как об «идеальных типах», Вебер стремился подчеркнуть факт *несовпадения* социологических понятий и исторической реальности, условность теоретических конструкций. Но идеально-типические понятия были для Вебера прежде всего средством познания исторически-конкретного. В последующем развитии социологии, особенно в США, эта связь была утеряна, и веберовские понятия превратились в формальные классификационные схемы, прилагаемые к любому обществу.

Таким образом, формализация и «методологизация» социологической теории освободили ее от некоторых ограничений, свойственных традиционному эволюционизму, но вместе с тем сделали ее отношение к конкретной истории еще более проблематичным.

Тот же результат имело и развитие эмпирической тенденции в социологии. Появление эмпирической социологии было закономерным следствием процесса дифференциации и специализации научного труда и отвечало практическим запросам буржуазного общества.

Эмпирическая социология — это ценный источник фактической информации, который не может быть заменен ничем другим. Но эмпирические исследования, хотя бы в силу локальности, ограниченности своих объектов, в большинстве случаев не нуждаются в широкой исторической перспективе. Более общая социальная система, к которой принадлежит изучаемый частный объект, включается (и то лишь отдельными своими аспектами) в содержание объясняющих суждений, но сама по себе не является предметом объяснения.

Однако эмпирическая социология оказывается недостаточной, бессильной, как только заходит речь об интерпретации более или менее длительных и широких социальных процессов. Социологи всего мира, изучающие структуру и динамику свободного времени, констатируют,

что количество свободного времени у трудящихся по сравнению с эпохой раннего капитализма значительно возросло. Но чтобы правильно оценить эту тенденцию, нужно помнить, что исторически ей предшествовал противоположный процесс — громадный рост продолжительности рабочего дня в начале капиталистической эпохи. По подсчетам Г. Виленского, годовой досуг современного английского квалифицированного рабочего достиг всего лишь уровня ремесленника XIII века⁸.

Еще сложнее качественный анализ. Социологи бурно обсуждают, «деградирует» или «прогрессирует» на Западе культура широких народных масс. Одни авторы утверждают наличие регресса: в «массовой культуре» все меньше серьезных тем, люди все больше используют досуг как средство уйти от повседневной жизни, зрелища вытеснили героев, человек меньше творит, чем потребляет, средства массовой коммуникации беззастенчиво манипулируют его потребностями и т. п. Другие, наоборот, пытаются доказать наличие прогресса: никогда не было столь высокой грамотности, никогда не продавалось такого количества книг, в том числе заведомо хороших, беспрецедентен размах театрально-концертной деятельности и т. д.

Но чисто количественный подход не вскрывает глубокие проблемы. Качественный же анализ должен принять во внимание историчность и изменчивость самих критериев культурных ценностей. В частности, нельзя не согласиться с Ж. Дюмазедье, что распространенное на Западе подразделение культуры на «высокую», «среднюю» и «низкую» само «остается в плену традиционной интеллектуалистской концепции культуры»⁹. Социологи невольно оценивают современную культуру по нормам прошлого. Но культурные нормы сами относительны. В XVII в., например, трагедия считалась более возвышенным и серьезным искусством, чем роман. Вполне возможно, что те жанры, которые сегодня считаются малыми, второстепенными, завтра будут признаны основными. То есть требуется серьезный *историко-социологический* ана-

⁸ H. L. Wilensky. The uneven distribution of leisure: the impact of economic growth on "free time". — "Social Problems", vol. 9, Summer 1961.

⁹ J. Dumazedier, A. Ripert. *Loisir et culture*. Paris, 1966, p. 49.

лиз, а не просто сравнение вещей и явлений вне их исторического контекста.

Или взять проблему молодежи. Социолог, не искушенный в истории, склонен думать, что прошлое отличалось от настоящего только количественно. Но стоило Ф. Ариесу, отрывки из книги которого помещены в этом сборнике, обратиться к истории детства, как выяснилось, что и механизмы социализации, и символические представления о детстве были в средневековой Европе совсем иными, чем в новое время. Средневековой мысли было известно понятие «возрастов» или эпох жизни, но за ними не стояла идея развития личности. В живописи раннего средневековья ребенок обычно изображался просто как уменьшенная копия взрослого. Вплоть до XVII века не было специфически детских костюмов: как только ребенок расставался с пеленками, его начинали одевать по соответствующей сословию моде. Не существовало, по видимому, и специфически детских игр — дети, в меру своих возможностей, развлекались так же, как взрослые. Высокая детская смертность воспринималась как нечто само собой разумеющееся, а весь уклад феодальной жизни не допускал между родителями и детьми особой интимности. Передача накопленного старшими опыта осуществлялась в основном путем непосредственного практического включения ребенка в систему деятельности взрослых. Сначала ребенок выполнял подсобные функции в родительской семье, а затем и вне дома (ученики в ремесленных цехах, пажи и оруженосцы у рыцарей, послушники в монастырях и т. п.); обучение было органической частью труда и быта. Английский статут о ремесленниках 1563 года требовал, чтобы каждый ремесленник в городе или в сельской местности обучался своему ремеслу в течение 7 лет под наблюдением мастера, который за него отвечал. Считалось, что «пока человек не достигнет 23 лет, он большей частью — хотя и не всегда — необуздан, не имеет правильных суждений и недостаточно опытен, чтобы управлять собой». Лишь после 24 лет, окончив срок ученичества, он мог жениться и завести собственное дело или стать подмастерьем по найму¹⁰. Пережитки такой системы отношений ремеслен-

¹⁰ Дж. М. Тревельян. Социальная история Англии. М., 1959, стр. 214.

ника с учениками сохранились до времен Диккенса и описаны им в «Оливере Твисте».

Школьное обучение в средние века, не говоря уже о том, что его получало ничтожное меньшинство детей, выполняло только подсобные функции. Средневековая школа и университет не строились по возрастному принципу. В одном и том же классе сидели школяры самого различного возраста. «Смешение» детей и взрослых продолжалось и вне школы. Даже в XVII веке, когда система образования стала гораздо более четкой, возраст учащихся в одном и том же классе варьировал чрезвычайно сильно. Ни о какой возрастной однородности и возрастном самосознании здесь не могло быть речи. Вся эта система социализации была рассчитана на то, чтобы выработать у индивида в первую очередь чувство сословной принадлежности, по сравнению с которой все прочие связи казались второстепенными.

Какое отношение все это имеет к современным проблемам, изучаемым социологией? Самое непосредственное. Ведь только на историческом фоне можно правильно понять и оценить современные механизмы социализации молодежи и связанные с ними проблемы (рост юношеского самосознания, группа сверстников как фактор социализации, степень автономии молодежи от старших и т. д.). Долгосрочное прогнозирование нельзя основывать только на изучении кратковременных тенденций.

Осознание необходимости обращения к историческому контексту способствовало тому, что социологи ныне сами ставят вопрос о возрождении «исторического видения». В 1958 г. Г. Э. Барнес определенно писал, что историческая социология «мертва и нет никаких шансов на ее возрождение»¹¹. А в 1970 г. Американская социологическая ассоциация избрала темой своего 65-го годичного собрания «Исторические перспективы и социологическое исследование». Даже крупные теоретики функционализма пытаются сейчас сочетать структурно-функциональный подход со сравнительно-историческим, применить свои схемы к изучению конкретных исторических периодов, а свои аналитические категории представить

¹¹ H. E. Barnes. Historical Sociology.— In: Contemporary Sociology, ed. by J. S. Roucek, N. Y., 1958, p. 266.

в виде неких «эволюционных универсалий» (Т. Парсонс)¹².

Тяга к «историзации» наблюдается и в других науках об обществе и человеке (неоэволюционизм в этнографии — Л. Уайт, Дж. Стюард и др., историческая психология И. Мейерсона и др. и т. д.).

Движение от общественных наук к истории дополняется встречным потоком — от истории к общественным наукам. Изменения, происшедшие в исторической науке за последние 15—20 лет, весьма значительны.

Прежде всего история обрела новые *объекты* исследования: то, что раньше затрагивалось мимоходом или не освещалось вовсе, теперь стало предметом специальных исследований. Таковы, например, история науки; история быта и экологической среды (включая жилище, питание, одежду); история семьи и детства; история жизненных стилей и ценностных систем (включая историю высших нравственных чувств); история душевных заболеваний и т. д. Дело не столько в новых предметах самих по себе, тем более что некоторые из них изучались, пусть менее подробно, и раньше, — сколько в постановке новых *проблем*. Традиционный историк занимался в первую очередь определенным хронологическим периодом и страной. Современный историк тоже связан рамками места и времени, но он все чаще отправляется от проблемы, поставленной теоретическим обществоведением, которую он и исследует на своем материале. Его интересует не только и не столько взаимосвязь событий, сколько эволюция определенных социально-экономических или психических структур, процессов и отношений. Новые разделы истории более теоретичны и гораздо теснее связаны со смежными науками. Наконец, историческая наука существенно обогатила свои *методы*: тут и строгий количественный анализ, и структурные методы, и семиотика, и ряд других подходов.

Новые предметы, проблемы и методы исторического исследования предполагают постоянное и гораздо более тесное, чем раньше, сотрудничество историков с предста-

¹² См., например: N. J. Smelser. *Social Change in the Industrial Revolution: An Application of Theory to the British Cotton Industry*. Chicago, 1959; T. Parsons. *Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs, 1966; T. Parsons. *The System of Modern Societies*. Englewood Cliffs, 1971.

вителями смежных общественных (и даже естественных) наук. Расширение и углубление междисциплинарных связей является, вероятно, одной из главных задач современного обществоведения в целом.

Все чаще проводятся междисциплинарные симпозиумы, быстро растет число публикаций, специально посвященных взаимоотношениям истории с другими общественными науками — социологией, политэкономией, психологией, этнологией, демографией и т. д.¹³ Причем, если раньше акцент делался в основном на *размежевании* границ отдельных дисциплин, то сейчас больше внимания уделяется проблеме их сотрудничества и взаимопроникновения. Происходит интенсивный обмен идеями и методами. С одной стороны, историки описывают и систематизируют свой материал в терминах смежных наук. С другой стороны, социологи, экономисты и т. д. пытаются распространить и проверить свои концепции на историческом материале. Важную роль в углублении междисциплинарной кооперации играют такие журналы, как «Annales», «Past and Present», «History and Theory», «Comparative Studies in Society and History» и основанный в 1970 г. «Journal of Interdisciplinary History».

В большинстве случаев это взаимопроникновение не устраняет междисциплинарных границ, и работу социологически (или психологически) ориентированного историка всегда можно отличить от работы «исторически ориентированного» социолога или психолога. Однако на стыке смежных наук возникают и автономные «пограничные» дисциплины, обладающие своим собственным понятийным аппаратом и отличающиеся от обеих «материнских» наук.

¹³ В числе важнейших публикаций этого рода нужно указать: W. J. Cahnman and A. Boskoff, eds. *Sociology and History. Theory and Research*. N. Y., 1964; S. M. Lipset and R. Hofstadter, eds. *Sociology and History. Methods*. N. Y., 1966; D. K. Romney and J. A. Graham, Jr., eds. *Quantitative History*, Homewood, Ill., 1969; *Historical Studies Today* ("Daedalus", Winter 1971); *The Historian and the World of the Twentieth Century* ("Daedalus", Spring 1971); *L'historien entre l'ethnologue et le futurologue*. Postface par R. Aron. Paris, 1972; P.-Ch. Ludz, Hrsg. *Soziologie und Sozialgeschichte* (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 16. Köln, 1972); *Faire de l'histoire*. Sous la direction de J. Le Goff et P. Nora, t. I: *Nouveaux problèmes*, t. 2: *Nouvelles approches*, t. 3: *Nouvelles objets*. Paris, 1974.

К числу таких дисциплин, быстро растущих в последние годы, относится прежде всего историческая демография¹⁴. Группа французских исторических демографов (П. Губер, Ж. Анри) и их английские последователи (П. Ласлетт, Д. Ригли) и др. применили всю совокупность современных демографических понятий и методов к анализу структуры и динамики народонаселения Англии и Франции XVI—XVII веков. Их исследования являются в полном значении этого слова демографическими, не утрачивая при этом и своего исторического характера, поскольку изучение народонаселения эти авторы связывают с особенностями социально-экономической структуры изучаемого ими общества, культуры определенного исторического периода и т. д.

Более сложным путем идет развитие исторической психологии. Ее конституирование в автономную дисциплину задерживается серьезными расхождениями, касающимися не только соотношения истории и психологии, но и самих теоретических основ обеих этих дисциплин. В ФРГ «исторической психологией» называют исследования, продолжающие романтическую традицию «истории духа» и имеющие мало общего с современной экспериментальной психологией.

Во Франции, где исторической психологии уделяется особенно много внимания, она строится на рационалистических началах¹⁵. Прежде всего это материалистическая традиция в психологии (линия Анри Валлон—Ипполит Мейерсон—Жан-Пьер Вернан), развивающая принцип социальной детерминированности и тем самым исторической изменчивости всех психических функций людей; наиболее значительные достижения она имеет в изучении античности¹⁶. Далее, это традиция французской социологической

¹⁴ О состоянии современной исторической демографии см.: R. Revelle, ed. Historical Population Studies ("Daedalus", Spring 1968); важнейшая публикация «Кембриджской группы по истории населения и социальной структуры» — коллективный труд «Household and Family in Past Time», ed. by P. Laslett. Cambridge University Press, 1972.

¹⁵ См.: Л. И. Анцыферова. Материалистические идеи в зарубежной психологии. М., 1974, стр. 219—247.

¹⁶ См.: J.-P. Vernant. Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique, V. 1—2, Paris, 1971; J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet. Mythe et tragédie en Grèce ancienne. Paris, 1973; См. о них О. М. Тутунджян. Прогрессивные тенденции в исто-

школы, развиваемая историками «Анналов» (Люсьен Февр, Робер Мандру и др.)¹⁷, изучающими преимущественно образ мышления средневекового человека и человека начала нового времени. И наконец, это исследования, теоретической основой которых является структурная лингвистика (Мишель Фуко)¹⁸. В некоторых аспектах эти подходы близки, но по существу своему они различны.

В США историко-психологические исследования, получившие название «психоистории» и сосредоточенные ныне вокруг нового междисциплинарного журнала «History of Childhood Quarterly» (с 1973 г.), развиваются в основном в русле неофрейдизма¹⁹. Особенно большим влиянием пользуются здесь идеи известного детского психоаналитика, автора одной из наиболее разработанных теорий психологического развития личности, основанной не только на клинических данных, но и на изучении исторических биографий (ему принадлежат работы о молодом Лютере и о Ганди), Эрика Эриксона²⁰.

Эта пестрота теоретических ориентаций (тем более что есть немало авторов, которые стоят вне перечисленных течений²¹), естественно, мешает формированию исторической психологии в самостоятельную дисциплину, хотя как предмет исследования она уже сложилась.

Сближение истории с другими науками на уровне проблем и методов неизбежно влечет за собой и определенную

рической психологии Иньяса Мейерсона. — «Вопросы психологии», 1963, № 3; И. Д. Рожанский. Проблемы исторической психологии и изучение античности. — «Вопросы философии», 1971, № 9.

¹⁷ См.: И. И. Розовская. Проблематика социально-исторической психологии в зарубежной историографии XX века. — «Вопросы философии», 1972, № 7.

¹⁸ См.: М. Foucault. Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris, 1961; Les mots et les choses. Paris, 1966; L'archéologie du savoir. Paris, 1969; о нем — Н. С. Автономова. Концепция «археологического знания» М. Фуко. — «Вопросы философии», 1972, № 10.

¹⁹ См.: В. Mazlish, ed. Psychoanalysis and History. Prentice-Hall, 1963; В. В. Wolman, ed. The Psychoanalytic Interpretation of History. N. Y., 1971. См. также: А. Besançon. Histoire et expérience du moi. Paris, 1971.

²⁰ См.: E. H. Erikson. Childhood and Society. 2 ed., N. Y., 1963; Young Man Luther. N. Y., 1958; Identity. Youth and Crisis. N. Y., 1968; Gandhi's Truth. N. Y., 1969.

²¹ См. например: Z. Barbu. Problems of Historical Psychology. London, 1960; W. Lепенies. Melancholie und Gesellschaft. Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1972.

переориентацию традиционной философско-исторической проблематики. Прежде всего это означает, что логико-методологические исследования исторического познания теперь направлены не только на уяснение особенностей истории как науки, но и на поиск логических мостов, связывающих ее с другими дисциплинами.

Составляя предлагаемый вниманию читателя сборник переводов, мы стремились не только показать главные направления теоретико-методологических поисков, их ведущую *проблематику*, но и представить *столкновение* разных точек зрения и *подходов*, в борьбе которых осуществляется изучение этих проблем. Первый раздел сборника «Логические проблемы исторического исследования» включает работы известных англо-американских философов — У. Дрей, К. Гемпеля и Э. Нагеля, посвященные в основном логике исторического объяснения. Поскольку подробный анализ этой дискуссии дан в другом месте²², я ограничусь здесь краткими замечаниями.

Гемпель и Дрей — представители двух полярных точек зрения. Гемпель доказывает, что научное объяснение исторического события означает «подведение» его под какой-то общий закон. Дрей защищает модель «рационального» объяснения события на основе анализа мотивов его участников. Корни этого спора уходят в дискуссию позитивистов и неокантианцев конца прошлого века. Однако обращает на себя внимание следующее: во-первых, спор переместился теперь в логическую плоскость и, во-вторых, ослабились «крайние» позиции. Гемпель, отстаивая свой принципиальный подход, делает важное уточнение: подведение под общий закон объясняет не конкретное историческое событие в его целостности, а лишь какой-то определенный его аспект. Это уточнение позиции существенно приближает логическую схему к реальной исследовательской практике, поскольку, кроме объяснения через «охватывающий закон», которое анализируют Поппер и Гемпель, и «рационального объяснения», о котором пишет Дрей, существует еще целый ряд объяснительных приемов: аналогия, причинное объяснение без отсылки к общему закону, функциональное объяснение и т. п.²³. К со-

²² «Философские проблемы исторической науки». М., 1969, стр. 263—295. См. также: В. С. Швырев. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. М., 1966.

жалению, логики, изучающие структуру научного объяснения, часто не учитывают того, что различные виды объяснений соответствуют различным типам проблем и потому могут иметь неодинаковый «удельный вес» при изучении тех или иных сфер исторической реальности (экономики, политики, культуры и т. д.).

То, что у логиков выступает как различие типов научного объяснения, историки обсуждают как проблему соотношения безличных социальных структур и долгосрочных процессов, с одной стороны, и конкретных единичных событий и личностей — с другой. Этому посвящен второй раздел нашего сборника, «События и структуры». Он также построен по принципу столкновения различных точек зрения.

Тенденция к превращению истории из науки о событиях в науку о социально-исторических процессах, отношениях и структурах в современной западной историографии наиболее ярко представлена французской школой «Анналов», основанной в 20-х годах Марком Блоком и Люсьеном Февром²⁴. Статья нынешнего главы этого течения Фернана Броделя дает общее представление о его теоретико-методологических установках. Прежде всего Бродель подчеркивает стремление к синтезу истории с общественными науками. «Я хотел бы, чтобы общественные науки прекратили пока спор о своих взаимных границах, о том, что является, а что не является общественной наукой, что можно, а что нельзя назвать структурой... Пусть они лучше попытаются проследить в наших исследованиях линии, если таковые имеются, которые могли бы направить коллективное исследование, а также темы, позволяющие достичь какого-то сближения. Для меня лично такими направлениями являются: математизация, пространственные связи, долгосрочные тенденции»²⁵. Выход из труд-

²³ См. об этом подробнее: Е. П. Никитин. Объяснение — функция науки, М., 1970.

²⁴ На русский язык переведены две книги М. Блока: Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957 (с предисловием А. Д. Люблинской); Апология истории или ремесло историка. М., 1973 (с послесловием А. Я. Гуревича). См. также Ж а к Л е Г о ф ф. Существовала ли французская историческая школа «Annales»? — «Французский ежегодник, 1968». М., 1970.

²⁵ F. Braudel. Histoire et sciences sociales. La longue durée. — «Annales», oct. — dec., 1958, p. 753.

ностей обществоведения, запросы и методы которого не вмещаются в рамки традиционной «гуманистики», Бродель видит в расширении его методологических горизонтов, придавая особое значение разработке проблемы исторического времени. В любом исследовании нужно учитывать хронологический масштаб, свойственный данному объекту (одно дело — конкретные события, другое — экономические циклы, третье — долгосрочные процессы и структуры, существование и эволюция которых измеряются столетиями и даже тысячелетиями).

«Социологическая» ориентация «Анналов» весьма влиятельна. И все-таки она вызывает острую полемику, особенно в западногерманской историографии, которая всегда была оплотом идеализма и «индивидуализирующего метода». В первое послевоенное десятилетие эта неоиdealистическая тенденция, воплощением которой был Фридрих Мейнеке, даже усилилась, так что заговорили о настоящем «возрождении ранкеанства»²⁶.

В 60-х годах положение изменилось. Ведущие историки ФРГ (Т. Шидер, В. Конце, К.-Д. Эрдман, О. Бруннер, Г. Геймпель и др.), не отказываясь от традиций идеалистического «историзма», пытаются в то же время «переварить» новые идеи и понятия, порожденные усложнением исторической науки. Публикуемые нами статьи Теодора Шидера и Эрнста Питца убедительно иллюстрируют эту попытку.

Признавая наличие разрыва между историей и теорией, Шидер указывает, что «призыв к сравнению — это в первую очередь призыв к большей обобщенности исторических понятий, к подведению пугающе разросшейся массы конкретного под всеобщее». Даже самый «индивидуа-

²⁶ См. об этом: А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. — «Средние века», вып. 15, М., 1959; Н. С. Черкасов. К оценке современного состояния западногерманской историографии. — В кн.: «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 4, Томск, 1966; Н. И. Смоленский. Оценка современной западногерманской историографией ранкеанского решения проблемы объективности и партийности исторического познания; его же: Л. Ранке и проблема метода познания в буржуазной историографии ФРГ. — В кн.: «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 6. Томск, 1969; его же: Л. Ранке и проблемы всемирной истории в буржуазной историографии ФРГ, вып. 7—8, Томск, 1972.

лизирующий» историк не обходится без обобщений и сравнительного метода. Соглашаясь с тем, что в историческом процессе существуют безличные социальные структуры, хотя они и складываются в процессе взаимодействия конкретных индивидов (одна из его методологических статей так и называется: «Структуры и личности в истории»), Шидер предлагает собственную типологию сравнительных методов, выделяя те из них, которые, по его мнению, лучше всего способствуют реконструкции индивидуальной исторической реальности. Но он не допускает даже мысли о возможности каких-либо объективных исторических закономерностей.

Позиция Питца откровенно консервативна. Он вообще отрицает наличие «кризиса основ» западной историографии. «Мы нуждаемся не в теоретической истории, — пишет он, — а просто в историках, которые умели бы видеть дальше собственного носа и обладали бы трудолюбием и терпением, которых требует их ремесло». Главная угроза исторической науке идет, по мнению Питца, со стороны социологии, подменяющей изучение «живых личностей» исследованием безличных «структур».

Теоретико-методологические поиски историков конкретизируются в их отношении к смежным общественным наукам; этой теме посвящен третий раздел нашего сборника.

Статья главы Кембриджской группы исторической демографии Питера Ласлетта «История и общественные науки» предельно четко выражает мысль о том, что историки не могут успешно работать, не используя исследовательских методов и концептуального аппарата смежных общественных наук. Ласлетт показывает относительность выделения истории из числа последних, говорит о взаимосвязи «социетальной» и «естественной» истории, о необходимости сознательной и целенаправленной ориентации исторических исследований на запросы теоретического обществоведения, а также применения в истории структурных и количественных методов, эконометрики, исторической демографии и т. д.

Французский историк, член редакции «Анналов» Франсуа Фюрэ в статье, посвященной проблемам «количественной истории», а проще говоря — применению в истории количественных методов, оперируя преимущественно материалами экономической истории, рассматривает специ-

фические аспекты и методологические трудности квантификации исторических данных, способы соотнесения долгосрочных тенденций и кратковременных хозяйственных циклов, а также проблему квантификации социально-психологических процессов.

Фрагменты из упоминавшейся уже книги Филиппа Ариеса «Детство и семейная жизнь при Старом Режиме» дают представление об оригинальной попытке синтеза исторической демографии с исторической психологией.

Большой интерес представляет статья известного американского историка общественной мысли Фрэнка Мэннюэла «О пользе и вреде психологии для истории», в которой дается обзор и критический анализ различных попыток «психологизации» исторического исследования.

Завершает сборник статья известного английского историка-марксиста Эрика Дж. Хобсбоума «От социальной истории к истории общества», в которой автор, признавая достижения современной «социальной истории», вместе с тем высказывает в ее адрес ряд серьезных критических замечаний (прежде всего речь идет о недооценке целостности общества и определяющей роли материальных, экономических отношений), подчеркивая плодотворность марксистского подхода к обсуждаемым проблемам.

Содержательность публикуемых материалов бесспорна. Но внимательное ознакомление с ними показывает также слабые стороны современной немарксистской теории истории. В краткой вступительной статье невозможно оговорить все спорные или вызывающие возражения моменты, тем более что они касаются не только общих, но и специальных вопросов. Остановимся лишь на наиболее существенном.

Прежде всего нельзя не заметить, что новые теоретико-методологические проблемы не снимают «старых» философских расхождений материализма и идеализма, диалектики и метафизики, а, скорее, продолжают их в новой форме. Это показывает и дискуссия о логике исторического объяснения, и дискуссия о соотношении «исторических структур» и личностей.

Формально Дрей обсуждает только вопросы логики, а не онтологии, да и тут стремится не «предписывать» правила, а лишь «описывать» то, что фактически делают историки. Но в действительности его «рациональное» объ-

яснение исходит из идеалистического истолкования принципа свободы воли, который прямо противопоставляется идее детерминизма. Свои примеры Дрей черпает преимущественно из трудов известных английских историков Г. Баттерфилда и Д. Тревельяна. Но эти историки сознательно применяли «индивидуализирующий метод». Поэтому «логический анализ» их трудов не может не привести к выводу, что в «историческом объяснении» преобладают ссылки на индивидуальные обстоятельства и идейные влияния, а не на «объективные тенденции». Между тем Дрей рассматривает это течение как наиболее типичное, и «предписание» прячется, таким образом, за псевдообъективным «описанием».

Материалы нашего сборника убедительно свидетельствуют о пробуждении у историков Запада интереса к теории. Но к *какой* теории? Возьмем тот же вопрос о «структурах» и «структурных методах» в истории.

Рассмотрение любого объекта как системы (а это одно из важнейших требований диалектики)²⁷ предполагает, в частности, выяснение того, из каких элементов (подсистем) состоит изучаемая система и как эти элементы связаны друг с другом. Выделив общественно-экономическую формацию как тип макросоциальной системы, К. Маркс не только вычленяет ее конкретные элементы (производительные силы, производственные отношения и т. д.), но и прослеживает их внутренние взаимосвязи, структуру, законы их функционирования. Современное обществоведение имеет дело с изучением множества различных структур — экономических, социальных, структур сознания, культуры, мифа и т. д. Но термин «структура» неоднозначен, и с этим связаны серьезные методологические трудности.

Адекватное представление о сложнодинамической системе предполагает сопряжение трех уровней ее исследования — предметного, функционального и исторического²⁸. Но сопряжение это дается нелегко. Структурный

²⁷ См.: В. П. Кузьмин. Системность как ступень научного познания. — «Системные исследования. 1973». М., 1973.

²⁸ См.: В. Г. Афанасьев. О системном подходе в социальном познании. — «Вопросы философии», 1973, № 6; М. С. Каган. Человеческая деятельность (Опыт системного исследования). М., 1974.

анализ нередко подменяется компонентным. Кроме того, поскольку всякая структура выступает как некая устойчивая константа, это порождает «соблазн» ее универсализации.

Маркс в свое время подчеркивал, что даже самые абстрактные категории, такие, как труд, «несмотря на то, что они — именно благодаря своей абстрактности — имеют силу для всех эпох, в самой определенности этой абстракции представляют собой в такой же мере продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и внутри их»²⁹. Напротив, у Т. Парсонса в число «эволюционных универсалий» попадают не только формальные структурные компоненты социальной системы (такие, как ценности и нормы), но и специфические категории, описывающие «подсистемы» капиталистического общества, вплоть до «бюрократической организации» и «рыночной системы». Надо ли говорить, что описание докапиталистических обществ в этих терминах приносит только их модернизацию?

Опасность догматического упрощения сопутствует и моделям, идущим от структурной лингвистики. Нельзя забывать, что «элементы» общественной жизни и культуры более разнородны и сложнее связаны друг с другом, чем элементы языка. Поэтому, придавая большое значение развитию структурных методов исследования, советские ученые возражают против их абсолютизации, полагая, что при всем возможном их развитии структурные методы рассмотрения исторических явлений и процессов никогда не в состоянии будут заменить или вытеснить ни «живое» описание конкретных эпох и действий, ни другие формы их теоретического анализа³⁰.

Не менее сложный узел проблем связан с предметным, содержательным структурированием истории. Историки так или иначе изучают какие-то структуры, но *структуры чего?* Скрытые структуры сознания, «эпистемы» Мишеля Фуко, как бы ни были они важны, не заменят исследование экономических структур, классовых отношений или структуры власти. Между тем подмена социально-экономических структур психологическими довольно часто

²⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 731.

³⁰ См.: «Философские проблемы исторической науки», стр. 229.

наблюдается в немарксистской историографии, и не только у французских структуралистов.

Примером этого является статья Э. Питца. Как уже было сказано, Питц не отрицает того, что в истории существуют определенные устойчивые «структуры». Но что они собой представляют? — спрашивает он.

Питц начинает со справедливой критики фетишизации социально-исторических понятий, превращающей их в самостоятельные «сущности». Что такое историческая структура, например средневековое судоустройство? Совокупность норм, сложившихся в процессе конкретного взаимодействия конкретных индивидов. Но это взаимодействие пронизано определенными мотивами. Следовательно, экономика, право, искусство, короче, вся историческая реальность суть логически взаимосвязанные цепи мотивов человеческого поведения, направленного к достижению определенных целей. Как же изучать эту реальность? Для Питца «подлинной» историей остается традиционная политическая история, история событий. Все прочие разделы истории — историю хозяйства, права, культуры, религии и т. п. — он считает «вспомогательными дисциплинами» истории. Но если все «исторические структуры» суть наборы мотивов, то можно «отмежеваться от любой причинности, понимаемой в естественнонаучном смысле»³¹, и философский идеализм, таким образом, восстанавливается во всех своих правах.

Пытаясь совместить французскую школу исторической психологии (на примере Р. Мандру) с немецкой «историей духа», идущей от Дильтея, Питц представляет дело так, что французская школа занята изучением общественной психологии, обыденного, массового сознания, тогда как немецкая изучает идеологии, то есть *системы* взглядов и верований. Взятые порознь, обе они односторонни и имеют массу недостатков. Питц поэтому предлагает их синтез. Теоретически этот синтез не выходит у него за рамки исследования мотивационного единства. Но любопытно, что, как только Питц пытается реализовать это на историческом материале, случается чудо: как г-н Журдэн, сам не зная того, всю жизнь говорил прозой, так и профессор Питц неожиданно для себя переходит от психологии к материальной жизни общества. Оказывается, в

³¹ "Historische Zeitschrift", Heft 198/2, April 1964, S. 304.

основе всех мотивационных структур «лежит единый жизненный уклад, и отдельные проявления жизни вырастают из него не сами по себе или случайно, а в строгой взаимосвязи друг с другом». Откуда же берется этот уклад? Видимо, из совокупной деятельности. Но ведь именно такую взаимосвязь явлений и выражал Маркс в понятии *формации*! Только то, что у Питца смутно, эклектично, рядоположно выступает как «таинственное соответствие», у Маркса предстает в виде стройной системы.

Где именно черпает историк свое теоретическое вдохновение — вопрос первостепенной важности. Фрэнк Мэннюэл, как профессиональный историк, скептически относится к вульгарному психологизму, каковы бы ни были его теоретические истоки. Тем не менее он явно отдает предпочтение американской «психоистории», ориентированной на психоанализ, полагая, что отрицательное отношение к нему «русских» обусловлено только идеологическими соображениями. Вопрос в действительности значительно сложнее.

Когда историк, как и любой специалист, обращается за помощью к смежной области знания, в которой сам он недостаточно компетентен, он, естественно, хочет взять в ней прежде всего наиболее достоверное, плодотворное, тщательно проверенное. Неясностей у него достаточно и своих. А положение психоанализа в современной науке как раз весьма проблематично. Если уже Мэннюэл признает проблематичность *клинической* эффективности психоанализа, то его эвристическая ценность для истории и вовсе сомнительна. Социально-исторические экскурсы самого Фрейда давно уже подвергаются критике со стороны специалистов³². То же можно сказать и о многих его последователях (например, «пеленочный детерминизм» Дж. Горера и др.).

Я далек от намерения отрицать необходимость изучения истории «бессознательного», в которой фрейдистами сделано немало интересных частных наблюдений (например, интерпретация поведения «одержимых дьяволом» людей в средние века в свете современного учения об истерии) и поставлен ряд сложных, но, увы, перешенных тео-

³² См., например: С. А. Токарев. Начало фрейдистского направления в этнографии и истории религии.— В кн.: «История и психология». М., 1971.

ретических проблем (социально-психологические функции сексуальных табу в различных обществах и т. п.). Но стоит ли осуждать историка за то, что он не торопится усваивать теорию К. Г. Юнга, согласно которой любые массовые движения суть «психические эпидемии, то есть массовые психозы»? Найдется ли серьезный экономист, который принял бы предложенную Г. Рогеймом теорию, выводящую происхождение денег из перехода от генитального характера к анальному? ³³

Дело не в частных расхождении, а в том, что психоанализ, постулирующий универсальные законы и фазы психосоциального развития, неисторичен в самих своих основах. Правда, сейчас делаются определенные попытки «историзировать» его. Но пока еще неясно, к чему они приведут. Сам Мэньюэл, высоко оценивая работы Э. Эриксона (они действительно значительны), очень сомневается в том, что постулированные им 8 фаз жизненного цикла действительно применимы ко всем историческим эпохам ³⁴.

Теоретические трудности, перед лицом которых оказалась современная историография, заставляют ее снова и снова обращаться к марксизму. Интерес к марксистской теории среди различных отрядов интеллигенции Запада, и особенно ученых-обществоведов, в последние годы быстро растет, поскольку, как отмечает Хобсбоум, за пределами марксизма имеется мало плодотворных теорий, особенно в социологии. Но интерес этот различен. Одни авторы ищут в марксистской теории ответа на свои интеллектуальные вопросы и трудности. Другие — новых способов его опровержения.

Почти все авторы нашего сборника — и это вообще типично для современной западной литературы — уважительно отзываются о Марксе и признают его научные заслуги. Но как плохо они знают марксистскую теорию, как беспомощны их попытки «критиковать» ее!

³³ См.: G. Roheim. The Evolution of Culture. — In: B. Mazlish, ed. *Psychoanalysis and History*. Englewood Cliffs, 1963.

³⁴ Наиболее значительной попыткой синтеза историко-социологического подхода Ариеса и теории психосоциального развития Эриксона является работа: D. Hunt. *Parents and Children in History. The Psychology of Family Life in Early Modern France*, N. Y., Basic books, 1970.

Питц, Фюрэ и другие упрекают марксистов в «натурализме», преувеличении роли экономики и тому подобном. По словам Питца, материалистическое понимание истории превращает «объективные условия исторического действия в законоподобные, активные факторы истории». Но ничего похожего марксизм не делает! Как бы предвидя позднейшие обвинения в «обожещении» истории или «структур», Маркс, наоборот, писал: *«История не делает ничего, она «не обладает никаким необъятным богатством», она «не сражается ни в каких битвах»! Не «история», а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»*³⁵. Маркс учит различать структуру и результаты *совокупной* деятельности людей и индивидуальные мотивы и поступки каждого человека в отдельности. Тезис об объективной закономерности исторического развития означает, что деятельность каждого нового поколения людей протекает в условиях, унаследованных от прошлого. Но эти «условия» или «структуры» суть объективированная деятельность прошлых поколений, так же как наша сегодняшняя деятельность предопределяет, сознаем мы это или нет, возможности и направление деятельности следующего поколения.

Марксизм всегда выступал против позитивистского натурализма не только в теории исторического процесса, но и в теории социально-исторического познания. Считая научные понятия отражением определенных сторон и черт реальной исторической действительности, Маркс и Энгельс вместе с тем возражали против упрощенного понимания этого процесса, против отождествления содержания понятий и обозначаемых ими явлений. В известном письме Конраду Шмидту Энгельс, в частности, писал: «То и другое, понятие о вещи и ее действительность, движутся вместе подобно двум асимптотам, постоянно приближаясь друг к другу, однако никогда не совпадая. Это различие между обоими именно и есть то различие, в силу которого понятие не есть прямо и непосредственно действи-

³⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 102.

тельность, а действительность не есть непосредственно понятие этой действительности. По той причине, что понятие обладает особой природой понятия, что оно, следовательно, не совпадает прямо и непосредственно с действительностью, от которой его сначала надо абстрагировать, по этой причине оно всегда все же больше, чем фикция; разве что Вы объявите все результаты мышления фикциями, потому что действительность соответствует им лишь весьма косвенным, окольным путем, да и то лишь в асимптотическом приближении»³⁶.

Это — азбука исторического материализма. Но ее не знают или не хотят знать те западные ученые, которые судят о марксизме по вульгарным и фальсифицированным источникам. Это отражается и в статьях нашего сборника.

Шидер рассматривает марксистскую теорию общественно-экономических формаций как простую модификацию позитивистского эволюционизма XIX века, а ведь именно Маркс подверг критике теорию линейного прогресса и указал на относительность самого понятия исторического развития. И уж, конечно, ни один историк-марксист не отрицает наличия специфических закономерностей развития отдельных стран и регионов.

Бродель датирует возникновение «синтетической истории» во Франции 1900 годом, когда Анри Берр основал «Revue du synthèse historique», или 1929 годом, когда Марк Блок и Люсьен Февр основали свои «Анналы». Пусть так. Но разве сам переход от описательной истории событий к современной социально-экономической истории не был оплодотворен марксистской теорией? А изучение упоминаемых Броделем экономических циклов и вовсе невозможно без Маркса.

Мэньюэл всерьез полагает, что Сартр «обогащает» «марксистский классовый детерминизм» психологическим анализом поведения людей в конкретной исторической ситуации. Но разве в «18 брюмера Луи Бонапарта» нет уже дифференцированного анализа «социальной структуры», «конкретной ситуации» и «индивидуальных волей»?³⁷

Незнание марксизма и непонимание его положений

³⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 102.

³⁷ См.: Э. Ю. Соловьев. Личность и ситуация в социально-политическом анализе Маркса. — «Вопросы философии», 1968, № 5.

жестокое мстят за себя. Оставим на совести Ласлетта то, что, говоря о развитии экономической истории (истории хозяйства), он даже не упоминает марксистскую традицию, на основе которой выросла вся эта область исследований. Не случайно именно «социально-структурная история», которую он пропагандирует, описана Ласлеттом наиболее расплывчато и неконкретно. По мнению Ласлетта, «социально-структурный историк», как и социолог (!), «должен начать свое описание... с размеров, структуры и функций семьи в анализируемом обществе. Затем должна быть рассмотрена система родства, а за нею и другие отношения, географические, экономические, религиозные, интеллектуальные» и так далее. Но сегодня даже многие социологи-немарксисты признают, что структура и функции семьи *производны* от системы производственных отношений общества. Начинать с них — значило бы начинать с конца. Совершенно невозможно описать целостность социальной системы, рассматривая экономические отношения где-то «между» географическими и религиозными. И какая «социально-структурная история» может обойтись без классов, которых Ласлетт даже не упоминает? Хобсбоум совершенно справедливо замечает, что, как ни интересны исследования по истории семьи и привлекаемые ими новые источники, они совершенно недостаточны для того, чтобы реконструировать «Мир, который мы потеряли»³⁸.

Человеку, мало-мальски знакомому с историческим материализмом, странно читать рассуждения Фюрэ о марксизме как об «антиподе манчестерского оптимизма». Мысль, что каждый социальный организм необходимо рассматривать как целое, подчиняющееся своим собственным законам, которую Фюрэ противопоставляет историческому материализму, в действительности имманентна последнему. Понятие общественно-экономической формации, от которого отмахивается Фюрэ, как раз и призвано охватить эту целостность в ее специфичности. Марксист не станет отрицать и то, что для различных обществ характерны и различные символические системы, вследствие чего нельзя судить о людях прошлого по собственному опыту. Но опровергает ли это тот факт, что в основе всех

³⁸ Название известной книги Ласлетта. См.: P. Laslett. The World We Have Lost. 2-nd ed. London, Methuen, 1971.

когда-либо существовавших человеческих обществ лежали определенные формы материального бытия, тот или иной способ производства материальных благ?

Ариес тонко реконструирует существенные черты средневековой психологии, связывая их с особенностями быта, образа жизни, системы воспитания и некоторыми демографическими тенденциями той эпохи. Он подчеркивает при этом различия между представителями разных сословий и классов. Но ему также не хватает глубины *социально-экономического* анализа. Изменение форм семьи и воспитания почти не связано у него с эволюцией хозяйства и производственных отношений. Отсюда — наивно-психологическое объяснение мальтузианства тем, что у людей появилась эгоистическая забота о собственных детях. Различия между образом жизни буржуазного классового общества и сословно-иерархически организованным бытом средневековья, равно как и эволюцию чувств семейной и классовой принадлежности, Ариес выводит из абстрактно-психологической «нетерпимости к различию», якобы свойственной современному человеку, и т. п. Поэтому, при всей ценности наблюдений Ариеса, его общие выводы требуют тщательной критической проверки, а его методологию было бы полезно сопоставить с соответствующими главами книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Новые тенденции в теории истории не снимают, таким образом, ни теоретических трудностей, ни идеологической конфронтации марксистской и буржуазной мысли как на уровне постановки проблем (характерно, что отношение к труду, которое, безусловно, является одной из главнейших ценностных ориентаций любого общества, исследовано гораздо слабее, чем многие другие, частные проблемы), так и в особенности на уровне их решения.

Важнейшие философско-теоретические и методологические проблемы истории, обсуждаемые на Западе, исследуются также и советскими учеными. В последние годы в нашей стране интенсивно разрабатываются вопросы теории исторического познания как в гносеологическом, так и в логическом аспектах³⁹. Растет интерес к междис-

³⁹ См., в частности: Б. А. Грушин. Очерки логики исторического исследования. М., 1961; В. И. Столяров, Процесс изменения и его познание, М., 1966; В. С. Добрянков. Методологические проблемы теоретического и исторического познания, М., 1968;

циплинарным отношениям и связям⁴⁰. Междисциплинарными по своему духу являются фундаментальные исследования А. Ф. Лосева по истории античной культуры и философии, работа М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1965), «Категории средневековой культуры» А. Я. Гуревича (1972) и др.

Ознакомление советского читателя с некоторыми зарубежными трудами должно способствовать расширению работы в этой области и углубленному критическому анализу немарксистских концепций.

*И. С. Кон,
доктор философских наук*

А. И. Ракитов. К вопросу о структуре исторического исследования.— В кн.: «Философские проблемы исторической науки». М., 1969; Н. П. Французова. Исторический метод в научном познании. М., 1972; Источниковедение. Теоретические и методологические проблемы. М., 1969; Г. М. Иванов. Исторический источник и историческое познание. Томск, 1973; А. В. Гулыга. Эстетика истории. М., 1974.

⁴⁰ См. например: «История и социология». М., 1964; Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1966; О. Л. Вайнштейн. Теоретические дисциплины истории.— В кн.: «Критика новейшей буржуазной историографии». Л., 1967; Л. М. Дробинева. История и социология. М., 1971; История и психология. М., 1971.

© «Прогресс», 1976

Часть первая

ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЯСНЕНИИ ДЕЙСТВИЙ ЛЮДЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В течение последних десяти лет философы-аналитики очень много писали относительно природы исторического объяснения. Одно из центральных мест в возникшей дискуссии занял вопрос о том, входят ли в логическую структуру подобных объяснений формулировки соответствующих эмпирических законов, обязательны ли для исторических объяснений указания на законы, и если да, то в какой мере и каким образом. Около пяти лет тому назад в монографии, названной мною «Законы и исторические объяснения», я внес свой вклад в развернувшуюся дискуссию. И если теперь я бы снова хотел сделать несколько дополнительных замечаний по этому вопросу, то меня оправдывает только то, что, судя по выступлениям на философских конференциях и статьям в журналах, дискуссия все еще не потеряла своей остроты¹. К тому же я рад воспользоваться предоставленной мне возможностью проанализировать часть критических замечаний, сделанных в мой адрес, и противопоставить свою точку зрения (которую я все еще отваживаюсь защищать) целому ряду интересных альтернативных взглядов, выдвинутых за последнее время.

Спешу добавить, что в настоящем докладе я не намерен защищать все положения упомянутой монографии. Я займусь только одной, по, как мне представляется, централь-

¹ Например, на годичной конференции Американской философской ассоциации (Восточное отделение) в рождественские каникулы 1961 г. профессор Гемпель сделал доклад о применении его модели к объяснению рационального действия (доклад, который я, к сожалению, не имел возможности просмотреть при написании данной статьи). В это же самое время профессор А. Донаган на собрании Американской ассоциации прогресса науки отвергал применимость гемпелевской модели в таких случаях. Те, кто не присутствовал на этих конференциях, могут познакомиться с данной проблемой по статье профессора М. Мандельбаума «Историческое объяснение: проблема охватывающих законов», опубликованной в январском номере журнала "History and Theory" за 1961 г.

ной проблемой: какие логические характеристики должны быть присущи объяснению поступков индивидуальных исторических деятелей. Выделяя данную проблему, я отнюдь не собираюсь утверждать, что только индивидуальные человеческие действия являются предметом объяснения в строгом смысле этого слова. Более того, я должен согласиться с профессором Мандельбаумом, который считает, что индивидуальные поступки как таковые лежат вне круга интересов настоящего историка и что они включаются в историю только в той мере, в какой они имеют «общественное значение»². Однако даже и те, кто захотел бы настаивать на том, что в основу исторического исследования должно быть положено изучение какой-то элементарной социальной единицы, а не изучение отдельной личности, вряд ли могли бы отрицать, что объяснение поведения наций, характера социальных институтов и исторических движений, как правило, включает в себя и объяснение поведения отдельных мужчин и женщин. Характерной чертой исторического исследования оказывается объяснение социальных явлений частями. Мы не хотели бы здесь поднимать общий вопрос о точной форме логической зависимости, имеющей место между высказываниями о социальных событиях и высказываниями о поступках отдельных людей. Поэтому в нашем дальнейшем изложении мы будем просто исходить из предположения, что, анализируя объяснения этих поступков в исторической науке, мы тем самым рассматриваем некоторый важный аспект теории «исторического объяснения вообще», полностью отдавая себе отчет в том, что наш анализ не может привести к полному решению этой более широкой проблемы.

Мы будем придерживаться следующего порядка изложения: в разделе I воспроизведем ту теорию исторического объяснения, которая заняла центральное положение в дискуссии, развернувшейся по этой проблеме, — теорию, которую, как и прежде, я буду называть неуклюжим и несколько сбивающим с толку термином «теория охватывающих законов»³. Затем я противопоставлю ей свои

² M. Mandelbaum. The Problem of Historical Knowledge. New York, 1938, p. 9.

³ Данный термин может ввести в заблуждение, так как он внушает ошибочное представление, будто в историческом объяснении

собственные взгляды по вопросу типических исторических объяснений действий. В разделах II и III я рассмотрю некоторые возражения, вызванные моей точкой зрения, и проанализирую, по необходимости кратко, шесть альтернативных позиций, занятых моими оппонентами, ни одна из которых не кажется мне полностью приемлемой. И наконец, в разделе IV, для того чтобы еще более четко выявить характер возникших разногласий, я постараюсь установить связь между позицией, занятой мною в данном вопросе, и более широким кругом философских проблем.

I

С классической формулировкой теории охватывающих законов мы сталкиваемся в статье профессора Гемпеля «Роль общих законов в исторической науке»⁴. Главным тезисом этой статьи является утверждение, согласно которому объяснить какое-нибудь событие означает показать, что высказывание о данном событии логически выводится из: (1) некоторых высказываний о предшествующих или сопутствующих условиях и (2) из некоторых эмпирически проверяемых общих законов и теорий. Если же *экспланандум* (объясняемое.—Ю. А.) не будет следовать логическим образом из того, что предложено в качестве его *экспланантов* [объясняющие положения.—Ю. А.], то, согласно Гемпелю, данное объяснение является по меньшей мере неполным, не более чем первым приближением к действительному объяснению. Это описание логической структуры объяснения рассматривается Гемпелем как универсальное, приложимое ко всем наукам, безотносительно к их предметам, и, следовательно, приложимое также и к объяснению в исторической науке. Таким образом, по Гемпелю, объяснение, по-видимо-

используется только один закон, связывающий экспланант с экспланандумом. Здесь не разграничиваются (как делает профессор Донаган) два требования к историческому объяснению, а именно, требование, чтобы оно носило дедуктивный характер, и требование, чтобы оно основывалось на универсальном законе. Каждое из этих требований может удовлетворяться независимо друг от друга.

⁴ Theories of History. Ed. P. Gardiner, New York, 1959, p. 344—356.

му, сводится к логическому выведению того, что подлежит объяснению, из чего-то другого в соответствии с универсальными «охватывающими» законами.

Человек, принимающий точку зрения профессора Гемпеля относительно универсального характера данной теории объяснения, не стал бы возражать против мнения, что большинство объяснений, предлагаемых в исторических исследованиях, не удовлетворяют требованиям этой теории. Однако отсюда он сделал бы вывод не о том, что модель объяснения с помощью охватывающих законов не может считаться универсальной, а вывод о логических слабостях в принятой практике объяснений в исторической науке. Другие философы считают, что такое расхождение между логической теорией и исторической практикой является следствием недопустимого «априоризма», проявляемого сторонниками теории профессора Гемпеля, и что в таком «живом деле», как история, задачей философа не может быть *навязывание* определенной теории объяснения. Эта задача, скорее, состоит в том, чтобы вывести данную теорию из реальной практики объяснений, повсеместно принятой в этой науке. Если же историческая практика не соответствует теории охватывающих законов, то тем хуже для этой теории.

Нам представляется, что обе эти точки зрения по-своему правы. Что касается меня, то я бы не стал ограничивать задачу философа простым *описанием* того, что делается в практике исторических исследований. Его деятельность, как правильно подчеркивают профессора А. Данто и Дж. Питт, заключается в прояснении, а не в дублировании; от философа мы ожидаем скорее рациональной перестройки практики, чем ее копирования⁵. С другой стороны, тот факт, что практика очень сильно и упорно отклоняется от логической теории, свидетельствует по меньшей мере о том, что с теорией не все обстоит благополучно. В этом случае возникает настоятельный вопрос, почему существует такой разрыв между формулой и тем, что она призвана объяснить. В своем докладе я намерен показать, что данный разрыв обусловлен тем, что обычное понимание историками задач объяснения

⁵ A. Danto. Review, *Ethics*. July 1958, p. 299. J. H. Pitt. Generalization in Historical Explanation.—*Journal of Philosophy*. 1959, p. 579—580.

принципиально отличается от логического вывода поступка некоторого лица из определенных условий в соответствии с законами, имеющими эмпирический характер. Нам представляется, что теории охватывающих законов недостает должной восприимчивости к тому *понятию* объяснения, которым обычно пользуются историки. «Рациональная перестройка» действительно имеет право отклоняться от принятой практики. Однако при этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы такие отклонения не были вызваны неоправданной перестройкой.

Позвольте теперь нам кратко наметить то, что мы считаем логической основой большинства объяснений человеческих поступков в исторической науке. Задача объяснения — разрешение какого-то затруднения. Когда историк приступает к объяснению некоторого действия, он обычно сталкивается с целым рядом трудностей, так как он не знает мотивов, лежащих в его основе. Поэтому, для того чтобы понять это действие, он стремится получить какую-то информацию о том, как данный исторический деятель оценивал свое объективное положение (причем сюда входит и оценка им вероятных последствий различных линий поведения, открытых для него), равно как и информацию о том, чего он намеревался достичь, предпринимая то или иное действие, то есть сведения о его целях, планах или мотивах. Понимание действия возникает у историка только тогда, когда он устанавливает разумность поступков данного человека в свете его собственных представлений и планов. Нам хотелось бы подчеркнуть, что при подобном подходе к объяснению имеется прямая связь между пониманием поступка человека и осознанием его рациональности. Как однажды заметил профессор Хук, показать необычность некоторого действия — не то же самое, что показать его бессмысленность⁶. Аналогичным образом показать, что действие совершается в соответствии с определенным порядком, — не то же самое, что показать его осмысленность.

Объяснение, которое стремится установить связь между убеждениями, мотивами и поступками описанного выше рода, я буду называть «рациональным объяснением». Этот тип объяснения особенно ясно может быть проиллю-

⁶ S. Hook. A Pragmatic Critique of the Historico-Genetic Method. Essays in Honor of John Dewey, New York, 1929, p. 163—171.

стрирован на следующем примере. (Я надеюсь, что в связи с его особой наглядностью мне извинят то, что я уже однажды пользовался им в тех же самых целях.)

Пытаясь объяснить успех вторжения Вильгельма Оранского в Англию, Тревельян задает себе вопрос, почему Людовик XIV ослабил военное давление на Голландию, и считает эту акцию «величайшей ошибкой жизни Людовика»⁷. Поведение Людовика он объясняет следующим образом: «Людовик рассчитывал, что если даже Вильгельму и удастся высадиться в Англии, то там возникнет гражданская война и длительные беспорядки, как всегда бывает на этом острове раскольников. В это время он бы спокойно завоевал всю Европу». Далее, «он был рад тому, что голландцы уходят с его пути (в Англию), в то время как он паносил удар по императору Леопольду (в Германии)». Он считал, «что конфликт между Джемсом и Вильгельмом обязательно создаст для него какие-то возможности». Итак, согласно Тревельяну, выявление нами некоторого «расчета» Людовика, «отнюдь не выглядевшего таким абсурдным в момент событий, каким он кажется после них», делают его действия вполне понятными для нас. И в самом деле, этот расчет показывает, что действия Людовика были целесообразными в свете обстоятельств, рассматриваемых им в качестве доводов для своих решений. В действительности же, конечно, король просчитался, и в некотором смысле его действия не соответствовали фактическим обстоятельствам. Тем не менее основная цель объяснения Тревельяна состоит в доказательстве тезиса, что в свете целей и представлений Людовика XIV о действительности данный поступок был правильным, по крайней мере с точки зрения условий, взятых такими, какими они казались в то время.

Мы считаем, что в объяснениях только что приведенного типа установление дедуктивной логической связи между *экспланантами* и *экспланандумом*, связи, основывающейся на включении соответствующих эмпирических законов в число первых, не является ни необходимым, ни достаточным условием объяснения. Оно не необходимо, потому что в задачу подобных объяснений совсем не вхо-

⁷ G. M. Trevelyan. The English Revolution. London, 1938, p 105—106.

дит доказательство того, что наш исторический деятель относится к числу людей, которые всегда поступают так, как поступил он в обстоятельствах, в которых он считал себя находящимся. Задача данного объяснения — показать, что его поступок был вполне разумным, с его собственной точки зрения. Установление вышеупомянутой логической связи не было бы и достаточным условием объяснения, так как оно не показало бы, что в свете всех остальных убеждений и целей данного деятеля его действия были вполне разумны.

К этому я бы еще прибавил — для того чтобы избежать возможных недоразумений, — что спор относительно того, какую из двух «моделей» объяснения (модель охватывающих законов или модель рационального объяснения) следует применять в подобных случаях, не имеет ничего общего с вопросом о том, на чем должно строиться историческое объяснение: на «идеях» ли людей или на «объективных» условиях их природного и социального окружения. Профессор Гемпель в отличие от некоторых исторических материалистов охотно согласился бы, что объяснение действия включает в себя, по крайней мере в качестве одного из своих моментов, постоянные ссылки на мотивы и идеи его участников. В равной мере, я полагаю, он согласился бы и с тем, что, объясняя действие как таковое, а не, скажем, его успех или неудачу, мы должны обращаться не к реальным условиям, в которых происходило это действие, а к условиям, *рассматриваемым* его участниками как реальные. За вычетом этих обстоятельств, однако, объяснение действий людей, с точки зрения профессора Гемпеля, «ничем существенно не отличается от причинных объяснений в физике или химии»⁸. Ибо «определяющие мотивы и идеи действия, — утверждает он, — должны рассматриваться в мотивационных объяснениях как условия, предшествующие действию, и в этом отношении не существует никаких различий в логических формах причинного и мотивационного объяснений». В свете того, что уже было сказано о невыводимости *экспланандума* в объяснениях последнего рода, должно стать совершенно ясным, что мы критикуем Гем-

⁸ C. G. Hempel and P. Oppenheim. The Logic of Explanation. В кн.: H. Feigl and M. Brodbeck. Readings in the Philosophy of Science. New York, 1953, p. 327—328.

пеля за то, что он даст ошибочную характеристику логической формы рациональных объяснений, а не их содержания.

II

Та схема рационального объяснения, которую я только что изложил, вызвала целый ряд возражений. Известные нам возражения могут быть разделены для удобства их рассмотрения на четыре группы. Первая из них, пожалуй наименее серьезная, утверждает, что требование выявить расчеты и планы исторических деятелей чрезвычайно сужает возможную сферу применения подобных объяснений. Ибо, как возражает мне профессор Новелл-Смит, если бы мы обнаружили, что наш исторический деятель не производил никакого серьезного расчета своего поступка, то тем самым наше объяснение было бы опровергнуто⁹. Он, по-видимому, предполагает, что очень немногие люди ведут себя совершенно сознательно, интеллектуально.

Я, конечно, согласен с тем, что в истории отыщется немало действий, для которых нельзя будет указать расчета, лежащего в их основе, и затруднения, в которые мы попадем, обнаруживая такие действия, безусловно, свидетельствуют об ограниченности области применения рациональных объяснений. Точно так же я не собираюсь априорно сбрасывать со счета возможность того, что некоторые из этих действий могут быть объяснены каким-то иным способом. Однако нам представляется, что это возражение основывается на том, что в данном контексте само слово «расчет» оказывается несколько затемняющим смысл нашей схемы мотивационного объяснения. Все дело в том, что рациональное понимание некоторого поступка отнюдь не обусловлено тем, что человек, совершивший его, предварительно взвешивал и перебирал в своем сознании ряд аргументов. Наше понимание его действий может возникнуть и без допущения подобной предпосылки психологического характера на основе того, что мы обнаружим рациональную связь между этими действиями и теми мотивами и идеями, которые мы ему приписываем.

⁹ P. H. Nowell-Smith. Review. — "Philosophy", April 1959, p. 170—172.

В нашей теории исторического объяснения мы, скорее, стремились показать, что понимание поступка складывается только при приведении психологических ингредиентов, связанных с ним, в *форму* некоторого практического расчета. Философа как философа интересует только характер *логических* отношений, существующих между *экспланантами* и *экспланандумом*. При таком непсихологическом подходе сфера применимости рациональных объяснений будет весьма обширной. И мы склонны считать, что большинство объяснений, даваемых в повествовательной истории, относится к их числу.

Второе возражение против нашей теории, напротив, состоит в том, что область применимости этих якобы рациональных объяснений будет чрезмерно широкой. Отсюда использование их в практике исторического исследования привело бы историка к тривиальным выводам и, может быть, даже оказалось бы опасным. Ибо понимание поступка способом, описанным нами, было бы неотличимо от того, что мы именуем «ретроспективной рационализацией». «Мы все хорошо знаем,— отмечает проф. Пэсмор,— как неискренни объяснения нашего поведения, которые мы даем другим людям»¹⁰. Дело обстоит так, «как если бы мы, скорее, изобретали их для того, чтобы удовлетворить наших слушателей, чем действительно объяснить наши действия». Аналогичным образом и историк «будет склонен делать наше поведение более принципиальным, чем оно есть на самом деле».

И в данном случае я бы не хотел отрицать опасность, указываемую критиками. Однако я склонен рассматривать ее как некоторую особую трудность, возникающую при любой попытке найти причины поступков — как одну из возможностей ошибок при рациональном объяснении,— но не как опасность, исключаящую самое возмозможность рационального объяснения как такового. В конечном счете утверждение: «выявление рациональности поступка — принятый историками критерий его понимания» представляет собой не более чем требование логики данных понятий. Его принятие совсем не означает, что во всех тех случаях, когда мы полагаем, что знаем мотивы поступков некоторого лица, мы и в самом деле знаем

¹⁰ J. Passmore. Review Article. "Law and Explanation in History". — "Australian Journal of Politics and History", 4, 1958.

эти мотивы. Фактически этим положением утверждается концептуальная связь между пониманием действия и восприятием его рациональности, и эта связь может быть обеспечена только при правильной логической *форме* объяснения. Правильность же формы, само собой разумеется, не гарантирует нам истинности его содержания. Здесь дело обстоит точно таким же образом, как и в объяснениях с помощью охватывающих законов. Ибо в последнем случае мы должны были бы знать всеобщие законы. Но можем ли мы быть уверенными в том, что мы действительно располагаем знанием этих законов, в особенности в истории, где в отличие от тесно увязанных и теоретически обоснованных законов физики они представляли бы собою простое обобщение опыта?

Третье возражение более серьезно, но тем не менее я думаю, что и его можно устранить. Как указывает один из наших критиков, понимание действия, согласно нашей теории, обусловлено выявлением мотивов поступков исторического деятеля. Но последнее, продолжает Страусон, не сводится к простому восприятию *рациональности* некоторого действия, а включает *одобрение* нами расчетов этого деятеля, признание их *правильности*. Поэтому в связи с нашим требованием «удостовериться» в мотивах поступка, он пишет, что «строгое его выполнение сделало бы историческую науку невозможной»¹¹.

Бесспорно, ограничение, введенное нами в нашу теорию рационального объяснения, согласно которому мотивы должны рассматриваться с «точки зрения самого деятеля», равно как и то, что правильность его действия должна определяться по отношению к его *собственному* пониманию обстановки, в какой-то мере идет навстречу пожеланию моих критиков и облегчает оценку рациональности поступка. Однако считается, что этого далеко не достаточно. Ибо, напоминает Страусон, существуют «большие различия в уме, темпераменте, способностях и характере людей», в их идеях и целях. И поступок может не удовлетворять требованию строгой рациональности в связи с ошибочным *суждением* или же ошибочной *информацией*.

Все это отчасти справедливо. Но я не считаю, что эта критика опровергает защищаемую мной точку зрения.

¹¹ P. F. Strawson. Review.—“Mind”, April 1959, p. 268.

Разумеется, невозможно установить рациональность логически ошибочного рассуждения или же ошибок в проведении принятого решения. Но так как и то, и другое иногда может быть объяснено, то отсюда следует, что выдвинутый нами критерий понимания поступка не является единственным даже в истории. И мы отнюдь не утверждаем его единственности. Мы хотим только сказать, что критерий рациональности имеет силу при объяснении действий, которые не считаются дефективными в целом ряде отношений, и что иногда его применение вполне правомерно. В случае же применения этого критерия мы не можем не рассматривать расчеты данного деятеля как правильные, как оправдывающие совершенный им поступок. Именно это и *подразумевается* в таких выражениях, как «следуя его логике» или «в свете его оценки обстановки». Нам кажется, что спорные теории «понимающей историографии» черпают свою силу как раз из признания возможности следовать за логикой чужой мысли. Имеется значительная доля истины в утверждении, что понимание поступка предполагает возможность «вновь продумать» мысли исторического деятеля. Но нельзя было бы воспроизводить, сопереживать логику практического расчета, о котором заранее известно, что он является ошибочным.

Критики, выдвигающие четвертое возражение, согласны с тем, что понимание действия может быть достигнуто только при выявлении мотивов исторического деятеля. Однако при этом отрицается возможность обойтись без охватывающих законов, так как утверждение о связи его поступков с данными мотивами, согласно их точке зрения, может быть сделано только на основе признания истинности некоторого охватывающего закона.

Итак, раз мы поняли, что историку необходимо выявить *действительные* расчеты деятеля, а не просто расчеты, которые были бы логически *правильными* в данной обстановке, то можно было бы утверждать, что достаточное в логическом отношении объяснение должно включать в свой состав и некоторое обобщение, связывающее расчеты обоих видов с фактическим поведением человека. Или же, как Новелл-Смит сформулировал это возражение, если мы доказываем, что данное лицо поступило известным образом, потому что оно проделало определенный рациональный расчет, то наше доказательство должно включать в себя также и общую посылку, устанавливаю-

щую, как ведут себя такие люди при подобных расчетах¹². Таким образом, если в соответствии с теорией рационального объяснения действительные мотивы поступка должны быть одновременно и логически *удовлетворительными*, для того чтобы обладать определенной объясняющей силой, то в связи с этим можно было бы выдвинуть и *дополнительное* требование, согласно которому логически правильные, действительные мотивы поведения должны связываться с объясняемым действием при помощи охватывающих законов, имеющих эмпирический характер.

Прежде всего мне не кажется, что, когда я говорю: «Он поступил так-то и так-то, потому что он думал так-то и так-то», использование мною логического выражения «потому что» требует от меня принятия теории охватывающих законов, равно как я не могу согласиться и с тем, что эти законы должны быть включены в мое доказательство. Особенно невероятным данное требование представляется в случае, когда вышеприведенное высказывание относится к объяснению моих собственных поступков. Ибо и при объяснении своих действий я строго разграничиваю подыскание мотивов, оправдывающих их, и выявление действительных мотивов своего поведения. Однако, осуществляя последнее, я никак не прибегаю к общему положению, согласно которому все люди, подобные мне, или даже я сам, в аналогичных случаях действуют так, как действовал я, основываясь на удовлетворительных с логической точки зрения и на действительных вместе с тем мотивах. Если бы кто-то захотел подкрепить данное возражение, утверждая, что я по своей природе могу действовать *произвольно*, то есть в противоречии с теми мотивами, которые я сам признал хорошими, то это привело бы к обратному эффекту: невозможное для меня я считаю невозможным и для других людей.

Точное значение возражения Новелла-Смита становится вообще неясным в свете нескольких дополнительных замечаний, которые он делает. Так, по-видимому, он допускает, что в некотором смысле мы *действительно* объясняем действие, если мы показываем, что сделанное данным лицом «было рационально для человека, находящегося в его положении». Но, продолжает он, это не объясняет, *почему он совершил рациональный поступок*, почему

¹² Ibid. (По-видимому, ошибка. См. P. H. Nowell-Smith. Op. cit.)

он действовал на основании правильного расчета. Для того чтобы ответить на последний вопрос, мы, по Новеллу-Смиту, должны были бы прибегнуть к таким банальностям, как, например, «рациональные люди, которые разработали планы своих действий, соответствующие обстановке, стремятся их придерживаться, если только обстоятельства позволяют им это делать», и, — продолжает он, — как раз «объяснения в этом смысле анализируются теорией охватывающего закона». Я должен признать, что я не понимаю, почему Новелл-Смит, проводя все эти разграничения, не согласен со мной. Ибо проведенное таким образом разграничение между объяснением того, почему некоторое лицо совершило определенный поступок, и объяснением факта рациональности его поведения вообще безусловно предполагает, что рациональное объяснение, не обращаясь к банальностям вышеуказанного типа, может быть совершенно законченным само по себе или на своем собственном уровне. И ничто, сказанное мною, не требует, чтобы мы исключали возможность объяснения (на втором уровне) способности человека поступать рационально. Мы могли бы, например, объяснить наблюдаемую нами нынешнюю рациональность поведения какого-то человека тем, что он прошел успешный курс судорожной терапии с того момента, когда мы его видели последний раз. Конечно, в объяснениях такого рода, в тех случаях, когда они возможны, мы все еще могли бы питать обоснованные сомнения относительно того, дают ли они нечто большее, чем необходимое (а не достаточное) условие рациональности поведения. Но это спорный вопрос, и он находится вне рамок настоящего доклада. Во всяком случае, подобные объяснения редко требуются в исторической науке.

Я мог бы добавить, что мой другой оппонент, профессор Дж. Коген, выдвигает в этой связи довольно сильное возражение, цитируя мое же собственное утверждение, в соответствии с которым в исторической науке в качестве «постоянной презумпции» присутствует «общее убеждение, что люди поступают, исходя из достаточных оснований»¹³. С его точки зрения, то обстоятельство, что данная презумпция может рассматриваться как тривиальная, не

¹³ J. Cohen. Review, Philosophical Quarterly. April 1960, p. 190, 191.

имеет существенного значения. Вопрос заключается в том, *необходима ли она логически* для объяснения, названного нами выше объяснением первого порядка, то есть для объяснения таких действий, которые предпринимаются исходя из действительных и правильных в логическом отношении расчетов. На это я могу только ответить, что мое утверждение презумпции рациональности было излишне резким. Правда, я говорил именно о «презумпции» и хотел при этом подчеркнуть только то, что историки прежде всего ищут рациональных, а не нерациональных объяснений. Однако в этой связи важно отметить, что никакая «презумпция» подобного рода не исключает неопределенного и переменного числа случаев нерационального поведения. В исторической науке в отличие, может быть, от физики не принято считать, что в принципе все может быть объяснено. Таким образом, любая «презумпция рациональности» оказывается логически совершенно отличной от того, что методологи и логики понимают под охватывающим законом.

III

Многие философы, не принимая моей точки зрения на природу рационального объяснения, тем не менее считают, что в логической модели объяснения, в том ее виде, в каком она первоначально была сформулирована Гемпелем, есть нечто ошибочное и она не может служить для выявления логической структуры объяснения в исторической науке. Обычно к этому заключению их приводит одна трудность, связанная с данной моделью, которую И. Бёрлин выражает следующим образом¹⁴. Если мы требуем от исторического объяснения, чтобы оно включало в свой состав какой-то закон, который придавал бы ему дедуктивную логическую форму, то под этим законом, как правило, понимается некоторое эмпирическое обобщение, имеющее высокую вероятность. Именно обобщение такого рода, включенное в состав предлагаемого объяснения, удовлетворило бы требованиям этой модели. Но индуктивное основание, которое мы могли бы привести для по-

¹⁴ I. Berlin. History and Theory: The Concept of Scientific History. — "History and Theory", I, 1 (1960), p. 19.

добных законов, зачастую оказывается не очень сильным. И, что еще более важно, эти основания, как правило, значительно менее сильны, чем наша уверенность в истинности приводимого объяснения. Все это ставит нас перед парадоксом: в соответствии с теорией охватывающих законов достоверное объяснение должно дедуцироваться из законов, которые сами по себе оказываются спорными.

В свете этого парадокса и вопреки якобы априорной очевидности модели объяснения с помощью охватывающих законов было предпринято много попыток видоизменить эту модель и вместе с тем сохранить ее основную идею. В частности, было высказано предположение, что достоверность историческому объяснению может придать и менее сильное утверждение, чем закон, понимаемый в смысле «универсального условного высказывания» [высказывание, имеющее форму: если x , то всегда y . — Ю. А.]. В настоящем разделе доклада я намерен рассмотреть шесть различных предложенных способов реализовать эту идею, то есть идею ослабления законов и вместе с тем сохранения их места в структуре исторического объяснения. Это целесообразно сделать, так как наши критики могли бы заметить, что именно с этими модифицированными версиями теории охватывающих законов, а не с их строгим оригиналом должна была бы сопоставляться «рациональная модель» объяснения действий. Мы не намереваемся здесь исследовать детально ни одну из предложенных альтернатив и ограничимся несколькими замечаниями по отношению к каждой из них. При этом мы надеемся, что сказанного, во всяком случае, будет вполне достаточно для того, чтобы можно было плодотворно продолжить дискуссию.

Первую точку зрения я буду связывать с именами П. Гардинера и И. Бёрлина (хотя их позиция в данном вопросе не сводится только к ней). Оба автора связывают затруднения, возникающие при дедуктивном построении объяснения в строго гемпелевском смысле, с тем фактом, что язык исторической науки не является техническим специализированным языком современной физики или психологии, а представляет собою обычный, хотя и окультуренный язык. Они не считают данное обстоятельство слабостью исторической науки, ибо, как они утверждают, это — *требование* самой науки, которое должно выполняться, если хотят, чтобы ее понимали. Однако понятия

повседневного языка расплывчаты и неопределенны, и эти черты передаются общим законам, сформулированным с их помощью. Такие слова, как «революция», «завоевание», указывает Гардинер, не имеют точно определенных правил своего применения, и более того, их значение может меняться с течением времени¹⁵. Аналогичным образом и Бёрлин, соглашаясь с мнением, что все объяснения в истории должны включать в свой состав обобщения, отмечает вместе с тем, что «только очень немногие из них настолько ясны, недвусмысленны и точно определены, что их можно организовать в некоторую формальную логическую структуру, обнаруживающую взаимосвязь или же несовместимость ее отдельных элементов»¹⁶.

Бёрлин обращает внимание и еще на один дополнительный фактор, делающий невозможным применение модели охватывающих законов в ее строгой форме. Им оказывается то обстоятельство, что повседневный язык не только лишен логической определенности, но и имеет не-исправимо *оценочный* характер. Говоря о человеческих поступках, мы всегда оцениваем сделанное, и известные колебания, которые мы испытываем, решая вопрос, следует ли в данном контексте употребить некоторое понятие, могут быть связаны не только с неопределенностью его значения, но и с возможным различием оценок. Некоторые из философов истории — Хайек, Страусс и П. Винч идут дальше в этом направлении и утверждают, что само понятие исторического или социального факта, взятое в его обычном смысле, оказывается квазиоценочным¹⁷. Отсюда любые законы, использующие понятия этого типа, в свою очередь оказались бы оценочными.

Мне не кажется, что обстоятельства, отмеченные Бёрлином и Гардинером, если даже и все, что они говорят, справедливо, представляют собой непреодолимые препятствия для «рациональной перестройки» принятой практики объяснения в соответствии с требованиями теории охватывающих законов. Нет ничего удивительного в том,

¹⁵ P. Gardiner. The Nature of Historical Explanation. Oxford, 1952, p. 53, 60—61.

¹⁶ I. Berlin. Historical Inevitability. London and New York, 1953, p. 54.

¹⁷ См.: F. A. Hayek. The Counter-Revolution of Science. Glencoe, Ill., 1952; L. Strauss. Natural Right and History. Chicago, 1953; P. Winch. The Idea of a Social Science. London, 1958.

что если историк пользуется при объяснении языком столь же неопределенным, как и законы, то расплывчатость этого языка будет влиять на качество объяснения. Странным, однако, оказывается другое — желание представить хорошее объяснение основывающимся на плохих законах. Доказывать же, что только неопределенные и оценочные законы используются в неопределенном и оценочном исследовании, значило бы принять логическую модель охватывающих законов как реальный идеал объяснения. И это все, по-видимому, к чему стремятся гемпелеанцы, хотя они могут и сожалеть, что историк вынужден говорить с широкой аудиторией на ее языке, вместо того чтобы давать вполне адекватные объяснения.

Вторая и более радикальная попытка разрешить указанную трудность основывается не на языке, а на предмете истории. Считается, что либо сам предмет, либо же состояние наших знаний в этой области таковы, что очень редко удается, если вообще удается, открыть достоверные всеобщие законы. Поэтому если мы все-таки хотим дать объяснение события, то нам не остается ничего другого, как отказаться от строго дедуктивных принципов построения данного объяснения. Прямолинейная версия этой теории утверждает, что объяснение можно давать, используя *статистические* законы; мы, конечно, не можем с логической необходимостью дедуцировать в нашем объяснении возникновение какого-нибудь конкретного события или действия, но мы можем по крайней мере показать его вероятность. Тем самым мы могли бы притязать на *индуктивное* объяснение данного события. Модель объяснения с помощью охватывающих законов, модифицированная таким образом, могла бы применяться во всех тех случаях исторических объяснений, для которых можно найти вероятностные общие утверждения, включающие характеристики вида «обычно», «в большинстве случаев». Ибо статистический закон — это просто положение общего характера, утверждающее связь не *всех* случаев, описываемых *экспланантами* и *экспланандумом*, но некоторой их *части*. И закон такого рода мог бы быть, конечно, и неопределенным, и точным, утверждая соответственно, что большинство или же строго определенный процент этих случаев связывается подобным образом. Видоизменение модели охватывающих законов в таком плане было предложено самим Гемпелем уже в ранних его работах по это-

му вопросу; в последнее время оно усиленно защищалось профессором Н. Решером¹⁸.

Изменения первоначального характера модели, связанные с отказом от универсальных и переходом к статистическим законам, представляются нам весьма значительными и существенно меняющими сам смысл понятия исторического объяснения. Так как здесь речь, по-видимому, идет не о том, что таким образом мы получаем *неполные* объяснения или же некоторые *подступы* к объяснению (все это не выходило бы за пределы гемпелевской теории «эскиза» объяснения). Здесь, скорее, утверждается, что событие может быть *полностью* объяснено (хотя, может быть, и в другом смысле) и без подведения его под всеобщий закон, который позволял бы его дедуцировать с логической необходимостью, и, следовательно, без доказательства необходимости его возникновения. В этой связи можно было бы поставить вопрос, представляет ли собою этот отказ от того, что казалось самоочевидным в логической модели объяснения с помощью охватывающих законов, нечто большее, чем простое соглашение о новом значении термина «объяснение». Можно также было бы спросить, насколько приемлемой будет эта уступка для тех, кто был увлечен первоначальной логической элегантностью теории охватывающих законов. Нам кажется, что профессор Скрайвен выражает точку зрения именно этой группы, возражая против статистического «разброса» конкретных событий в объяснениях подобного типа¹⁹. Сила дедуктивного варианта этой модели, отмечает он, заключалась в том, что она сосредоточивала внимание как раз на событии, которое подлежало объяснению. Статистические же законы совместимы как с возникновением, так и с невозникновением того события, которое они должны были бы объяснить: «они теряют связь с индивидуальным случаем».

Заслуживает внимания в этой связи то обстоятельство, что *рациональное* объяснение, несмотря на свою недедуктивность в гемпелевском смысле этого слова, скорее удовлетворит требованию Скрайвена относительно связи с ин-

¹⁸ C. G. Hempel. The Function of General Laws in History. В кн.: Theories of History. New York, 1959; N. Rescher. The Logic of Explanation, там же, p. 360.

¹⁹ M. Scriven. Truisms as the Grounds for Historical Explanations. В кн.: Theories of History, p. 467.

дивидуальным событием, чем статистическое объяснение. Ибо, хотя рациональное объяснение и не показывает, что некоторое действие *должно было произойти*, тем не менее оно может показать, что это конкретное действие *следовало осуществить*. Я говорю «может», так как я не считаю, что затруднение, связанное с пониманием некоторого действия, — это затруднение, которое заставляет нас спрашивать, почему некое лицо сделало то-то и то-то; оно всегда может быть выражено в форме вопроса: «Почему он должен это сделать?», даже если мы при этом берем слово «должен» в нормативном смысле. Подчас все, что мы хотим знать, требуя объяснения некоторого поступка, — это только то, почему могло показаться рациональным или «правильным» совершить именно этот поступок. Здесь *внутри* класса рациональных объяснений возникает различие, аналогичное различию дедуктивного и индуктивного подходов к модели объяснения с помощью охватывающих законов. Однако, когда мы спрашиваем, почему некоторое действие следовало осуществить, то на этот вопрос часто можно дать ответ, прямо относящийся к данному случаю, ответ, логически исключающий все иные возможные альтернативы. Это недостижимо при использовании статистических законов в объяснении.

Третью модификацию объяснения с помощью охватывающих законов предложил сам профессор Скрайвен²⁰. Предложение Скрайвена основано на учете двух уже отмеченных трудностей: 1) на том факте, что универсальные законы, применяемые при построении исторических объяснений, большей частью оказываются весьма недостоверными, и 2) на том, что простые статистические законы, не показывая необходимости возникновения объясняемого события, не могут объяснить и того, почему произошло именно это событие, а не какое-либо иное. Основная идея предложения Скрайвена состоит в том, что он связывает доказательную силу исторического объяснения с наличием в его составе некоторого общего утверждения, по своему типу не являющегося ни универсальным, ни статистическим законом²¹.

Так, если мы спрашиваем, почему Вильгельм Завоеватель не вторгся в Шотландию, то, используя упрощенную

²⁰ M. Scriven. Op. cit., p. 464 ff.

²¹ Ibid., p. 464.

форму одного из примеров Скрайвена, отвечаем: потому что ему не нужны были новые земли. Объяснение данного типа основывается на некотором трюизме: «государи обычно не вторгаются на соседние территории, если они удовлетворены тем, что они имеют». Такое обобщение, подчеркивает Скрайвен, не исключает возможности возникновения случаев противоположного рода; тем не менее оно утверждает нечто большее, чем относительную редкость исключений из этого правила, как было бы в случае со статистическим обобщением. Данное утверждение является более сильным по сравнению со статистическим, так как им определяется некоторый нормативный, стандартный случай и противоречащие ему факты были бы странным исключением. Скрайвен называет такие обобщения «нормативными». Они позволяют нам *дедуцировать* с логической необходимостью возникновение объясняемого явления при условии, что мы не сталкиваемся с какими-либо необычными обстоятельствами. Их особый смысл, говорит Скрайвен, передается через целый ряд нормативных «модификаторов», выражаемых словами: «обычно», «в типичном случае», «естественно», «соответственно», «при нормальных условиях». Логика этих выражений, по мнению Скрайвена, существенно отличается от логики таких выражений, как «все», «большинство», «некоторые». Однако он предостерегает нас от того, чтобы мы принимали любое утверждение общего характера, содержащее эти модификаторы, за нормативное. В равной мере отсутствие данных модификаторов не означает, что обобщение не имеет нормативного значения. Правильное определение их природы зачастую требует внимательного анализа контекста.

Естественно, что основная трудность, с которой мы сталкиваемся при анализе подобных обобщений, состоит в точном определении того, какие «необычные обстоятельства» исключают возможность их применения. Точно так же необходимо провести не только обоснованное в логическом отношении, но и вполне понятное разграничение между фактами, противоречащими нормативным обобщениям, для того чтобы установить, какие из этих фактов их опровергают и какие не опровергают. Ибо Скрайвен не отрицает, что эти «нормы» являются эмпирическими утверждениями и что поэтому должна существовать принципиальная возможность их опровержения. Нам предста-

вляется, однако, что внимательный анализ приводит к разделению этих нормативных утверждений на две группы, уже известные нам из предшествующего изложения. Либо они оказываются обычными универсальными или статистическими законами, либо тем, что может быть названо принципом действия исторического деятеля, которым мы пользуемся в рациональных объяснениях.

С точки зрения Скрайвена, восприимчивый и искусный исследователь, работающий в какой-либо области знания (безразлично, будет ли это история или медицина), знает, как обращаться с нормативными обобщениями. Он знает, как и когда ими пользоваться, несмотря на то, что он не мог бы предусмотреть все особые обстоятельства, исключаящие их применение в научном объяснении. «Цепь исключений, — указывает Скрайвен, — сложна, но познаваема»²². В этой связи он обращает большое внимание на исследовательские навыки и тренированность мышления историка. Может быть, он и прав, считая, что невозможно дать адекватный анализ природы исторического объяснения без обращения к этой стороне дела. Но даже если мы и согласимся со Скрайвеном, что цепь исключений может быть познана и без ее предварительного выявления, то все же остается непонятным, какими логическими преимуществами отличалось бы в этом случае нормативное обобщение по сравнению с универсальными или статистическими законами. Более того, проблема, собственно, и заключалась бы в том, чтобы показать, чем вообще эти нормативные утверждения отличались бы от последних.

Однако в том, что Скрайвен говорит о «нормоопределяющей» функции таких обобщений и об их зависимости от оценок историка, имеются некоторые указания, позволяющие нам сделать вывод, что он приписывает им особый логический характер, не считая их непосредственно эмпирическими. Достоин внимания, например, то, что, приводя весьма разнообразный список утверждений, которые могли бы быть интерпретированы нормативным образом, Скрайвен включает в их число «правила, определения и некоторые нормативные утверждения в этике» (хотя при этом он довольно загадочно относит последние к числу норм, действующих в «других областях») ²³. Как нам кажется,

²² Ibid., p. 466.

²³ Ibid., p. 464.

объясняющая роль утверждений типа «государи обычно не вторгаются на чужие территории, если они удовлетворены тем, что они имеют» может быть вполне логично выведена из того, что они устанавливают некоторую «норму», напоминающую нам о том, что разумно делать, и тем самым о том, что люди действительно делают, за *исключением* случаев, когда они поступают глупо, невежественно, произвольно и т. д. Объясняющая функция данного конкретного нормативного утверждения, при подобном его истолковании, состояла бы в выявлении основного мотива того, почему Вильгельм не вторгся в Шотландию. А это отождествило бы объяснение последнего рода с «рациональным» объяснением, описанным нами.

Четвертую и столь же интересную попытку предоставить в наше распоряжение более достоверный тип объясняющего закона для исторических явлений предприняли профессоры Н. Решер, Джойнт и О. Хельмер²⁴. Согласно этим авторам, хотя историки и пользуются довольно часто законами других наук, естественных и общественных (главным образом для того, чтобы определить «границные условия» исторического действия), они также и сами делают обобщения, имеющие логически отличный от первых характер. В процессе собственных исследований, утверждают они, историк формулирует не общие законы, а ограниченные пространственно-временными пределами обобщения. Примером их могли бы служить следующие утверждения: «Офицеры флота в дореволюционной Франции назначались только из дворянского сословия» или «Еретики преследовались в Испании XVII столетия»²⁵. Особый интерес подобным обобщениям в контексте настоящего доклада придает их связь с одним характерным возражением историков против первоначальной версии теории охватывающих законов. Это возражение состоит в том, что принятие универсальных законов вынудило бы историка делать необоснованные утверждения относитель-

²⁴ N. Rescher and O. Helmer. On the Epistemology of the Inexact Sciences. *Management Science*, October 1959, p. 25—40; N. Rescher and C. B. Joynt. On Explanation in History, *Mind*, 1959, p. 383—387; N. Rescher and G. B. Joynt. The Problem of Uniqueness in History.—“History and Theory”, I, 2 (1961), p. 150—162.

²⁵ N. Rescher and O. Helmer. On the Epistemology of the Inexact Sciences. *Management Science*, October 1959, p. 27, 29.

но неисследованных областей исторического пространства и времени. Объяснения же, основанные на *ограниченных* обобщениях, использовали бы только тот род общих знаний, на который и может претендовать историк, а именно «знание периода».

К этому еще можно было бы прибавить, что, по Решеру, большинство ограниченных обобщений, используемых историками, неопределенны в том смысле, что они допускают небольшое количество случаев, противоречащих этому обобщению, внутри области исторических явлений, в которой их применение является вполне закономерным. Это признание не ставит перед Решером никаких особых проблем, так как в его теории статистические законы и вероятные гипотезы могут также участвовать в объяснении исторических событий. Действительно важным моментом его точки зрения оказывается, однако, утверждение, согласно которому такие «ограниченные обобщения» могли бы быть абсолютно общими, не допускающими никаких исключений внутри определенной области их применения, и, следовательно, не являясь универсальными в строгом смысле, они тем не менее делали бы возможным *дедуктивное* объяснение при некоторых благоприятных условиях.

Рассматривая точку зрения этих авторов как нечто новое по сравнению со взглядами, рассмотренными в данном докладе, мы бы хотели поэтому сконцентрировать наше внимание на их концепции ограниченных обобщений, не имеющих статистического характера.

На основании хорошо известных примеров можно было бы считать эти обобщения обобщениями *полной индукции*. Объяснения, даваемые с их помощью, по своей форме были бы тогда совершенно аналогичны объяснению того факта, что из сумки вынут красный шар, когда заранее известно, что в нее только красные шары и были положены. Вряд ли можно отрицать, что, пользуясь информацией такого рода, мы бы объяснили данный факт, хотя и можно сомневаться в ценности подобных объяснений для исторических исследований. Во всяком случае, можно было бы утверждать, что объяснение данного типа имело бы большую силу, чем объяснение с помощью статистических законов. Несомненно также и то, что такие суммарные обобщения полноиндуктивного типа имеют место в исторической науке. Например: «Все составы парламен-

тов в период реформации в Англии были специально подобраны» — высказывание, которое утверждается на основе независимого исследования каждого из этих парламентов. Однако наши авторы совершенно недвусмысленно отвергают подобную интерпретацию ограниченных обобщений. Ибо, по их утверждению, обобщения такого рода относятся к неисследованным случаям так же, как и к исследованным, и в определенной мере независимы от фактов. Они могут быть применены не только к известным, но и к неизвестным французским морским офицерам и испанским еретикам, равно как и к тем из них, чье существование оказывается простой логической возможностью.

Но если мы спросим, каковы логические основания достоверности обобщений этого типа, то, как и в случае с нормами Скрайвена, они превращаются в нечто более знакомое для нас (хотя, может быть, и не всегда ясно, почему так происходит). Особенно наглядно это обнаруживается при рассмотрении одного часто употребляемого примера (который, к сожалению, сам по себе не является примером объяснения действия) — при объяснении поражения Вильнева в Трафальгарском бою. Это объяснение частично основывается на следующем утверждении: «В морских сражениях 1653—1805 годов большие флотские соединения были слишком громоздки и поэтому не могли эффективно управляться»²⁶. Нам говорят, что мы можем положиться на это обобщение, так как мы знаем состояние управления кораблями в XVIII веке, а наше знание последнего подкрепляет простое индуктивное обобщение опыта морских сражений, показывая, почему выявленная закономерность имела место в указанное время. Отсюда в лице ограниченного обобщения мы на самом деле имеем некоторую «переходную закономерность», которая сама подлежит объяснению с помощью универсальных законов, взятых в конъюнкции с местными условиями. Ключом к оценке логической доктрины Решера, Джойнта и Хельмера являются следующие вопросы: сохранит ли ограниченное обобщение свою объясняющую силу и в том случае, если нельзя будет найти его логическую связь с универсальными законами; всегда ли мы нуждаемся в знании этих законов при определении пространственно-

²⁶ Ibid., p. 28.

временных пределов некоторого ограниченного обобщения? Сделать уступку и в том и в другом отношении означало бы удовлетворить все требования сторонников первоначальной версии теории объяснения с помощью охватывающих законов. И насколько мы можем судить, наши авторы делают эти уступки. Единственное, что их беспокоит, как это было и в случае с нормами, так это только недостаточная определенность наших знаний о законах, на которые опираются ограниченные обобщения. Имеется лишь «смутное знание закономерностей, лежащих в их основе»²⁷.

Пятая предложенная модификация доктрины охватывающих законов пытается устранить сопротивление историков включению универсальных законов в структуру исторического объяснения тем, что она еще больше ограничивает приписываемое им значение. Выдвигается предложение, согласно которому при объяснении индивидуальных человеческих поступков связь между объясняемым действием, мотивами и представлениями личности, объясняющими его, обеспечивалась с помощью общего утверждения, имеющего всего лишь «законообразную форму». Причем оно должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно относилось только к кругу действий некоторой *конкретной личности*. Эта доктрина вошла в современную дискуссию по философии истории в связи с анализом психологической предрасположенности, содержащимся в книге профессора Райла «Понятие сознания». Райл использует данное понятие в своей теории объяснения. Он указывает, что утверждения о предрасположенностях некоторого лица (например, такие утверждения о характерологических особенностях, как «Дизраэли был честолюбив») являются «законоподобными», поскольку они позволяют выразить себя в форме единичного гипотетического высказывания. Приведенное выше утверждение можно выразить следующим образом: «Если Дизраэли увидит возможность получить власть, он воспользуется ею». В отличие от истинных законов, однако, здесь не связываются *типы* мотивов и представлений (или личностей) с *типами* действий. Если бы утверждения этого рода обладали объясняющей силой, то они, как и обобщения Респера, являясь всего лишь ограниченно общими, общими только в

²⁷ Ibid., p. 38.

смысле предрасположенности, были бы особенно ценными в исторических исследованиях. Опасность обобщений, связанных с историческими личностями, давно уже стала общим местом. Историк должен, говорит Страусон, *знать своего героя*, что весьма существенно отличается, говоря словами того же Страусона, «от знания банальностей о человеке вообще»²⁸. Но знать кого-либо, по данной теории, означает выявить комплекс его предрасположенностей, который мы называем характером. В этом случае, как утверждается, мы смогли бы объяснить его поступки, показав, что они *характерны* для него.

Ясно, что утверждение о предрасположенностях некоторой личности само по себе не является законом. Но возникает вопрос, можем ли мы делать такие утверждения, не связывая себя с универсальными законами? Не являются ли эти утверждения всего лишь следствием данных законов? Райл считает их независимыми, более того, он утверждает, что даже при исследовании природы мы приходим к познанию некоторых характерных особенностей предметов *еще до* познания соответствующих общих законов. К сожалению, его известный пример подобран им очень неудачно и плохо иллюстрирует данное утверждение. Ибо, если бы я попытался объяснить, почему разбилось *это* оконное стекло при попадании в него камня, говоря, что оно было хрупким то трудно понять, каким образом мне это стало известно, допуская, что я ничего не знаю об общих свойствах стекла. В других же случаях, то есть когда предварительное выявление предрасположенностей объекта не требует его разрушения, утверждение Райла представляется вполне правдоподобным. Аналогичным образом мы можем установить, что некоторое лицо предрасположено вести себя определенным способом, наблюдая за его поведением при соответствующих обстоятельствах.

Доказывается, однако, что *человеческие* предрасположенности обладают одной логической особенностью, которая ставит под сомнение возможность их познания вне познания общих законов. Вводя логическую модель объяснения, основывающуюся на предрасположенностях исторических деятелей, Гардинер широко использовал собст-

²⁸ См.: Ryle. Op. cit., p. 268. (Здесь у автора ошибка. См.: P. F. Strawson. Op. cit.)

венное признание Райла относительно слабостей в предсказаниях действий, когда эти предсказания осуществляются на основании знания характерологических особенностей людей. Райл затрагивает этот вопрос, говоря, что человеческие предрасположенности скорее определяются, чем определяют; обычно существует значительное количество способов проявления этих предрасположенностей, альтернативных по своему характеру, и наше знание их отнюдь не значило бы, что мы в состоянии предсказать поведение человека. Профессор Дж. Коген считает, что эта сложность человеческих предрасположений может заставить историка обратиться к универсальным законам²⁹. Мысль Когена состоит в следующем: если утверждение «Дизраэли был честолюбив» не позволяет нам предвидеть какое-то специфическое проявление его честолюбия, уже отмечавшееся в его прошлом поведении, но просто заставляет нас ожидать от него той или иной из множества возможных и альтернативных реакций, и если мы собираемся построить наше объяснение выступления Дизраэли против Пия в 1847 году на признании факта его честолюбия, то для придания нашему выводу достоверности мы нуждаемся в каком-то более сильном логическом основании, чем то, что Дизраэли вел себя хотя и честолюбиво, но по-иному в прошлом. Мы должны были бы знать также и то, что честолюбие предрасполагает его и к совершению данного поступка. Коген полагает поэтому, что историк, давая подобное объяснение, фактически принимает некоторый универсальный закон, по которому личность, предрасположенная к честолюбивым поступкам определенного рода, будет совершать и честолюбивые поступки другого рода. Данная концепция, необходимо отметить, не рассматривает то, что *утверждается* о предрасположенности Дизраэли в качестве универсального закона, более того — в ней не говорится, что это наше утверждение основано только на наблюдении его поведения в прошлом (при условии, что он уже совершил достаточное количество честолюбивых поступков). Однако она ясно показывает, что использование утверждений подобного рода в исторических объяснениях, как правило, связано с принятием некоторых универсальных законов.

²⁹ J. Cohen. Op. cit.

И, наконец, мы рассмотрим шестую модификацию модели охватывающих законов, предложенную некоторыми философами. Профессор Ч. Френкель принимает вывод Гемпеля, согласно которому неполнота объяснений, предлагаемых историками, часто ответственна за расхождение логической структуры этих объяснений со строгой формой модели охватывающих законов. Но Френкель находит и второй вид отклонений, который не связан с предполагаемой незавершенностью логической работы историка. Исторические объяснения, утверждает он, могут не иметь дедуктивного характера (поэтому оказываются не в состоянии предсказывать события), так как они устанавливают только некоторые *необходимые* или *существенные*, но недостаточные условия возникновения события. Это имеет место и в других областях знания, добавляет он, но там «определение достаточных условий всегда остается идеалом объяснения». В истории же, напротив, дело часто обстоит таким образом, что определение некоторых необходимых условий события, «по-видимому, вполне удовлетворяет нашу потребность в объяснении»³⁰. Согласно Френкелю, характеристика необходимых условий, и особенно если речь идет о процессе, его необходимых стадий, — «одно из устойчивых и принятых значений термина «объяснять»; отсюда было бы неправильно рассматривать такие объяснения как неполные в буквальном значении этого слова, как простой «эскиз объяснения». Мы должны понять, «что не все удовлетворительные в логическом отношении объяснения предоставляют в наше распоряжение информацию одного и того же типа и что не все наши потребности в объяснении чего-либо могут быть удовлетворены ответами одного и того же рода».

Объяснение, раскрывающее необходимые или существенные условия какого-нибудь явления, не стремится к тому, чтобы *экспланандум* следовал с логической необходимостью из *экспланантов*. Тем не менее, продолжает Френкель, «оно в той же мере, как и полное дедуктивное объяснение, основывается на молчаливо принимаемых или же явно сформулированных обобщениях. Иначе мы не смогли бы различить простую последовательность событий

³⁰ Ch. Frankel. Explanation and Interpretation in History. В кн.: Theories of History, p. 412.

и ряд событий взаимосвязанных. Ибо только используя некоторое общее положение, согласно которому события данного типа имеют место исключительно в связи с событиями другого типа, мы оказываемся в состоянии связать определенное значение с термином «исторический процесс».

В своем общем анализе *генетического* объяснения профессор В. Галли утверждает почти то же самое. Если, указывает он, историк объясняет быстрое развитие христианства тем, что оно использовало еврейскую синагогу как трибуну для вербовки своих сторонников, то он отнюдь не обязан утверждать, что это обстоятельство сделало быстрый рост христианства необходимым или вероятным. Подлинная ценность подобного объяснения заключается, скорее, в том, что оно показывает нам, каким образом христианство реализовало свои возможности. Примером объяснения такого же рода, взятым из повседневной жизни, могло бы послужить объяснение сердитого ответа некоего человека колкостью, сказанной в его адрес. И в данном случае мы не утверждаем, что этот сердитый ответ был необходим или что его можно было предвидеть. Скорее, мы говорим, что *если бы* не эта колкость, то «его ответ был бы непонятным, так как ему бы не доставало соответствующего исторического контекста»³¹.

Профессора Галли критиковали за сделанное им предположение, что наше знание о необходимых условиях события является логически независимым от знания его достаточных условий. Критике подвергалось и второе предположение Галли, тесно связанное с первым. Оно заключается в том, что мы можем дать вполне достоверное объяснение генетического типа и без расширения его за счет предшествующих условий и законов, которые в конечном итоге превратили бы его в объяснение с помощью охватывающих законов, объяснение дедуктивного характера³². В связи с этой критикой я не могу понять, почему мы должны отрицать, что эмпирическим путем вполне возможно установить законы, имеющие форму «только если имеет место то-то и то-то, мы обнаруживаем то-то

³¹ W. B. Gallie. *Explanation in History and the Genetic Sciences*. В кн.: *Theories of History*, p. 387.

³² A. Montefiore, Professor Gallie on "Necessary and Sufficient" Conditions. — "Mind", October 1956, p. 534 ff.

и то-то», которые могли бы сделать утверждение о необходимом условии конкретного события вполне достоверным. Я не вижу и ничего спорного в том, что в ряде случаев знание необходимых условий вполне достаточно для объяснения. Это, по-видимому, особенно верно в том случае, если затруднение в понимании какого-нибудь события, вызывающего потребность объяснения, выражается наиболее естественным образом в виде вопроса: «Как вообще такое могло случиться?» Уже сама форма вопроса показывает, что при первой оценке события мы не видим, что здесь были бы выполнены необходимые условия для возникновения событий этого рода.

Наши замечания к вышеизложенному ограничиваются следующим. Рациональная модель объяснения *действий*, предложенная нами, не требует ни того, чтобы мотивы или убеждения исторического деятеля возводились бы в ранг необходимых условий действия с помощью некоторого закона, ни того, чтобы им придавали значение достаточных условий. Для объяснения поступка вполне достаточно, чтобы мотивы, лежащие в его основе, были *рационально* необходимым условием, то есть объяснение нашего типа должно показать, что без этого условия у исторического деятеля не было бы оснований сделать то, что он сделал. Но это не означает утверждения необходимой связи этих мотивов с данным действием, так как мы не требуем от нашего объяснения доказательства, что этот деятель *не мог* действовать так, как он действовал, не имея этих мотивов. Если же, как уже было нами показано, мы установим, что некоторый деятель *должен* был сделать то, что он сделал, на том основании, что у него не было никакого иного разумного выбора, то тем самым мы отнюдь не утверждаем, что его поступок можно было предсказать, исходя из знания достаточного условия этого поступка. Точно так же, используя приведенный нами пример, если мы покажем, что колкость дала основание для резкого ответа, то мы тем самым не утверждаем, что ее можно было бы вывести *ретроспективно* из самого факта этого ответа. Таким образом, предложенное ослабление модели охватывающих законов, ставящее своей целью оправдание применения так называемых «законов необходимого условия», все еще недостаточно радикально для того, чтобы охватить все существующие формы рационального объяснения дейст-

вий. Но и оно в меру своих возможностей показывает действительно слабые места гемпелевской модели, взятой в ее строгой форме.

IV

Рассмотрением теорий Френкеля и Галли мы завершили наш краткий обзор некоторых из наиболее важных предложений, связанных с видоизменением теории охватывающих законов. Все эти предложения в известной мере представляют собой уступку логической теории реальным аспектам исторического знания. Как мы уже видели, эти уступки имеют различный характер в логическом отношении; некоторые из них выглядят более обоснованно в сравнении с другими. Однако можно было бы отметить, что, хотя различные отклонения от того, что может быть названо первоначальной концепцией охватывающего закона, были представлены нами в качестве *альтернативных*, они не являются (не имея при этом в виду, может быть, только статистическое и нормативное обобщение) *исключающими* друг друга альтернативами. В самом деле, как мы уже указывали, некоторые из рассмотренных нами авторов считают объясняющие законы в истории страдающими от двух и более «недостатков» одновременно. К этому можно было бы прибавить, что человек, признавший правомерность каждого из видоизменений в отдельности, мог бы попытаться соединить их в единое целое: можно было бы себе представить объясняющий закон, который бы приближался к идеальному во всех шести отношениях одновременно. Он мог бы *расплывчато* утверждать, что убеждения, цели и действия определенной личности *нормативно* связаны в определенной *пропорции* случаев, в ограниченной географической области и в течение некоторого ограниченного *периода*, причем эта связь выражается в том, что, *не будь* у этого человека данных убеждений и целей, указанные действия не были бы осуществлены.

Философа, готового принять столь максимально модифицированный «закон» в качестве закона, удовлетворяющего всем требованиям, предъявляемым к обобщению в историческом объяснении, нельзя было бы обвинить в отрыве теории от практики. И очень может быть, что при достаточном накоплении модификаций такого

рода традиционное сопротивление историков явному или скрытому включению законов в состав объяснения конкретного события было бы полностью преодолено. В конечном счете, после всех этих преобразований объясняющий закон мог бы выглядеть совершенно безобидным. Тем не менее и по причинам, о которых я уже говорил в первой части своего доклада, утверждение, что закон, даже если он и будет абсолютно безобидным, может придать силу типичному объяснению действия в истории, представляется мне ошибочным. Указывать, что непонятный для нас поступок подпадает под действие закона любого рода, даже если последнее является верным, значило бы привлекать к типичному историческому объяснению понятия и логические отношения, не имеющие ничего общего с подлинной историографией.

Завершая доклад, мы пытаемся наметить связь изложенной в нем концепции с более широкими философскими проблемами. Здесь прежде всего нам хотелось бы затронуть два вопроса. Во-первых, вопрос об отношении рациональной модели объяснения к философскому учению о свободе воли. Во-вторых, вопрос о связи нашей теории рационального объяснения с определенным подходом к природе и цели исторического исследования.

Позвольте мне прежде всего открыто признать, что я действительно являюсь сторонником учения о свободе воли. Я полагаю, что рациональная модель объяснения имеет особое значение для всех приверженцев этого учения. Ее значение основывается на том, что она показывает нам такой способ исторического объяснения, который оказывается логически *совместимым* с учением об индетерминизме человеческих поступков. Мы часто сталкиваемся с утверждением о несовместимости признания действия человека за свободное и вместе с тем за объяснимое. Но если мы правы, то это утверждение справедливо только для объяснения при помощи модели охватывающих законов, устанавливающей необходимую связь между действием и объясняющими его условиями.

Высказывая это положение, нам бы хотелось со всей определенностью подчеркнуть, что мы отнюдь *не обуславливаем* принятие рациональной модели объяснения предварительным принятием учения о свободе воли. Основываясь на самих понятиях, мы доказываем, что как в исторической науке, так и в повседневной жизни ши-

роко пользуются таким значением термина «объяснить», которое не ведет к признанию детерминизма. Точно так же хотелось бы подчеркнуть, что мы отнюдь не обосновываем правильность философского индетерминизма самим фактом возможности рационального объяснения поступка. Ибо мы не считаем, как, по-видимому, это делает профессор Винч³³, что рациональное объяснение исключает объяснение с помощью охватывающих законов, что рациональное объяснение с необходимостью ведет к *индетерминизму*. Я не считаю даже, что мы должны согласиться с точкой зрения профессора Донагана, согласно которой рациональное объяснение имеет смысл лишь постольку, поскольку мы не можем дать объяснение, использующее охватывающие законы³⁴. Нам представляется, что эти два типа объяснения лучше всего относить к двум различным логическим и концептуальным структурам, каждая из которых решает специфические для нее проблемы.

Мы полагаем, что указанная нами совместимость рационального объяснения с учением о свободе воли может явиться для некоторых философов истории вполне достаточным аргументом для того, чтобы подчеркивать концептуальное различие между объяснением этого типа и всеми формами объяснения, построенными на основе модели охватывающих законов. Однако имеется также некоторое основание для принятия рациональной модели и для убеждения, что она *должна* действовать в историческом исследовании, которое могло бы привлечь и сторонников детерминизма. Последнее утверждение вызвало бы критику со стороны всех тех философов, которые, принимая тезис о совместимости рационального объяснения с учением о свободе воли, вместе с тем недовольны логической формой этого объяснения. Так как, утверждают они, объяснения логически «компактные», безусловно, превосходят объяснения «рыхлые», какова бы ни была причина этой рыхлости, то, совершенно очевидно, необходимо предпочесть объяснения с помощью охватывающих законов во всех тех случаях, когда их возможно дать. Отсюда, с их точки зрения, вполне правомерно рассчитывать, что «ущербная» модель рационального объяснения в истории

³³ P. Winch. Op. cit., pp. 72, 93—94.

³⁴ A. Donagan. Explanation in History.— “Mind”, 1957, p. 153

ческой науке будет постепенно заменена на нечто лучшее. Я бы хотел показать, что, даже допуская возможность объяснения всех исторических явлений с помощью охватывающих законов, рациональное объяснение поступков исторических деятелей все еще сохраняло бы свое значение и ценность.

Основанием этого моего убеждения является ответ, который, с нашей точки зрения, следовало бы дать на следующий вопрос: «Для чего изучается история?» Безусловно, одной из причин изучения истории людьми оказывается надежда, что таким путем они приобретут знания о прошлой деятельности человечества, которые позволят им разрешить их современные проблемы. И, как и в случае с изучением природы, часто весьма полезно иметь возможность объяснять и предсказывать исторические явления, пользуясь моделью охватывающих законов. Как неоднократно и весьма красноречиво говорил об этом профессор Донаган, возможность успешного проведения исторических исследований такого рода все еще остается под вопросом. Но он безусловно прав, утверждая, что было бы глупо отбросить «антиномические» социальные исследования, которые развивались в течение столетий, на основании простой надежды получить когда-либо нечто лучшее³⁵. Нам бы хотелось несколько развить эту точку зрения. Ибо нам представляется, что даже если бы «наука»история, использующая объяснение с помощью охватывающих законов, была бы уже хорошо развитой, то и тогда бы не было никаких оснований отбрасывать исследования, дающие только недедуктивные, рациональные объяснения, и, более того, были бы все основания для продолжения этих исследований наряду с исследованиями другого типа.

Изучать историю, как и все остальное, нас заставляет простое человеческое любопытство: интерес к выявлению и мысленной реконструкции жизни людей в других местах и в другие периоды. Для того чтобы выявить и понять их жизнь, было бы недостаточным уметь упорядочивать, предсказывать или восстанавливать их действия. Необходимо было бы также уметь применять к ним понятия и категории *практики*. Необходимо было бы, как это сказал бы

³⁵ A. Donagan. Social Science and Historical Antinomianism.—“Revue internationale de Philosophie”, 1957, p. 448—449.

Коллингвуд*, подойти к ним *изнутри*. Даже если мы и не придерживаемся теории свободной воли, мы сами — действующие существа и других считаем себе подобными. И даже допуская, что объяснение с помощью охватывающих законов возможно и полезно в ряде отношений, мы все же хотели бы расширить наше понимание и оценку человеческой жизни *с точки зрения деятельности*. Девиз: «История позволяет нам пережить чужую жизнь», как и все девизы, схватывает только одну сторону истины. Но это — сторона истины, и причем та, которую склонны забывать теоретики охватывающих законов. Мы должны всегда помнить, что история не только (возможно) ветвь социологии, но что она и ветвь (на самом деле) гуманитарных наук. И мое главное возражение против доктрины охватывающих законов в истории основывается не на трудностях, возникающих при ее практическом применении, безотносительно к тому, имеем ли мы дело со строгой или видоизмененной формой доктрины. Мы возражаем против этой доктрины скорее потому, что она устанавливает своего рода *концептуальный барьер* для гуманистической ориентации историографии.

* Здесь и далее звездочками обозначены прилагаемые в конце сборника комментарии переводчика и составителя.

МОТИВЫ И «ОХВАТЫВАЮЩИЕ» ЗАКОНЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЪЯСНЕНИИ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОХВАТЫВАЮЩИХ» ЗАКОНОВ В ДЕДУКТИВНОМ И ВЕРОЯТНОСТНОМ ОБЪЯСНЕНИИ

II предпринимаемое нами рассмотрение проблемы объяснения в исторической науке вызвано в основном фундаментальным и богатым мыслями докладом профессора Дрея. Причем в качестве некоторой основы для этого рассмотрения нам бы хотелось дать в начале нашего доклада краткий анализ того типа объяснения, которое осуществляется с помощью «охватывающих» законов, а также сделать в этой связи несколько развернутых комментариев.

Многозначный термин «модель исторического объяснения с помощью охватывающих законов» был введен профессором Дреем в его монографии «Законы и объяснения в истории», в которой он после весьма объективного изложения данной концепции объяснения выдвигает целый ряд интересных возражений, считая объяснения подобного рода недостаточными, в особенности когда речь идет об исследованиях в области истории.

В своей книге профессор Дрей обозначает термином «модель объяснения с помощью охватывающих законов» такое дедуктивное построение объяснения, которое подводит частный случай под охватывающие законы. В объяснении этого типа некоторое данное эмпирическое явление — в этом докладе, как правило, за него будет приниматься какое-то конкретное событие — объясняется при помощи того, что *экспланандум* (объясняемое положение. — *Пер.*) выводится дедуктивным путем из ряда других положений, называемых *экспланантами* (объясняющие положения. — *Пер.*), и содержание экспланандума состоит в описании данного события. Этот ряд экспланантов включает некоторые общие законы и положения, описывающие определенные конкретные факты или условия, которые предшествуют или сопутствуют объясняемому

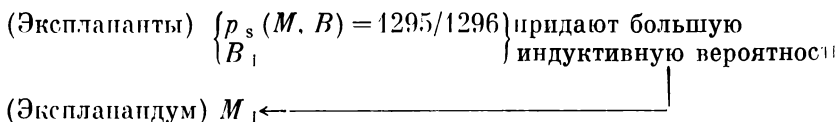
событию. В причинном объяснении, например, представляющем собою одну из важных разновидностей дедуктивного объяснения с помощью охватывающих законов, некоторое индивидуальное событие (например, увеличение объема данной массы газа в конкретном месте и времени) рассматривается как «следствие» некоторых других событий (например, нагревания этой массы газа в условиях постоянного давления), из которых оно проистекает (осуществление этих событий с необходимостью ведет к возникновению первого) в соответствии с определенными законами (в данном случае с законами газообразного состояния вещества).

В объяснениях дедуктивного или «дедуктивно-номологического»¹ типа* охватывающие законы имеют строго универсальную форму, то есть, если охарактеризовать их схематически, они утверждают, что во всех случаях, когда реализован определенный комплекс условий F , возникает некоторое событие или состояние G , или, записывая это в символической форме: $(x) (F x \supset G x)$.

Однако имеется и второй, логически совершенно иной тип объяснений, который играет важную роль в различных отделах эмпирического знания и который я также хотел бы назвать «объяснением с помощью охватывающих законов». Отличительной чертой этого второго типа, упоминавшейся в докладе профессора Дрея, является то, что некоторые из охватывающих законов в этом случае имеют вероятностно-статистическую форму. Взятый в простейшем виде закон данной формы представляет собой утверждение, что при более или менее сложных условиях F некоторое событие или «эффект» G будет иметь место со статистической вероятностью, то есть, грубо говоря, сито-

¹ Более полное описание дедуктивно-номологической модели см., например: C. G. Hempel. The Function of General Laws in History.—“The Journal of Philosophy”, 39 (1942), p. 35—48. Перепечатано в Theories of History, ed. P. Gardiner, Glencoe III (Free Press, 1959), p. 344—356. См. также: C. G. Hempel and P. Oppenheim. Studies in the Logic of Explanation.—“Philosophy of Science”, 15 (1948), p. 135—175. Первая из этих статей рассматривает применимость теории «охватывающих» законов к историческому объяснению. Более детальный анализ индуктивно-вероятностного объяснения был предпринят нами в статье “Deductive-Nomological vs. Statistical Explanation”. В кн.: Minnesota Studies the Philosophy of Science, eds. H. Feigl and G. Maxwell, III (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962), p. 98—169.

говой относительной частотой q , или, выражая это средствами символической логики, $p_s(G, F) = q$. Если вероятность q близка к 1, то можно использовать закон данного типа в объяснении возникновения G в случае реализации условий F . Приведем простой пример. Предположим, что после некоторого выбрасывания четырех игральных костей общее число выпавших очков превышает 4. Это может быть объяснено, исходя из следующих положений (причем их фактическая правильность устанавливается эмпирическим путем на основе эмпирической же проверки; они могут быть ложными, например, если одна из костей фальшива): (1) для каждой из этих костей вероятность выпадения одной из ее сторон равна вероятностям выпадения всех ее других сторон, и (2) при совместном выбрасывании всех этих костей количества очков, показываемые каждой из них, статистически независимы друг от друга; так что статистическая вероятность того, что некоторое выбрасывание (B) всех этих четырех костей даст общую сумму очков, превышающую четыре (M), составит $p_s(M, B) = 1295/1296 = 0,9992...$ Это общее вероятностное суждение в соединении с некоторой информацией, согласно которой в результате выбрасывания четырех костей имело место какое-то исследуемое событие i (или, более кратко, что B_i), отнюдь не приводит нас к логически необходимому выводу, согласно которому сумма очков, выпавшая в данном конкретном случае, превышала 4 (или, что M_i). Однако эти два утверждения предоставляют в наше распоряжение веское индуктивное основание, или, как иногда говорят, большую индуктивную вероятность для того, чтобы предположить или ожидать M_i . Логический характер объяснения этого типа может быть представлен в виде следующей схемы:



Вероятность, которую, как показано в данной схеме, придают эксплананты экспланандуму, не носит статистического характера, то есть она не выражает эмпирически устанавливаемого количественного соотношения между двумя рядами событий, таких, как B и M ; это скорее ло-

гическое отношение между двумя высказываниями — в нашем случае между конъюнкцией * экспланантов, с одной стороны, и экспланандумом — с другой. Данное отношение индуктивно-логического обоснования или вероятности представляет собой центральное понятие логических теорий вероятности, развитых прежде всего Кейнсом и Карнапом **. Теория Карнапа, применимая к формализованным языкам определенного рода, дает нам количественную дефиницию логической вероятности. В какой мере эти системы индуктивной логики могут быть применены к реальным научным исследованиям, все еще остается предметом изучения и обсуждения. Однако это обстоятельство ни в коей мере не влияет на основной тезис, согласно которому при объяснении с помощью вероятностно-статистических законов между экспланандумом и «охватывающими» законами имеет место не логическая связь дедуктивного следования, а связь индуктивного обоснования. Этот род объяснений я поэтому буду называть *вероятностным* или *индуктивным объяснением*. Объяснения этого рода играют важную роль в различных областях науки. Например, необратимость некоторых макроскопических явлений, таких, как смешивание кофе с молоком, может быть объяснена этим вероятностным способом при допущении определенных статистических закономерностей, действующих на уровне микрособытий, лежащих в основе этих явлений.

2. ОДНО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ АДЕКВАТНОСТИ ОБЪЯСНЕНИЙ

Два данных типа объяснения имеют следующую общую черту: они объясняют некоторое событие, показывая, что, исходя из определенных конкретных обстоятельств и общих законов, можно было предвидеть его возникновение (предвидеть в логическом смысле этого слова) либо с дедуктивной необходимостью, либо с индуктивной вероятностью. Благодаря этой черте оба эти способа объяснения вполне удовлетворяют тому, что я бы рискнул назвать общим *условием адекватности* для объяснений. Это значит, что только при выполнении данного условия можно было бы считать некоторый отчет о событии рационально приемлемым его объяснением. Условие, которое

мы имеем в виду, сводится к следующему: любое объяснение, то есть любой рационально приемлемый ответ на вопрос: «Почему произошло X?», должно дать информацию, на основании которой можно было бы достаточно уверенно считать, что событие X действительно имело место². Дадим более развернутую формулировку этого условия: если на вопрос: «Почему произошло X?» дан ответ: «Потому что имеет (или имело) место Z», то данный ответ не может считаться рационально достаточным объяснением факта возникновения X до тех пор, пока информация относительно того, что имеет (или имело) место Z, не даст нам удовлетворительных оснований считать, что X действительно произошло. В противном случае эту информацию нельзя было бы считать достаточным основанием для утверждения: «Да, это объясняет, это показывает, почему произошло X».

Здесь, по-видимому, было бы целесообразно сделать два развернутых замечания. Во-первых, только что сформулированное условие адекватности объяснения следует понимать как необходимое, но не как достаточное условие удовлетворительного объяснения; определенные виды информации, такие, например, как данные научного опыта, могут явиться отличным основанием для уверенности, что X действительно имело место, не говоря ничего о том, почему оно произошло.

Во-вторых, понятие объяснения с помощью охватывающих законов, как это ясно видно из самой схемы данного объяснения, относится к логике, а не психологии объяснения*, точно так же, как математическое понятие доказательства относится к логике, а не психологии доказательства математических теорем. Доказательства и объяснения, которые совершенно достаточны в прагматически-психологическом смысле (что весьма интересно и важно само по себе) для того, чтобы заставить кого-нибудь «понимать» то, что ему объясняется или доказыва-

² Условие данного типа легко может быть сформулировано таким образом, что оно будет относиться не только к объяснениям отдельных событий или состояний, но и к объяснению таких общих характеристик объектов, как, например, характеристики, выражаемые с помощью второго закона Кеплера. Однако объяснения последнего рода, рассматриваемые во второй и третьей части статьи, упомянутой в первом разделе, не анализируются в данной статье, как не относящиеся к ее предмету.

ются, могут быть осуществлены — и часто действительно осуществляются — методами, которые не соответствуют формальным стандартам понятий доказательства и объяснения, взятым в непрагматическом, метатеоретическом смысле*. Например, достаточно иногда только обратить чье-то внимание на один какой-нибудь факт или какой-либо общий закон, который этот человек выпустил из виду, забыл или не знал, как это выпущенное звено занимает свое место в системе уже имеющегося у человека знания, и он понимает, почему имеет место X. А так как доказательства и объяснения, предлагаемые математиками и экспериментаторами в их печатных работах, лекциях и просто беседах, формулируются с учетом определенной специфической аудитории, то им придают более или менее эллиптический характер. Но из этого отнюдь не следует, что стремление создать непрагматическое, метатеоретическое понятие доказательства или объяснения оказывается либо принципиально ошибочным, либо неинтересным и теоретически бесполезным. Как показывает пример теории доказательства, имеет место как раз обратное. И хотя логическая теория объяснения не может похвастаться результатами, сравнимыми по глубине и важности с результатами современной теории доказательства, она тем не менее привела к некоторым немаловажным открытиям. Например, некоторые результаты, полученные Рамсеем и Крейгом**, раскрывают роль так называемых «теоретических сущностей» в научных теориях и проливают свет на возможность построения этих теорий без ссылок на данные сущности при полном сохранении вместе с тем их объясняющей силы. А проблемы этого рода могут быть отнесены только к логике, но не психологии объяснения.

Как я только что упомянул, объяснения, предлагаемые исследователями в различных областях экспериментальных исследований от физики до истории, часто не удовлетворяют условию адекватности, сформулированному выше, и тем не менее интуитивно они могут считаться совершенно удовлетворительными. Очевидно, что при оценке логической адекватности некоторого предложенного объяснения мы должны принять во внимание не только то, что утверждается в экспликантах явным образом, но и то, что выпущено как не заслуживающее упоминания, как молчаливо принимаемое за само со-

бой разумеющемся или за известное. Естественно, в задачу логической теории не входит давать правила подобных оценок, как в равной мере в задачу логической теории вывода не входит учить нас тому, как квалифицировать предложенное доказательство, которое не удовлетворяет формальным нормам дедуктивной правильности: как ошибочное или как дедуктивно правильное, но сокращенно формулируемое. Параллель со случаем математического доказательства здесь совершенно очевидна.

Условие адекватности объяснения, предложенное нами, вступает в противоречие с утверждением, которое было сделано, в частности, относительно исторического объяснения и согласно которому событие иногда можно считать достаточно объясненным, если показано, что такие-то и такие-то предшествующие условия, необходимые, но не достаточные для его возникновения, оказались реализованными в данном случае. Как показывает профессор Дрей в своем обзоре различных вариантов, предложенных для построения объяснений с помощью охватывающих законов, эта идея была выдвинута Френкелем и Галли; ее также настойчиво защищал и Скрайвен, приводя следующий пример³. Парезы, как известно, возникают только у людей, страдавших сифилисом; отсюда наличие пареза у данного пациента может быть объяснено перенесенной сифилитической инфекцией и, тем самым, ссылкой на некоторое предшествующее явление как необходимое, но ни в коей мере не достаточное условие пареза, так как только очень небольшое число сифилитиков обнаруживает парезы. Данное «объяснение», совершенно очевидно, нарушает условие, приведенное выше. И, действительно, как отмечает и сам Скрайвен, на основании полученной информации, что данное лицо перенесло сифилис, «мы должны были бы считать, что у него парез *не* произойдет»⁴. Но отсюда именно потому, что статистическая вероятность возникновения пареза при сифилисе очень мала, и потому, что на основании данной статистической вероятности мы скорее должны были бы ожидать, что у пациента не возникнет парез, информация, что этот человек перенес сифилис (и что парез возникает

³ M. Scriven. Explanation and Prediction in Evolutionary Theory. — "Science", 130 (1959), p. 480.

⁴ Ibid.

только у сифилитиков), объясняет действительное возникновение пареза столь же мало, как факт выигрыша первого приза на скачках может быть объяснен информацией, что выигравший купил билет (и что только лица, купившие билет, могут выиграть первый приз).

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И «ПОЛНОЕ» ОБЪЯСНЕНИЕ

В своем докладе профессор Дрей затронул вопрос, который в последнее время привлек к себе большое внимание, а именно возможно ли полностью объяснить какое-нибудь индивидуальное событие и, в частности, можно ли это сделать с помощью «охватывающих» законов. Мне бы хотелось кратко остановиться на этой проблеме.

При любом объяснении, использующем «охватывающие» законы, анализируемое событие всегда характеризуется при помощи некоторого утверждения — *экспланандума*. Так, например, когда мы спрашиваем, почему данная масса газа q увеличила свой объем в период между 17.00 и 17.01 час., или почему при данном выбрасывании B_1 четырех костей сумма выпавших очков превысила 4, то *объясняемое событие* описывается такими утверждениями, как «масса газа q увеличилась в своем объеме в период между 17.00 и 17.01 час.» и «при данном выбрасывании B_1 четырех костей общая сумма выпавших очков превысила 4». Отсюда ясно, что предметом возможного объяснения с помощью «охватывающих» законов могут стать только такие индивидуальные события, которые описываются утверждениями подобного рода. (Это, естественно, не означает, что каждое такое событие может быть действительно объяснено данным способом. Анализ объяснений, производящихся с помощью охватывающих законов, показывает нам их логическую структуру, но он ничего не говорит о том, в какой мере индивидуальные события, происходящие в мире, могут быть объяснены. Последнее зависит от того, каковы законы этого мира, и на данный вопрос нельзя ответить только средствами логического анализа. В частности, поэтому анализ объяснений такого типа не предполагает теории универсального детерминизма и не ведет к ней.)

Очень часто, однако, понятие индивидуального события трактуется способом, весьма отличным от вышепри-

веденного. События в этом втором смысле обычно характеризуются не высказыванием, описывающим его, а некоторым именем собственным или определенными описаниями, такими, например, как «детские крестовые походы», «Октябрьская революция», «извержение Везувия в 79 г. н. э.», «убийство Юлия Цезаря», «первое солнечное затмение в 60-х годах XX века» и т. д. Индивидуальные события в этом смысле не могут быть объяснены ни охватывающими законами, ни каким-либо иным способом; и в самом деле, совершенно неясно, что следует понимать под объяснением таких событий. Например, различные аспекты убийства Юлия Цезаря включают факт того, что Брут и Кассий составили политический заговор, что Брут и его друзья-заговорщики занимали такую-то и такую-то политическую позицию и стремились к тому-то и тому-то, что Цезарь получил такие-то и такие-то раны и что, если можно положиться на мнение, с которым я столкнулся несколько лет тому назад и которое могло бы быть поддержано физикой, с каждым вдохом мы вдыхаем те молекулы кислорода и азота, которые были выдохнуты Цезарем в его последнюю минуту. Очевидно, полная характеристика индивидуального события, не говоря уже об объяснении, в этом смысле слова невозможна.

За неимением лучшего выражения я буду называть индивидуальные события последнего рода «конкретными событиями». Индивидуальные же события, в принципе допускающие их объяснение охватывающими законами, то есть события, описываемые утверждениями, можно принять за *частные аспекты или факты конкретных событий*⁵.

Едва ли необходимо указывать на то, что конкретные события не ограничиваются областью истории. Такое событие, например, как первое полное солнечное затмение в 60-х годах нашего века, точно так же обнаруживает бесконечно большое количество химических, биологических, социологических и всяких иных аспектов и поэтому не может быть полностью описано и тем более полностью объяснено. Но некоторые его частные аспекты, например то, что оно наблюдалось в таких-то и таких-то районах

⁵ В конце данного раздела будет предложена иная производная интерпретация теории объяснения конкретных событий при помощи «охватывающих» законов.

земного шара, что оно длилось столько-то секунд и т. д., хорошо могут быть объяснены «охватывающими» законами⁶.

Но было бы неверно утверждать, что с помощью этих законов можно объяснить скорее некоторую *характеристику* события, чем индивидуальное событие как таковое. Это неверно прежде всего потому, что *характеристика* события формулировалась бы с помощью предикативного выражения, такого, например, как «полное солнечное затмение, наблюдавшееся на Аляске». А так как такие выражения, не являясь утверждениями в подлинном смысле этого слова, не могут быть заключением дедуктивного или индуктивного вывода, то характеристика события не может быть объяснена способом «охватывающих» законов. Далее объяснению с помощью данного метода подлежало бы *возникновение некоторого события определенного рода в данном отрезке пространства-времени*: например, удлинение ртутного столбика в некотором термометре в данном месте в определенный промежуток времени или тот факт, что некоторое лицо заболело желтой лихорадкой после укуса москитов определенного типа. Но все это, вне всякого сомнения, — индивидуальные события, которые могут быть описаны *высказываниями*. Поэтому в данном вопросе я полностью согласен с Мандельбаумом, который, отвергая утверждение Хайека, что объяснение и предсказание никогда не относятся к индивидуальному событию, пишет: «Можно считать, что предсказание определенного солнечного затмения или его объяснение относятся к конкретному событию даже и в том случае, когда они не охватывают всех аспектов этого события, таких, например, как температура солнца, влияние затмения на температуру земли и т. д.»⁷.

Я уже говорил, что конкретное событие, имея бесконечное количество аспектов, не может быть полностью описано, тем более объяснено. Но, по крайней мере в одном смысле, возможность полного объяснения как раз тех индивидуальных событий, которые описываются вы-

⁶ Суть того, что я сказал об индивидуальных событиях и их объяснении, была коротко, но вполне четко изложена в моей статье "The Function of General Laws in History", *Theories of History* (Glencoe III., 1959), sec. 2.2.

⁷ M. Mandelbaum. *Historical Explanation: The Problem of "Covering Laws"*. — "History and Theory", 1 (1961), p. 233.

сказываниями, подвергалась в последнее время обсуждению и анализу. Эта проблема была поднята в докладе проф. Дрея, когда он ставил вопрос о том, можно ли вообще считать, что событие объяснено *полностью*, если мы подведем его под статистические, а не строго универсальные законы и тем самым не покажем, что «оно должно было произойти». В самом деле, как уже было отмечено ранее, эксплананты статистического объяснения придают экспланандуму только более или менее высокую индуктивную вероятность, но не связаны с ним необходимым образом, как в случае дедуктивно-номологического объяснения. Можно было бы сказать, что объяснение последнего типа является полным, а объяснение вероятностного типа — неполным⁸. Если, однако, эти термины понимаются таким образом, то необходимо помнить, что более полное объяснение события не сводится просто к объяснению большего числа его аспектов. И в самом деле, понятие полноты, рассматриваемое в настоящем случае, относится только к объяснению событий, описываемых высказываниями, в то время как понятие аспекта события было введено нами для характеристики событий конкретного типа.

И в заключение мы считаем, что в свете вышеизложенного можно было бы уточнить, в каком смысле говорят о частичном объяснении конкретного события или называют некоторые из объяснений более полными — в отличном от вышеприведенного значения данного термина — по сравнению с другими. Прежде всего, любой ряд дедуктивно-номологических объяснений, каждое из которых объясняет некоторый аспект конкретного события, может быть назван частичным объяснением этого события. И если аспекты, объясненные в некотором ряду, представляют собой какую-то часть аспектов, объясненных в другом ряду, то первый ряд объяснений следует считать менее полным по сравнению со вторым. Данные понятия частичности и полноты объяснения можно было бы обобщить таким образом, что они оказались бы применимыми также и для рядов, содержащих объяснения вероятностного типа. Однако подобная детализация была бы здесь неуместной.

⁸ Дж. Питт, очевидно, понимает полноту и неполноту объяснения именно в этом смысле, см. его: *Generalizations in Historical Explanation*. — "The Journal of Philosophy", 56 (1959), p. 580—581.

4. 1. Модель Дрея

Теперь нам хотелось бы обратиться к центральной теме доклада проф. Дрея, а именно к теории рационального объяснения. Дрей считает, что широко распространенный метод объяснения человеческих поступков целями, ради которых они предпринимались, метод, используемый как историками, так и другими исследователями, имеет иную логическую структуру по сравнению с объяснением при помощи охватывающих законов. При этом он утверждает, что отождествление этих двух методов означало бы искажение их логических форм. Я думаю, что положения, высказанные Дреем в защиту данного тезиса, представляют собой существенный вклад в постановку и разрешение трудных проблем, с которыми мы сталкиваемся в этом случае.

Согласно Дрею, задачей объяснения поступка целями, ради осуществления которых он предпринимался, является «доказательство того, что этот поступок был необходим для достижения некоторой определенной цели, а не просто указание на то, что он предпринимался при таких-то обстоятельствах, даже, может быть, и в соответствии с известными законами»⁹. Объясняющими факторами в этом случае будут цели, к осуществлению которых стремились, совершая некоторый поступок, а также представления исторических деятелей о таких, в сущности, эмпирических обстоятельствах, как возможность альтернативных действий, их вероятные последствия. В соответствии с теорией Дрея объяснение при этих условиях будет заключаться «в воспроизведении расчетов действующего лица, расчетов, связанных с выбором средств для достижения поставленной цели и основанных на анализе его фактического положения»¹⁰. В своей законченной форме объяснение должно показать, что сделанный выбор был правильным и что именно этот поступок необходимо было совершить при данных обстоятельствах. Оценка же правильности поступка основывается не на общем зако-

⁹ W. Dray. *Laws and Explanation in History* (London: Oxford University Press, 1957), p. 124.

¹⁰ Ibid., p. 122.

не, а на том, что Дрей называет «принципом действия», то есть на нормативном или оценочном принципе, имеющем форму: «В ситуации типа *C* следует делать *X*»¹¹.

4.2. Проблема критерия рациональности

Прежде чем обратиться к нашему главному вопросу, а именно может ли данный принцип объяснить действие, и если может, то в какой степени, нам хотелось бы привлечь внимание к одному весьма проблематичному, с нашей точки зрения, моменту того понятия о «принципе действия», которое дает Дрей. Как уже явствует из самого выражения «то, что следует делать», Дрей, по-видимому, предполагает: (1) что если уточнены обстоятельства, при которых должен был совершиться поступок (включая в их число также и цели, и представления действующего лица), то некоторое действие может быть совершенно недвусмысленно и определенно охарактеризовано как правильное, разумное или рациональное при данных условиях; (2) что по крайней мере во многих случаях имеется одно и только одно такое действие. И в самом деле, Дрей утверждает, что именно в этом отношении рациональное объяснение превосходит статистическое, так как на вопрос, почему данное действие должно было быть совершено, с помощью объяснения первого типа часто можно дать ответ, исключающий все иные возможные альтернативные поступки, — результат, который не может быть получен при вероятностном объяснении.

Однако эти два только что перечисленные предположения кажутся нам неосновательными или по крайней мере весьма спорными. Прежде всего ни в коем случае не очевидно, на каком критерии рациональности основывается характеристика поступка как «необходимого». Хотя целый ряд авторов и предполагает, что имеется одно совершенно ясное понятие рациональности в этом смысле¹², они не дают никаких явных его определений. Бо-

¹¹ Ibid., p. 132.

¹² Например, К. Джибсон в своей весьма фундаментальной книге *The Logic of Social Enquiry* (London: Routledge and Kegan Paul; and New York: Humanities Press, 1960) утверждает: «Может быть много различных альтернативных способов достижения цели. Поступать рационально... это значит выбирать, основываясь на анализе обстоятельств, наилучший способ» (стр. 160). И, согласно Джибсону,

лее того, сомнение относительно возможности адекватной формулировки общего критерия рациональности подтверждается математической теорией игр, которая показывает, что даже в весьма простых ситуациях, в которых требуется принятие решения, можно сформулировать несколько различных критериев выбора, каждый из которых вполне возможен и тем не менее несовместим с другими¹³. И если дело обстоит так в простых случаях, то понятие необходимого в данных обстоятельствах поступка представляется еще более проблематичным, когда оно применяется к тем действиям и решениям, которые пытаются объяснить историки. Нам представляется поэтому, что предположения, лежащие в основе «принципа действия» Дрея, нуждаются в дальнейшей разработке и анализе.

Чтобы не усложнять нашего дальнейшего изложения, я не буду обращать внимания на данную трудность и ради сохранения возможности спора приму, что смысл выражения «Х — правильный или рациональный поступок в ситуации С» основывается на приемлемых и достаточно определенных объективных критериях.

4.3. Роль мотивов при объяснении действий

Принимая последнее предположение, мы можем поставить вопрос следующим образом: «Какую роль может сыграть «принцип действия» в историческом объяснении?» То, что говорит сам Дрей по этому поводу как в своем докладе, так и в своей книге, по-видимому, дает основание заключить, что рациональное объяснение того, почему деятель А сделал Х, по его теории, имеет следующую форму:

Деятель А находился в ситуации типа С.

В ситуации типа С следовало сделать Х.

Поэтому деятель А сделал Х.

Первое высказывание в экспланатах определяет некоторые предшествующие поступку условия; второе — это

«с логической точки зрения элементарно, что если даны определенные обстоятельства, то может существовать только один наилучший способ достижения некоторой цели» (стр. 162).

¹³ Четкое описание и сравнительный анализ подобного критерия см.: R. D. Luce and H. Raiffa. Games and Decisions (New York: John Wiley & Sons, 1957), ch. 13.

принцип действия, занявший то место, которое в объяснениях с помощью охватывающих законов отводится некоторой совокупности общих законов.

Понимаемая таким образом логика рационального объяснения действительно отличается от логики объяснения охватывающими законами. Но именно поэтому я смею утверждать, что рациональное объяснение не может показать, почему А сделал Х. Ибо в соответствии с общим условием адекватности, рассмотренным выше, адекватное объяснение факта, что некий А сделал Х, должно дать нам хорошие основания для уверенности или утверждения, что А действительно сделал Х. А в данном случае, хотя вышеприведенные эксплананты и дают нам хорошие основания для утверждения, что А следовало бы в данных обстоятельствах сделать Х, у нас нет достаточных оснований утверждать или считать, исходя только из них, что А действительно сделал Х. Для того чтобы последнее утверждение было обоснованным, нам необходимо было ввести в наше рассуждение еще одну дополнительную посылку, согласно которой в рассматриваемый момент времени А был рационально действующим лицом и, таким образом, предрасположенным к тому, чтобы поступать так, как требовала ситуация. При внесении соответствующих поправок наши эксплананты выглядели бы следующим образом:

Деятель А находился в ситуации типа С.

В то время он являлся рационально действующим лицом.

Любое рациональное существо в ситуациях этого типа обязательно (или же с высокой вероятностью) делает Х.

Только в этом случае из них будет следовать (или они будут придавать высокую индуктивную вероятность) экспланандуму:

А сделал Х.

При такой модификации логической структуры мы в самом деле получаем объяснение, почему А действительно сделал Х. Однако это оказалось возможным только благодаря тому, что мы заменили оценочный принцип действия Дрея дескриптивным утверждением, устанавливающим, как поступают рациональные существа в ситуациях типа С. В результате мы снова приходим к объяс-

нению с помощью охватывающих законов, являющемуся дедуктивным или индуктивным в зависимости от того, имеет ли общее утверждение о поведении рациональных существ строго универсальную или статистически-вероятностную форму. Данное схематическое представление объяснения с помощью мотивов, очевидно, аналогично теории объяснения Райла, основывающейся на предрасположенностях субъекта¹⁴, так как и у нас фактически поведение А рассматривается как проявление его общей предрасположенности действовать определенным способом — в данном случае способом, который может быть квалифицирован как правильный или рациональный — в определенных ситуациях.

Можно было бы возразить в отношении выдвинутого нами положения относительно предрасположенности к совершению поступков определенного рода, что «охватывающий закон», якобы формулируемый в третьем эксплананте, на самом деле не является эмпирическим законом поведения рациональных существ. Он представляет собою аналитическое определение термина, показывающее один из моментов, подразумеваемых в тех случаях, когда говорят о людях, поступающих рационально¹⁵. Отсюда следовало бы, что, подведя данное действие под общий «закон» такого типа, мы фактически ничего бы не объяснили. Однако мы считаем, что это возражение не учитывает логического характера таких понятий, как рациональное существо. Короче говоря, дело сводится к тому, что такие понятия определяются целым рядом общих утверждений — их можно назвать симптоматическими утверждениями, — которые связывают с некоторой конкретной предрасположенностью различные ее типические проявления или симптомы, причем каждый из этих сим-

¹⁴ G. Ryle. *The Concept of Mind* (London: Hutchinson's University Library. 1949). Взгляды, развиваемые здесь, несколько отличаются от того, что дает нам профессор Райл. Для того чтобы это подчеркнуть, я говорю об анализе предрасположенностей «в широком смысле». Более полное рассмотрение данного вопроса см. в моей статье "Rational Action". — В: *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, vol. XXXV (Yellow Springs, Ohio: Anthioch Press, 1962). Раздел 3.2 этой статьи, в частности, специально посвящен анализу моих разногласий с точкой зрения профессора Райла.

¹⁵ Подобное возражение действительно было сделано профессором Р. Брандтом.

птомов представляет собой специфическую реакцию лица, обладающего предрасположенностью данного типа на некоторые специфические же («стимулирующие») обстоятельства. При таком подходе третье высказывание в ряду наших экспланантов оказывается как раз одним из многих симптоматических высказываний, раскрывающих понятие рационального существа. Совокупность же всех симптоматических высказываний, касающихся понятий этого типа, будет вести, как правило, к некоторым эмпирически проверяемым следствиям. Отсюда, взятые в целом, они не могут быть квалифицированы как простые аналитические определения, и было бы весьма произвольным, если бы мы приписали аналитический характер некоторым из них — например, нашим экспланантам, — считая остальные эмпирическими по своему содержанию¹⁶.

Суммируя вышесказанное, мы считаем, что в логической модели мотивационного объяснения, предложенной профессором Дреем, имеется фундаментальная логическая ошибка, связанная с утверждением, что подобные объяснения должны скорее основываться на «принципах действия», чем на общих законах. Дрей проводит четкое разграничение между ними на том основании, что термин «необходимый поступок», с которым мы обязательно сталкиваемся в формулировках принципов действия, «выступает в роли оценочного термина», и поэтому в мотивационном объяснении присутствует известный «элемент оценки», так как оно должно показать нам, почему некоторое действие «было правильным»¹⁷. Но показать — и это нам представляется главным, — что действие было правильным или рациональным в данных обстоятельствах, еще не означает объяснить, почему оно фактически было произведено. И в самом деле, никакой нормативный или оценочный принцип, определяющий, какой род действий при данных обстоятельствах должен считаться правильным, не может служить в качестве объяснения того, почему некоторое лицо вело себя известным образом, безотносительно к тому, соответствует или не соответствует

¹⁶ Эта идея рассматривается более полно в моей статье "Explanation in Science and in History". В кн.: *Frontiers of Science and Philosophy*, ed. R. G. Golodny (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1962), sec. 6.

¹⁷ D r a y. Op. cit., p. 214.

данное поведение рассматриваемому нормативному принципу.

Пэссмор, критикуя эту концепцию, выдвигает то же самое основное возражение, кратко формулируя его следующим образом: «... объяснение, исходящее из «принципа действия» или «достаточного основания», само по себе вообще не является объяснением... Ибо некоторое основание может быть вполне «достаточным основанием» — в том смысле, что к нему всегда можно было бы прибегнуть при оправдании какого-то действия — и вместе с тем никак не влиять на нас»¹⁸.

Может показаться, что при такой трактовке мотивационное объяснение, по сути дела, приобретает логическую структуру одной из двух возможных моделей объяснения охватываемыми законами и что тем самым мы нарушаем предписание, упоминающееся в докладе Дрея. В соответствии с этим предписанием в логическом анализе следует воздерживаться от навязывания историческому объяснению жестких рамок каких бы то ни было предвзятых схем. В таких случаях скорее следует самым внимательным образом отнестись к фактически принятой практике объяснения в данной дисциплине. Логический анализ должен весьма тактично подойти к тому понятию объяснения, которым историк обычно пользуется. Несомненно, историк, прибегающий к предположительным целям некоторого исторического деятеля для объяснения его действий, может считать своей главной задачей доказательство того, что в свете данных целей именно так и следовало поступить. Но, описывая события, историк столь же несомненно стремится показать и то, почему данный исторический деятель вел себя таким образом — почему, например (используя пример, приводимый Дреем), Людовик XIV ослабил военное давление на Голландию. На этот вопрос невозможно ответить, показав, что при целях и представлениях Людовика XIV это (или да-

¹⁸ J. Passmore. Review Article: "Law and Explanation in History". — Australian Journal of Politics and History", 4 (1958), p. 275.

Ниже Пэссмор замечает мимоходом, что мотивационное объяснение эквивалентно объяснению, включающему некоторую общую посылку, ибо принять некоторый «мотив» за действительное объяснение поведения некоторого человека означает утверждать общее положение следующей формы: «Люди типа *X* в ситуации *Y* ведут себя таким образом, что их поведение подчиняется принципу *Z*».

же как раз это) и нужно было сделать, так как в конце концов многие исторические деятели во многих случаях не поступают рационально. Данное замечание представляется нам аналогичным тому, которое сделал Страусон и которое упоминается в докладе Дрея. Дрей согласен с тем, что человеческие поступки далеки от идеала рациональности, и подчеркивает, что его критерий целесообразности поступка может быть применен только к действиям, не обнаруживающим дефективности в целом ряде отношений. Но именно в этом, с нашей точки зрения, и заключается все дело: если объяснение поступка с помощью целей исходит из норм рациональности поведения, тогда, чтобы иметь желаемую доказательную силу, оно должно было бы включить в себя и дополнительное эмпирическое предположение, согласно которому данный поступок не был дефективным в ряде существенных отношений, то есть что данное лицо в то время было предрасположено действовать в соответствии с нормами рациональности и что внешние обстоятельства не препятствовали ему в этом.

Отсюда нам кажется совершенно очевидным, что историк ничего не достигнет, показывая правильность или рациональность некоторого действия, но не принимая вместе с тем, что исторический деятель в то время был предрасположен действовать рационально (то есть так, как он не смог бы действовать в случае сильной усталости, тяжелого эмоционального напряжения, влияния психотропных средств и т. д.). А так как в объяснении действия с помощью целей эта существенная предпосылка обычно принимается как данная, то она, как правило, и не формулируется явным образом; скорее, при отступлениях от норм рационального поведения у нас возникает потребность четко определить характер искажающих влияний. Однако хотя сокращенная формулировка объяснения, воздерживающаяся от упоминания предпосылки о рациональности поведения, может быть вполне удовлетворительной с практической точки зрения, то есть в прагматически-психологическом контексте объяснения, тем не менее она затемняет логику объяснения. Представляется вполне очевидным поэтому, что анализ, выявляющий скрытые предпосылки рассуждений историка, отнюдь не павязывает мотивационному объяснению какую-то предвзятую схему.

Нам кажется, что данный нами анализ мотивационного объяснения может быть применен и к интересному случаю, упоминавшемуся проф. Дреем, а именно к случаю объяснения наших собственных действий целями, для осуществления которых они были предприняты. Конечно, в утверждении: «Я сделал X с целью С» объяснение и оправдание почти слиты в единое целое, и тем не менее мы все же разграничиваем истинное объяснение от простой ретроспективной рационализации поступка в контекстах такого рода. Отсюда утверждение формы «Я сделал X с целью С» могло бы считаться подобной рационализацией только в том случае, если бы у нас были основания полагать, что на самом деле я сделал X не с указываемыми мною целями: например, что в момент действия у меня не было целей и мыслей, упоминающихся мною в объяснении, или что я находился в состоянии, в котором у меня не было возможности поступать в соответствии со своими целями и мыслями. И в этом случае утверждение относительно мотивов моих действий имеет объясняющую силу только при допущении предрасположенности действовать рационально в данной ситуации.

4.4. «Рациональность» необдумываемых действий

Схема мотивационного объяснения, включающая посылку о предрасположенности исторического деятеля поступать рационально, может помочь также и в решении одной трудности, с которой проф. Дрей столкнулся в своей книге и на которую он ссылается в своем докладе. Согласно Дрею, имеются действия, которые квалифицируются как рациональные, несмотря на то что они были произведены без действительного взвешивания и расчета. И в самом деле, в своей книге он доказывает, что в той мере, в какой некоторое действие оказывается целесообразным вообще — причем безразлично, на каком уровне сознания было принято решение осуществить данное действие, — оно может быть объяснено рациональным способом, так как «имеется принципиальная возможность расчета таких действий» и «человек, совершивший эти действия, мог бы проделать такой расчет, если бы оптимел достаточное время или по крайней мере мог бы про-

делать его уже после совершения действия»¹⁹. Но так как, по гипотезе, никакой расчет или обдумывание действия не имели места и соображения рациональности фактически не играли никакой роли в поступках данного лица, то их объяснение ссылкой на *возможные* расчеты представляется мне просто фиктивным.

Отвечая на возражение Новелл-Смита, который, по-видимому, имел в виду как раз это обстоятельство, проф. Дрей в своем докладе снова утверждает, что цели, приводимые в мотивационном объяснении поступка, не должны обязательно приниматься в расчет историческим деятелем при совершении им своих действий. К этому он добавляет, что наше понимание этого действия может возникнуть при осознании рациональной связи между данным действием и мотивами и представлениями, которые мотивационное объяснение приписывает этому деятелю. Но и в данном случае факт осознания нами такой логической связи, безусловно, не может привести нас к пониманию того, почему это действие было предпринято, так как, согласно предположению, человек, совершивший действие, совсем не осознавал этой связи.

Однако нам кажется, что проф. Дрей, считая некоторые из действий, которые были предприняты «мгновенно», без размышлений, сходными с действиями, выросшими на основе тщательного обдумывания, прав в одном отношении. И это его положение можно оценить по заслугам, только придавая ему несколько отличную (опять же основывающуюся на принятии посылки предрасположенности!) трактовку. В соответствии с ней «рациональное объяснение» такого действия достигается приписыванием данному лицу определенных поведенческих предрасположений, приобретенных им в процессе обучения. Начальные же фазы этого процесса действительно включают сознательное размышление и обдумывание. Обратите внимание, например, какие разнообразные и сложные движения требуются для того, чтобы печатать на машинке, вести автомобиль по дороге с оживленным движением, сверлить и пломбировать зуб. Все эти движения заучены в процессе обучения, которое включало более или менее сложную работу мысли в своих начальных фазах. Но со временем все эти движения стали «второй нату-

¹⁹ D r a y. Op. cit., p. 123.

рой» человека и совершаются им автоматически, без сознательного обдумывания или при очень небольшом участии сознания.

Конкретный поступок такого рода не может быть тогда объяснен с помощью воспроизведения того расчета или размышления, которого данное лицо фактически и не совершало, равно как и с помощью указания на то, что его действия соответствовали каким-то его предполагаемым целям. С другой стороны, он мог бы быть объяснен, если бы мы представили его как проявление общего поведенческого стереотипа этого человека, приобретенного им в процессе обучения только что упомянутым способом²⁰. Очевидно, что и это производное мотивационное объяснение явится объяснением, основывающимся на широкой трактовке понятия предрасположенности, а отсюда оно должно по своему логическому типу относиться к объяснениям с помощью охватывающих законов.

Принятие нашей общей только что сформулированной концепции мотивационного объяснения отнюдь не требует от нас отрицания того, что, как правильно подчеркивает проф. Дрей, историки, вводя мотивы в объяснение действий, обычно стремятся показать, что действие «имело смысл» при подходе к нему с точки зрения его целей и идей, которые его вызвали. В равной мере мы не отрицаем и того, что раскрытие этого смысла может доставить большое интеллектуальное наслаждение. Мы, скорее, попытались доказать, что — даже отвлекаясь от весьма большой проблематичности самого понятия рациональности (правильности) — простое указание на осмысленность, необходимость действия в данной ситуации не может считаться при строго логическом подходе достаточным объяснением того, почему данное действие было действительно предпринято.

²⁰ Аналогичным образом И. Шёффлер обращает внимание на значение приобретенных автоматических навыков для понимания некоторых форм целенаправленного поведения, осуществляющегося машинально. См. его: *Thoughts on Teleology*. — "British Journal for the Philosophy of Science", 9 (1959).

ДЕТЕРМИНИЗМ В ИСТОРИИ

В 20-е годы один известный историк исследовал роль целого ряда знаменитых личностей в таких важных исторических событиях, как протестантская реформация в Англии, американская революция и развитие парламентарных форм государственного управления. Затем он оценил определяющее (по общему мнению) значение решений и действий этих личностей в возникновении указанных событий, обобщил свои выводы и заключил следующим образом:

«Великие изменения в истории, по-видимому, происходят с определенной неизбежностью. Нам представляется, что существует независимый поток событий, некоторая неумолимая необходимость, контролирующая поступательное движение истории... Личные, случайные, индивидуальные влияния в историческом процессе при детальном их исследовании, тщательном взвешивании и измерении, при взгляде на них в правильной перспективе отступают на второй план, и за ними обнаруживаются великие циклические силы. События возникают, так сказать, сами собой, то есть столь связно и неизбежно, что их невозможно объяснить не только физическими явлениями, но и свободным действием человека.

Так возникает концепция *закономерности в истории*. История, великий поток событий, не является результатом свободных усилий личностей или групп личностей — она подчинена закону»¹.

Точка зрения, выраженная в этой цитате, представляет собой разновидность той концепции исторических событий, которая широко известна и до сих пор находит большое количество приверженцев. Это та концепция, которая иногда выступает как составная часть некоторой теодицеи, иногда же включается в какую-нибудь романтическую философию космического эволюционизма, а

¹ Edward P. Cheney. Law in History and Other Essays. New York, 1927, p. 7.

подчас входит во внешне «научную» теорию цивилизации, усматривающую причины исторического прогресса и упадка в действии таких объективных факторов, как географическая среда, раса или экономическая организация. Вопреки важным различиям, существующим между ними, все эти разнообразные доктрины исторической неизбежности исходят из одной общей посылки: свободное действие человека, безотносительно к тому, является ли оно индивидуальным или коллективным, бессильно изменить ход человеческой истории, так как считается, что изменения в обществе происходят в результате действия каких-то глубинных сил, которые подчиняются определенным, хотя, может быть, и не всегда известным, закономерностям развития.

Несостоятельность этой доктрины исторической неизбежности уже неоднократно была доказана как историками, так и философами, и в нашу задачу не входит показать еще раз ее многочисленные слабости. Достаточно только заметить, что некоторые из разновидностей этой доктрины не имеют эмпирического содержания, так как никакие мыслимые исторические факты никогда не будут играть никакой роли в проверке их истинности или ложности. В тех же случаях, когда эти доктрины сформулированы так, что они допускают эмпирическую проверку, то на основании находящихся в нашем распоряжении данных мы не можем утверждать, что во всех исторических событиях проявляются единообразные, универсальные, неизменные законы развития или что индивидуальные, равно как и коллективные, усилия людей никогда не выступают определяющим фактором в трансформации общества. Но отказ от претенциозных утверждений доктрин исторической неизбежности не должен приводить нас к отрицанию того факта, что во многих исторических обстоятельствах решения и действия отдельных личностей либо вообще ничего не значат, либо значат очень мало. В равной мере было бы неверно отрицать и то, что в целом ряде случаев человек может контролировать ход социальных изменений лишь до известных пределов, которые ставятся физическими или географическими условиями, биологическими задатками, способами производства, имеющейся технологией, традициями, политическим устройством, человеческой глупостью и невежеством, точно так же,

как и результатами предшествующей деятельности людей.

С другой стороны, многие современные критики исторической неизбежности идут значительно дальше простого отрицания явно преувеличенных притязаний этой доктрины. Они ставят под сомнение и точку зрения, считая ее главной исходной предпосылкой, согласно которой все исторические события, как правило, происходят только при определенных и определяющих условиях. На основании этого они пытаются доказать, что последовательно проведенный детерминизм несовместим с установленными фактами человеческой истории, а также с гипотезой, лежащей в основе решения всех моральных проблем, согласно которой люди действительно ответственны за свой выбор и действия. Более того, многие мыслители, отвергающие доктрину исторической неизбежности, оказываются вместе с тем и ожесточенными критиками современных тенденций в развитии психологических и социальных исследований. Они утверждают, что бихевиористская (или «натуралистическая») методология, принятая в таких исследованиях, основывается якобы только на этой детерминистской предпосылке и что современная социология, разрушая веру в свободу человека, подрывает вместе с тем и моральные устои общества.

Заключительная часть этой главы и будет посвящена рассмотрению некоторых теорий, критикующих детерминизм. Однако критики данной концепции редко дают явное определение того, что означает «детерминизм» как общая теория, и хотя иногда они отождествляют его с доктриной исторической неизбежности, в действительности в понятие «детерминизм» ими вкладывается значительно более широкое содержание². Мы должны поэтому кратко воспроизвести то, что было сказано в 10 главе относительно смысла, в котором употребляется термин «детерминизм» в естественных науках, так как нам представляется, что именно этот смысл и имеют в виду, когда определяют детерминизм как основную предпосылку доктрины исторической неизбежности.

² Согласно мнению одного историка, например, детерминизм — это теория, «по которой наши действия полностью предопределены всем тем, что им предшествовало». — Pieter Geyl. *Debates with Historians*. New York, 1956, p. 236. Но подобная точка зрения широко не распространена.

Было бы целесообразно суммировать наше предыдущее рассмотрение данного понятия с помощью примера некоторой физико-химической системы, детерминистской³ по общему признанию. Эта система состоит из смеси содовой воды, виски и льда и содержится в закрытой бутылке, из которой удален воздух. Считается, что воздух в сосуде полностью отсутствует и что смесь совершенно изолирована от любых источников тепла в окружающей среде. Далее, пусть единственными характеристиками системы, рассматриваемыми нами, будут «термодинамические переменные», такие, как: число компонент системы (в нашем примере ими являются вода, спирт и углекислый газ), фазы или же агрегатные состояния этих компонент (в нашем примере — вода в жидкой, твердой и газообразной фазах), концентрация этих компонент, температура смеси и ее давление на стенки сосуда. Хорошо известно, что при заданных температуре и давлении каждая компонента системы будет находиться в различных фазах в определенных концентрациях, и наоборот. Так, если увеличивать давление в смеси (например, вдавливать пробку в бутылку), то концентрация воды в газообразной фазе будет уменьшаться, а ее концентрация в жидкой фазе — увеличиваться. Аналогичным образом дело обстоит и при изменениях температуры. Итак, можно утверждать, что переменные данной системы находятся в определенных отношениях взаимозависимости, и что значение любой из них в каждый данный момент «определяется» значениями других переменных в этот же временной интервал.

Предположим теперь, что в некоторый начальный момент система находится в каком-то определенном «состоянии» (т. е. ее переменные имеют определенное значение) и что в результате изменения, вызванного в одной из переменных системы, она через интервал времени t оказывается в другом определенном состоянии. Предположим далее, что каким-то способом система возвращается в свое начальное состояние и ее переменные снова претерпевают те же самые изменения и что после некоторого промежутка времени она снова оказы-

³ Данный пример заимствован у Lawrence J. Henderson. *Pareto's General Sociology*. Cambridge. 1935, Ch. 3, где он используется для того, чтобы показать, что понимает Парето под детерминистской социальной системой.

вается в своем втором состоянии. Если система ведет себя таким образом, причем несущественно, какое из ее состояний принято за начальное и как велик интервал времени t , то она считается «детерминистской» по отношению к определенной совокупности термодинамических переменных.

Если отбросить этот физико-химический пример, то в самом общем виде детерминизм можно было бы определить как утверждение того, что для *любой* совокупности признаков (или переменных) имеется *некоторая* система, которая является детерминистской по отношению к этим признакам. Соответственно «детерминизм в истории» — это утверждение, согласно которому для любой совокупности человеческих поступков, индивидуальных или коллективных признаков, социальных изменений как предметов исследования историка имеется некоторая система, которая является детерминистской по отношению ко всем перечисленным характеристикам, в которой, однако, переменные ее состояний точно не определены. Теперь мы можем вернуться к поставленной нами проблеме и рассмотреть различные возражения против детерминизма и истории. Опровержения детерминистской концепции, которыми мы займемся, могут быть разбиты на следующие группы: 1) возражение, исходящее из ложности доктрины исторической неизбежности и отрицания существования «необходимых законов развития» в исторических событиях; 2) возражение, основывающееся на непредсказуемости исторических событий; 3) возражение, указывающее на несовместимость детерминизма с фактом человеческой свободы; наконец, 4) мы исследуем обоснованность детерминизма как общей философской теории.

1. Первое возражение можно изложить весьма кратко и быстро отбросить. Оно направлено против тех грандиозных философий истории, религиозных или светских по своей ориентации, которые притязают на открытие некоторого определенного закона развития в многообразной цепи событий, имевших место с момента возникновения человеческой расы, или по крайней мере на открытие устойчивого порядка социальных изменений, вновь и вновь обнаруживающегося в различных обществах и цивилизациях. С точки зрения некоторых из этих теорий любой человеческий поступок занимает определенное место в неизменном порядке развития, и каждое общество долж-

но пройти целый ряд предшествующих этапов, прежде чем оно достигнет более высокой стадии. Более того, вопреки, на первый взгляд, совершенно очевидному факту, что именно люди делают историю, многие из этих философий истории утверждают, что человеческие поступки в лучшем случае оказываются только «инструментами» действия некоторых сил, функционирующих и развивающихся в соответствии с вневременными законами.

Философии истории этого типа часто обладают очарованием великих произведений драматической литературы, и среди их читателей найдется очень немного людей, которые станут отрицать, что для их создания понадобилась замечательная сила фантазии и поразительная эрудиция. Но, как уже было замечено выше, сопоставление их с действительными историческими фактами, в тех случаях, когда факты вообще играют какую-то роль в оценке их истинности, приводит нас к совершенно отрицательному результату. Критики этих концепций могут совершенно спокойно отбрасывать их как ложные.

Тем не менее следует ли из ложности доктрины исторической неизбежности то, что в социальных явлениях не существует никаких причинных связей и что детерминизм в событиях, представляющих предмет истории, — просто миф? Современные критики детерминистского подхода к истории, считающие, что такая логическая связь имеет место, никогда явно не формулируют оснований этого их убеждения. По-видимому, они исходят из весьма узкого представления о том, что такое детерминистская система. По всей вероятности, они полагают, что раз в прошлом человечества нельзя найти ничего такого, что напоминало бы правильную периодичность добротного сделанного хронометра, то события этого прошлого не могут быть элементами детерминистской системы. Однако, хотя данная система может и не обнаружить некоторой относительно простой схемы изменений, ей тем не менее может быть присуща какая-либо более сложная и незнакомая структура отношений взаимозависимости. Более того, даже если бы оказалось, что какая-то конкретная система и не является детерминистской по отношению к некоторой совокупности определенных характеристик, то это могло бы быть результатом недостаточно полной изолированности данной системы от внешних влияний (как в случае с часами, ход которых обнару-

живает «неправильности» в связи с влиянием переменного магнитного поля). Поэтому вполне возможно существование какой-то иной системы (может быть, системы, которая наряду с внешними влияниями включала бы в себя и исходную систему), которая окажется детерминистской по отношению к данному ряду характеристик. Во всяком случае, охотно признавая, что доктрина исторической неизбежности ложна и что в истории нет никаких законов необходимого развития, мы имеем в своем распоряжении вполне достаточные основания считать, например, что упадок могущества Испании в семнадцатом столетии явился результатом испанской экономической и колониальной политики и что необходимым условием успеха Большевицской Революции было руководство Ленина. Короче, первое возражение против детерминизма не достигает своей цели.

II. Критики придают большое значение другому возражению против детерминизма, которое основывается на непредсказуемости исторических событий. Обычно в данной связи принято разграничивать два смысла термина «непредсказуемость». Событие является «практически» непредсказуемым, если ограниченность научных и технических знаний в данную эпоху не позволяет людям предсказать наступление события или предсказать его с достаточной степенью точности. Очевидно, что такого рода непредсказуемость не может быть серьезным аргументом против детерминизма. По-видимому, никто из критиков детерминистской концепции не намеревается доказывать, что землетрясения не имеют достаточных и необходимых условий для возникновения только потому, что в настоящее время мы не в состоянии предсказать, когда наступит следующее.

С другой стороны, событие является «теоретически» непредсказуемым, если утверждение о возможности его предварительного расчета с неограниченной степенью точности оказывается несовместимым с «законами природы», то есть с системой научного знания и, в частности, с принятой научной теорией. Старым примером, иллюстрирующим этот смысл термина «непредсказуемость», служит та ограниченная точность, с которой в соответствии с современной квантовой механикой могут быть предсказаны субатомные процессы. Однако, как будет ясно из дальнейшего, даже если бы мы предположили, что исторические

события теоретически непредсказуемы, то это предположение опровергало бы детерминистскую концепцию только в том случае, если бы она утверждала, что в принципе события могут быть предсказаны с абсолютной точностью⁴. Безусловно, определение термина «детерминизм» может быть преобразовано так, что он будет эквивалентен термину «предсказуемость». Но эквивалентность этих двух терминов, установленная данным способом, была бы весьма произвольной, так как обычно эти понятия не являются синонимами. Иначе было бы абсурдным предполагать, что нечто, являющееся непредсказуемым, может тем не менее быть детерминированным. Но несмотря на то, что квантовая механика относится к системе современного научного знания, отнюдь не абсурдно, хотя, может быть, и ошибочно, как считали Эйнштейн, Планк и другие, что возникновение субатомных процессов детерминировано какими-то условиями и что желательно заменить современную квантовую механику другой теорией, которая не устанавливала бы верхних пределов (как это делает первая) точности прогнозов некоторых из этих процессов.

Как бы там ни было, в общественных науках во всяком случае нет ничего такого, что можно было бы хотя бы отдаленно сравнить с квантовой механикой и на чем можно было бы обосновать утверждение о теоретической непредсказуемости социальных явлений. Да и факты отнюдь не подтверждают, что человеческие поступки совершенно непредсказуемы. Конечно, было бы нелепо утверждать, что будущее человека может быть предсказано до малейших деталей или даже что мы в состоянии вывести все события прошлого на основании имеющихся в нашем распоряжении данных. С другой стороны, не менее нелепым было бы считать, что мы совершенно неспо-

⁴ Именно такое отождествление было сделано М. Шликом: «А детерминирует В» означает только то, что В может быть высчитано на основании А. Это, в свою очередь, означает, что существует некоторая общая формула, утверждающая, что В возникает во всех случаях, когда начальные условия А получают определенные значения, и, дополнительно, устанавливается некоторое конкретное значение для переменной времени... Таким образом, термин «детерминировано» означает то же самое, что и «предсказуемо» или «может быть предварительно рассчитано». Moritz Schlick. Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik. Gesammelte Aufsätze, Wien, 1938, S. 73—74.

события предвидеть будущие события в жизни человечества с некоторой достоверностью. Это почти трюизм, но наши личные отношения с другими людьми, наши политические организации и социальные институты, наши расписания движения транспорта и наша юрисдикция были бы совершенно иными, если бы нельзя было делать довольно надежных прогнозов относительно прошлого и будущего человечества. Несомненно, мы не можем точно предвидеть, кто будет следующим президентом в США. Но если мы примем в расчет современное отношение американцев ко многим внутренним и международным проблемам, а также расстановку мировых политических сил в настоящее время, то у нас окажутся вполне достаточные основания для убеждения, что в следующем году состоятся президентские выборы, что ни одна из главных политических партий не выставит кандидатуру коммуниста и что победивший на выборах кандидат не будет негром или женщиной. Все эти различные прогнозы несколько неопределенны, ибо они не говорят о будущем так, чтобы можно было исключить все мыслимые альтернативы, кроме одной-единственной. Тем не менее и эти предсказания *исключают* громадное число логических возможностей, равно как и доказывают, что, хотя у людей, принимающих участие в текущих событиях, и имеется значительный диапазон свободного выбора действий, их действительный выбор и действительные поступки находятся в довольно четко определенных границах. Из всего этого с очевидностью следует, что в некоторый данный период и в некотором данном обществе не всё логически возможное оказывается вместе с тем и исторически возможным. Объяснение данного факта столь же очевидно: существуют определяющие условия как для того, что произошло, так и для того, что произойдет в социальной жизни людей.

С другой стороны, не только наши прогнозы будущих событий, но и наши исторические объяснения прошлого почти всегда неточны и неполны. Ибо наше объяснение прошлых событий, безотносительно к тому, оказываются ли они индивидуальным поступком или коллективным действием, редко раскрывает, если вообще когда-нибудь раскрывает, причины конкретных деталей в том, что произошло. Как мы уже видели, самое большее, что оно может сделать,— это доказать вероятность возникновения

более или менее определенно формулируемых исторических характеристик. Но мы уже исследовали причины, по которым исторические объяснения имеют вероятностную структуру, и ни одна из них не может служить основанием для отбрасывания детерминизма.

III. Последнее возражение, которое мы рассмотрим, сводится к тому, что последовательно проведенный детерминизм несовместим с основной аксиомой этики об ответственности людей за их решения и свободные поступки. Это возражение было одной из главных тем в философских и теологических дебатах со времен античности, однако в последнее время оно вновь оказалось возрожденным в современных дискуссиях в области истории и социальных наук. Некоторые из проблем, поднятых в этой связи, мы рассмотрим в той форме, в какой они были поставлены в книге Исаяи Бёрлина⁵. Книга Бёрлина представляет собой сокрушительную критику тех философий истории, которые утверждают, что в истории действует неумолимая сила рока, неподвластная людям. В этой книге указывается также, что все эти философии являются просто логическим следствием гипотезы, согласно которой социальные события строго детерминированы. Мы не будем рассматривать данное положение Бёрлина, так как мы уже показали, что детерминистская концепция логически не связана с доктриной исторической неизбежности, но мы должны обратиться к двум его другим возражениям против этой концепции.

а) Первое возражение Бёрлина исходит из общепризнанного банального утверждения, согласно которому личность не может считаться морально ответственной в подлинном смысле этого слова за какой-то поступок, если она была принуждена к его совершению, а не выбрала именно этот поступок в соответствии со своим свободным желанием. Отсюда, если какой-нибудь человек действительно ответственен за некоторое действие, то он *мог* поступить иначе, сделай он иной выбор. Однако при этом Бёрлин полагает, что согласно детерминистской концепции (которую он понимает как отрицание того, что существуют какие-то сферы человеческой жизни, полностью не определяемые законом) человек и *не мог* произвести

⁵ Isaiah Berlin. Historical Inevitability. London and New York, 1954.

выбора, отличного от сделанного им, по-видимому, потому, что решения человека в момент их принятия определялись обстоятельствами, над которыми он не был властен,—такими, как его биологическая наследственность или его характер, сформированный всей суммой его прошлых поступков. Поэтому для всякого, кто принимает детерминистскую концепцию, предположение, что человек мог бы принять иное решение по сравнению с тем, которое он уже принял, должно быть не больше чем иллюзией, основывающейся на нашем незнании факторов, определивших его выбор. Бёрлин заключает поэтому, что детерминизм приводит к устранению личной ответственности, так как он объясняет поступок человека не его свободным решением, а обстоятельствами, определившими его выбор. Он утверждает, например, что «никто не станет отрицать, что было бы глупо и вместе с тем жестоко осуждать меня за то, что мой рост не выше моего настоящего роста, равно как и считать цвет моих волос, качества моего интеллекта или моего характера результатом моего собственного свободного выбора. Эти признаки во всей их фактичности не являются результатом моего решения. Неограниченно расширяя эту категорию объектов, мы приходим к выводу, что все существующее необходимо и неизбежно. ...Хвалить и порицать, рассматривать возможности иных альтернативных действий, проклинать или прославлять исторических деятелей за то, что они делают или делали,—все это становится абсурдным». И далее он добавляет: «Если бы я был убежден, что решения, принимаемые человеком, хотя и влияют на происходящее, но сами по себе полностью определены факторами, которые находятся вне его контроля, мне, безусловно, не следовало бы рассматривать этого человека как заслуживающего морального одобрения или осуждения»⁶.

К этому у нас есть два замечания:

Прежде всего, совершенно не ясно, каково понятие о «человеческом я», которым оперирует Бёрлин. Ибо в соответствии с его точкой зрения это «я» следует, по-видимому, отличать не только от тела человека, но и от любого из его прошлых решений, которые уже больше не находятся под его контролем и которые, по крайней

⁶ Isaiah Berlin. Op. cit., p. 26—27.

мере частично, определяют то решение, какое он намеревается принять. Далее, по Бёрлину, это «я» следовало бы отличать и от целей деятельности человека, от его субъективных предрасположений и мотивов в той мере, в какой последние находятся вне его контроля. Поэтому трудно определить, что вообще остается от этого «я», коль скоро из него устранено все, что хотя бы в малейшей степени влияло на поведение человека в непосредственно взятый момент.

Данная трудность не снимается, если мы попытаемся понять бёрлиновскую концепцию «человеческого я», принимающего «свободные» решения так, как он их понимает, представляя себе некоторое лицо, размышляющее над тем, в каком направлении оно должно действовать, и в итоге делающее выбор между различными обдуманнами альтернативами. Личность обычно не осознает, что решения, к которым она приходит, могут быть выражением ряда более или менее устойчивых привычек, мимолетных импульсов, преимущественного внимания, уделенного одной из возможностей за счет других, — все это не осознается, как не воспринимается в нормальных условиях сердцебиение. Представляется невероятным, чтобы человек, оправившийся от первоначального удивления, вызванного в нем вопросом, действительно ли решение, принятое им, является его собственным решением, не ответил бы нам, что, конечно, это его решение. Ну а в том случае, если бы он осознал все те факторы, которые участвовали в принятии им решения, что иногда вполне возможно, то стал бы он рассматривать свой выбор как менее *личный*? Это же представляется невероятным в той же мере, как невероятно, чтобы кто-нибудь стал отрицать, что пульсация сосудов на висках принадлежит ему, после того как он узнал бы, что она вызывается ритмическими сокращениями его сердца.

По Бёрлину, однако, ответ на вопрос, является ли данное решение собственным решением личности, должен, по-видимому, быть отрицательным и в том, и в другом случае. Отсюда, Бёрлин сталкивается с загадкой, которая совершенно неразрешима, — как найти какую-то деятельность или характеристику «человеческого я», присущую ему внутренним образом, при условии, что все причинно обусловленное автоматически отбрасывается и не может рассматриваться как подлинная часть этого «я».

Дело обстоит точно так же, как если бы, описывая бейсбольный мяч, он поставил бы себе задачу исключить из этого описания все признаки мяча, связанные с действием на него каких бы то ни было агентов (например, изготовителя мяча, игрока, ударившего по мячу, солнца, осветившего его), только на том основании, что такие известные признаки мяча, как размер, форма, цвет и состояние его движения, были определены внешними силами и поэтому внутренне не присущи мячу как таковому.

Безусловно, как и где провести границы, отделяющие человеческое «я», — трудная проблема; ответы на нее могут варьироваться в различных контекстах самоидентификации и даже зависеть от различия социальных способов определения этого «я». Однако, где бы ни проводить эти границы, этого нельзя делать таким образом, чтобы в итоге никакие признаки не могли бы считаться присущими «я». Не следует делать искусственных неразрешимых загадок из того факта, что часто мы осознаем себя действующими по собственному свободному побуждению и без внешнего принуждения, даже если мы и признаем, что некоторые из наших решений оказываются результатами наших предрасположений, прошлых действий и настоящих побуждений.

В связи со взглядами Бёрлина необходимо сделать и второе замечание. С внешней стороны его анализ условий, при которых люди могут считаться действительно морально ответственными, весьма напоминает рассуждение, часто используемое для того, чтобы показать, что в свете открытий современной физики повседневный взгляд на мир является иллюзией. Например, доказывается, что так как по данным физики повседневно воспринимаемые объекты, такие, как столы например, представляют собою сложные системы быстро движущихся мельчайших частиц, отделенных друг от друга относительно большими расстояниями, то представление о том, что они «действительно» обладают твердыми, непрерывными поверхностями, — не более чем иллюзия. Но, как уже часто отмечалось, подобное рассуждение — клубок ошибок. В основе его лежит ошибочное предположение, в соответствии с которым считается, что общепризнанная неприменимость таких терминов обычного языка, как «твердое», «крепкое», «непрерывное» (взятых в их повседневном значении), на микроскопическом уровне исключает также

возможность их правильного употребления для характеристики таких макроскопических объектов, как столы⁷.

В своем рассуждении Бёрлин совершает ту же самую ошибку, так как он отвергает ответственность людей за те их поступки, которые были детерминированы биологическими или психологическими условиями, только на том основании, что ответственность (в том же самом смысле этого слова) не может быть приписана этим *условиям*. Тем не менее это эмпирический факт, столь же достоверно засвидетельствованный, как и любой другой факт, что люди мысленно взвешивают различные альтернативные возможности своего поведения и производят выбор между ними; и все наши прошлые и будущие открытия физиологических и психологических условий, при которых совершается этот обдуманый выбор, не могут быть использованы (без риска впасть в вопиющее логическое противоречие) для отрицания самого факта этого выбора.

Уместно отметить, с другой стороны, что вопрос о том, является ли данный конкретный индивид действительно ответственным за свои поступки или мы только ошибочно считаем его ответственным за них, может быть решен только опытным путем. Мы можем, например, обнаружить, что некоторый человек по-прежнему остается мелким вором вопреки всем нашим попыткам исправить его с помощью мер наказания и поощрения и вопреки его, по-видимому, серьезным намерениям вступить на честный путь. Тогда можно было бы решить, что он страдает от какого-то легкого психического расстройства и не может контролировать свои действия, и было бы ошибочным продолжать считать его ответственным за них. Но это отнюдь не снимает фактического различия между действиями, контролируруемыми и не контролируемыми человеком, равно как данное различие не становится мнимым тогда, когда мы открываем, при каких условиях приобретается и проявляется эта способность контролировать свои поступки. Короче, человека вполне правильно принимать за ответственную в моральном отношении личность, если он ведет себя так, как ведет себя нормаль-

⁷ Особенно велико влияние данного аргумента в книге Эддингтона. См.: Arthur S. Eddington, *The Nature of the Physical World*. New York, 1929, p. XI—XIV.

ная личность, и данная характеристика остается верной даже и тогда, когда органические и физиологические условия моральности его поведения оказываются вне его контроля во всех тех случаях, когда он действует как ответственное лицо.

б) У Бёрлина есть и второй аргумент, который он направляет против детерминизма. Он утверждает, что безотносительно к истинности детерминистической концепции она не влияет на мышление большинства людей. Если бы дело обстояло иначе, то, по его мнению, язык, используемый людьми в моральных оценках и проповедях, был бы весьма отличен от их нынешнего языка. Ибо в общепринятом употреблении этого языка люди исходят из молчаливо допускаемой предпосылки, что человек свободен решать и действовать отлично от того, как он репает и действует в данных обстоятельствах. Однако, заключает Бёрлин, если бы мы действительно верили в детерминизм, то наша обычная моральная терминология была бы неприменимой, а наш моральный опыт — не поддающимся осмыслению⁸.

Давайте же исследуем это положение, утверждающее, что последовательный детерминизм не может пользоваться общепринятой моральной терминологией в ее обычных значениях.

1) Если мы оценим данное утверждение на основе действительных фактов, хотя относящийся к этому материал никогда систематически не собирался и имеющаяся в нашем распоряжении информация, безусловно, не может считаться исчерпывающей, то необходимо сказать, что многое из того, что мы знаем по этому вопросу, решительно опровергает это высказывание Бёрлина. Язык многих страстных приверженцев религии, не говоря уже о таких философах, как Спиноза, дает нам некоторое основание считать, что вопреки своей явной и чистосердеч-

⁸ «Если бы детерминистская гипотеза была истинной и адекватно объясняла то, что происходит в мире, то (вопреки всем казуистическим попыткам избежать данного заключения) имело бы прямой смысл говорить, что понятие ответственности человека, как оно обычно понимается, можно было бы применять только к воображаемым, а не к действительным случаям... Говорить, как утверждают некоторые историки-теоретики (и ученые с философскими склонностями), что можно принять детерминистскую гипотезу и продолжать мыслить и говорить по-старому, значит порождать интеллектуальную путаницу». Isaiah Berlin, *Op. cit.*, p. 32—33.

ной приверженности к самому последовательному детерминизму, они не испытывали никаких психологических трудностей, когда делали обычные моральные оценки. Приведем только один пример. Епископ Боссюэ составил свое «Рассуждение о всемирной истории» с целью дать в руки дофину руководство для поведения, подобающего принцу королевской крови, однако в конце он объявляет: «...обширная цепь частных причин, которые приводят к расцвету и упадку империй, зависит от решений Божественного Провидения. Высоко в небе Бог управляет судьбами всех царств. Каждое человеческое сердце у Него в руках. Иногда Он сдерживает страсти, иногда Он дает им волю, возбуждая человечество. Так Бог приводит в исполнение Свой грозный приговор в соответствии с вечными законами. Это Он готовит финал, приводя в действие самые далекие причины, это Он наносит страшные удары, эхо которых слышно повсюду. Итак, Бог правит всеми народами»⁹.

Боссюэ считал, что примирение божественного всемогущества с фактом человеческой свободы является одной из потусторонних тайн. Но как бы там ни было, по-видимому, он не испытывал никаких затруднений, принимая провиденциальную, а там самым и детерминистическую концепцию истории, и вместе с тем, употребляя обычный язык морали (в полном противоречии со взглядами Бёрлина), для того чтобы выразить известные моральные характеристики.

2) Предположим, однако, что Бёрлин прав, думая, что если бы мы действительно приняли последовательный детерминизм, то значения терминов в нашем языке морали существенно бы изменились. Что это доказало бы? Уместно напомнить подобные ситуации в других областях мысли, где значения, ассоциированные с различными языковыми выражениями, были модифицированы в результате принятия новых теорий. Так, большинство образованных людей сегодня принимает гелиоцентрическую теорию планетарного движения, и хотя они и продолжают использовать такие термины, как «восход солнца» и его «заход», они не применяют их в том смысле, который они имели, когда господствовала теория Птолемея. Тем не менее некоторые из сторон явлений, которые были обоз-

⁹ Ж. Боссюэ. Размышления о всемирной истории. Ч. 3, гл. 8.

начены этими терминами в тот период, когда последние ассоциировались с геоцентрическими идеями, не утратили полностью своего значения даже теперь: во многих случаях при наблюдении или анализе явлений вполне правомерно описывать факты, говоря, что солнце встает на востоке и заходит на западе. Очевидно, мы научились использовать терминологию такого рода, выражая с ее помощью мысли, все еще сохраняющие свою правильность, и не связывая себя с другими мыслями, полностью зависящими от принятия геоцентрической теории.

Рассуждая аналогичным образом, можно сделать следующее заключение: если бы мы, по гипотезе Бёрлина, уверовали бы в детерминизм, то мы совсем не обязаны были бы отказываться на этом основании от разграничения между поступками, которые в обычном языке описываются как «свободно избранные», и поступками, не являющимися таковыми, равно как и от разграничения между теми чертами характера и личности, над которыми индивид осуществляет эффективный контроль, и теми, которые им не контролируются. И во всяком случае, даже если бы в результате предполагаемого изменения наших понятий произошли радикальные перемены в принятых в настоящее время значениях моральных терминов, то тем не менее все еще оставалось бы фактом, что на некоторые типы поведения можно повлиять с помощью наказаний и поощрений, а на другие — нельзя, что люди с помощью соответствующей дисциплины могут изменять и контролировать некоторые из своих побуждений, в то время как другие не подвластны их контролю, что некоторые люди могут предпринимать успешные попытки улучшить свое поведение, а другие — не могут и т. д. Короче, как наш повседневный язык морали с принятыми в нем обычными значениями моральных терминов, так и все различия в наших способностях совершать самые разнообразные поступки остались бы в значительной мере незатронутыми общим принятием детерминистической концепции. Отрицать это означало бы допускать в наше рассуждение чрезвычайно маловероятное предположение, а именно что простой факт уверования в детерминизм настолько изменил бы людей, что они стали бы почти неузнаваемыми по сравнению с тем, какими они были до перемены своих теоретических убеждений.

Вера в детерминизм поэтому вполне совместима как логически, так и психологически с обычным использованием моральной терминологии и вменением моральной ответственности человеческим существам. Нам представляется, что эта пресловутая несовместимость может быть «доказана» только в том случае, если за основание доказательства берется сама доказываемая посылка, в соответствии с которой уже сам процесс моральной оценки исключает принятие детерминизма.

IV. Хотя ни один из аргументов, направленных против детерминизма, и не оказался убедительным, тем не менее саму эту детерминистическую концепцию, если ее брать как всеобщий и необходимый принцип, нельзя считать ни доказанной, ни опровергнутой. Детерминизм как мировоззренческий принцип не может считаться доказанным, потому что, может быть, существуют бесконечные ряды событий, для которых мы не знаем детерминирующих условий; и, как показал наш анализ понятия «абсолютной случайности» (см. глава 10), по крайней мере логически вполне возможно, что для некоторых из этих событий действительно не существует определяющих условий. С другой стороны, данный принцип не может быть и полностью опровергнут, так как неудача нашей попытки найти определяющее условие какого-нибудь события не доказывает, что это условие вообще отсутствует. В соответствии со всем этим нельзя принять этот принцип в его строго универсальной форме как хорошо обоснованное обобщение о действительном мире.

Однако практическая (операционная) роль этого принципа, взятого как принцип казуальности, в научном исследовании особенно наглядно обнаруживается, когда он формулируется в виде регулятивного принципа. В этой своей форме он ставит перед положительной наукой одну из ее главных целей — а именно задачу раскрытия факторов, определяющих возникновение явлений. Детерминизм, рассматриваемый в качестве регулятивного принципа, несомненно, оказывается наиболее плодотворным тогда, когда ему придается более специализированная форма, а не то чрезвычайно обобщенное его выражение, которым мы до сих пор занимались. В своей конкретной форме детерминистический принцип должен указывать на те основные переменные, поиск которых должен быть организован в исследовании, ставя-

щем своей целью установить определяющие условия возникновения событий данного типа. Так, лапласовское понимание детерминизма, рассмотренное нами ранее, представляет собой одну из таких специализированных формулировок общего принципа. Основные переменные, упоминаемые в ней, — это пространственные положения, моменты и силы. В течение длительного времени лапласовская формулировка служила руководящим принципом во всех физических исследованиях, хотя при случае даже и в физике в строгом смысле этого слова она заменялась другими специализированными выражениями детерминистического принципа. Аналогичным образом специализированные версии этого общего принципа весьма плодотворно используются в психологии и социальных науках — например, регулятивные принципы, которые в качестве факторов, определяющих возникновение различных явлений, берут наследственность, воспитание, способы производства или социальную стратификацию.

Хотя такие специализированные поисковые принципы плодотворны только в известных пределах, хотелось бы со всей определенностью подчеркнуть, что ограниченная ценность любого из них не может явиться основанием для отбрасывания детерминизма как общего регулятивного принципа. Догматическая приверженность к некоторой из его специальных форм, несомненно, часто препятствовала прогрессу науки; так же бесспорно и то, что некоторые частные версии этого принципа использовались для защиты порочной социальной практики. Тем не менее отбросить детерминистический принцип как таковой означает выйти из науки. Как бы остро мы ни осознавали богатство областей человеческого опыта и как бы серьезно нас ни беспокоила опасность использования результатов науки в порочных целях создания препятствий на пути развития человеческой личности, представляется совершенно невероятным, чтобы нам каким-то образом могло помочь прекращение объективного исследования тех условий, которые определяют личность и поступки человека. Тем самым мы закрыли бы дверь перед прогрессирующим освобождением от иллюзий, освобождением, являющимся результатом знаний, приобретаемых в такого рода исследованиях.

Часть вторая

СОБЫТИЯ И СТРУКТУРЫ

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Науки о человеке переживают сегодня общий кризис. Поставленные перед необходимостью аккумуляции новых знаний и взаимного сотрудничества (разумная организация которого еще не ясна), все они испытывают трудности, вытекающие из их же собственного прогресса. Успехи наиболее динамичных из них оказывают прямое или косвенное влияние на все остальные независимо от того, высказывают они в этом потребность или нет. И тем не менее все они еще скованы рамками устаревшей концепции гуманитарного знания, которая стала для них сегодня прокрустовым ложем. Современные науки о человеке ставят сегодня один и тот же вопрос: каково место каждой из них в той огромной по своему объему совокупности старых и новых исследований, необходимость сведения которых в единое целое уже назрела? Устранит ли все трудности гуманитарных наук новая попытка синтетического определения их предмета или тяжелое ощущение кризиса будет все более усиливаться? Но, может быть, все эти трудности иллюзорны, так как каждая из этих наук (даже рискуя повторить очень старые, избитые истины или псевдопроблемы) все еще стремится сегодня более, чем когда-либо, определить свои специфические цели и методы, утвердить свое превосходство над всеми другими. Они постоянно оспаривают границы, которые отделяют (или уже не отделяют) их друг от друга, ибо все они стремятся к тому, чтобы сохранить свой суверенитет. Некоторые исследователи пытаются найти выход из создавшей ситуации. Так, Клод Леви-Стросс¹ развивает «структурную» антропологию*, включающую в себя методы лингвистики, археологии и по-юношески агрессивную «качественную» математику. Целью его исследова-

¹ Lévi-Strauss Cl. L'Anthropologie structurale. Paris, Plon, 1958, p. 329.

ний является наука, которая в виде некой «теории коммуникации» объединила бы антропологию, политическую экономию и лингвистику... Но кто еще готов открыть границы, создать междисциплинарные исследовательские группы? Даже география, воспользовавшись малейшим предложением, разорвала бы свои связи с историей.

Но будем справедливыми. Все эти споры и разногласия не лишены интереса, так как за любым новым подходом к вопросу стоит желание самоутвердиться: отрицание позиции другого — это само по себе мера самопознания. Более того, стремясь охватить социальное во всей его «целостности», общественные науки накладываются одна на другую, вторгаются на соседние территории, искренне полагая, что ни одна из них не преступает своих границ. Так, политэкономия открывает общие границы с социологией, а история, наименее, быть может, дифференцированная из всех социальных наук, усваивает и отражает уроки всех ее многочисленных соседей. Так вопреки всем замалчиваниям, оппозиции или просто невежеству постепенно вырисовываются контуры «общего пути»; и этот путь надо испытать, даже если в будущем гуманитарные науки сочтут более плодотворным для себя снова вернуться на свою более узкую проторенную дорогу.

Первоочередной задачей сегодня оказывается сближение социальных наук. В Соединенных Штатах оно приняло форму совместных исследований культурных районов современного мира. Областями исследований, проводимых объединенными группами специалистов по различным социальным наукам, оказываются крупные современные страны и регионы. Познать их — это вопрос жизни. Но и в этом сближении методов и знаний необходимо, чтобы каждый из его участников не ограничивался решением своей частной задачи, оставаясь, как это было в прошлом, слепым и глухим к тому, что говорят, пишут и думают другие! Необходимо, чтобы сближение социальных наук было полным, чтобы более молодым наукам, способным все обещать, но не всегда выполнять эти обещания, не отдавалось предпочтение за счет более старых. Так, в упоминавшихся нами американских проектах роль географии практически сведена к нулю и чрезвычайно мало места уделено истории. Здесь уместно было бы задать вопрос: о каком типе истории идет речь.

Другие социальные науки плохо информированы о

кризисе в истории последних двадцати—тридцати лет. Они проявляют склонность игнорировать как труды историков, так и тот специфический аспект социальной реальности, который лучше всего изучается историей, хотя и не всегда управляется ею. Этим аспектом оказывается социальное время, сложное, противоречивое человеческое время, составляющее материю прошлого и саму структуру современной социальной жизни. Это еще одна причина, по которой в дискуссиях, развернувшихся между социальными науками, необходимо заявить о важности и плодотворности исторического исследования, или, скорее, исследования диалектики времени, представляющей собою объект постоянных наблюдений историка. Диалектика времени — это ядро социальной реальности, живое, внутреннее, постоянно возобновляемое противоречие между настоящим моментом и медленным течением времени. О чем бы ни шла речь, о прошлом или о настоящем, четкое понимание того, что социальное время имеет множество форм, оказывается неотъемлемым для общей методологии наук о человеке.

Поэтому я считаю важным подробно остановиться на истории и историческом времени. Это необходимо сделать не столько для историков, которые, по-видимому, прочитают нашу статью: они уже знакомы с нашими работами. Я адресую ее прежде всего нашим коллегам в смежных областях социальных наук: экономистам, этнографам, этнологам (или антропологам), социологам, психологам, лингвистам, демографам, географам и даже социальным математикам или статистикам. Я говорю им — всем нашим соседям, что после долгих лет, в течение которых мы следили за их работами и исследованиями, подтягивались до них или просто контактировали с ними, перед историей зажегся огонь нового дня. Я верил в это и тогда, я верю в это и сейчас. Может быть, настала и наша очередь оказать им некоторые услуги. В исторических работах недавнего времени все более выкристаллизовывается и уточняется понятие множественности времен и особая ценность длительных хронологических единиц. Последнее более, чем сама история — эта многоликая наука, — должно заинтересовать социальные науки, родственные нашей дисциплине.

1. ИСТОРИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ

Любой исторический труд расчленяет истекшее историческое время и выбирает свои хронологические параметры в соответствии с более или менее осознанными тенденциями и предпочтениями. Традиционная история обращает свое внимание на короткие промежутки исторического времени, на индивида, на событие. Мы уже давно привыкли к ее стремительному драматическому рассказу, произносимому на коротком дыхании.

Новая экономическая и социальная история на первый план в своих исследованиях выдвигает проблему циклического изменения, его длительности: она заворочена фантомом, но вместе с тем и реальностью циклического подъема и падения цен. Таким образом, сегодня наряду с повествованием (или «речитативом») традиционной истории возникает речитатив, свидетельствующий об экономической конъюнктуре, рассекающей прошлое на большие промежутки времени: десятилетия, двадцатилетия, пятидесятилетия.

Наряду с этим вторым видом речитатива утвердилось история еще более длительных временных единиц. Опираясь уже столетиями, она оказывается историей большой, даже очень большой длительности. Безотносительно к тому, удачна или не удачна подобная формула, я привык считать ее прямой противоположностью «истории событий» (термин, впервые после Поля Лакомба употребленный Франсуа Симианом)*. Но формулы здесь несущественны; важно другое — мы должны рассматривать и тот и другой вид истории, оба полюса времени — и мгновение, и большую длительность.

Последние термины не притязают на абсолютную точность. Но столь же многозначно и понятие «события». Я бы ограничил его значение тем, что происходит в сжатые промежутки времени. Событие — это взрыв, «звонкая новость», как говорили в шестнадцатом столетии. Его угар заполняет все, но он кратковременен и пламя его едва заметно.

Вне всякого сомнения, философы скажут, что такое понимание «события» лишает это понятие значительной части его содержания. Конечно, событие обладает целым рядом значений и связей. Иногда оно свидетельствует об очень глубоких движениях, и с помощью наду-

манной игры в «причины» и «следствия», игры, излюбленной историками прошлого, может быть связано со временем, далеко выходящим за пределы его собственной длительности. Растяжимое до бескопечности, оно легко или с некоторыми трудностями увязывается со всей цепью событий, с предшествующими фактами и кажется нам неотделимым от них. С помощью этой игры в связи Бенедетто Кроче мог утверждать, что в любом событии в зародыше воплощается вся история, весь человек; что мы, основываясь на данном событии, по желанию можем восстанавливать их, при условии присоединения к этому фрагменту истории того, что первоначально в нем не содержалось, и будем знать, таким образом, какие другие события совместимы или несовместимы с ним. Именно эту умную и опасную игру предлагает Жан-Поль Сартр в своих последних работах².

Итак, ради ясности мы будем говорить не о времени, измеряемом событиями, а о времени, измеряемом короткими хронологическими единицами. Масштаб времени, задаваемый этим термином, соразмерен с индивидуом, с ритмом его повседневной жизни, с нашими иллюзиями и деятельностью нашего сознания. Время, определяемое им, — это время хроникера, время журналиста. Заметим, что газетные хроники или журналы наряду с большими событиями, пазываемыми историческими, описывают незначительные события повседневной жизни: пожар, железнодорожную катастрофу, цены на зерно, преступление, театральную премьеру, наводнение. Каждый понимает, что явления небольшой длительности встречаются во всех формах и сферах жизни: в экономике, социальных отношениях, литературе, институтах, религии и даже географии (порыв ветра, буря). Встречаются они и в политике.

На первый взгляд прошлое — это масса мелких фактов, одни из которых поражают вас, другие же, напротив, постоянно повторяясь, почти не привлекают вашего внимания. Это те факты, которые исследует сегодня микросоциология и социометрия (существует также и микроистория). Но эта масса фактов не охватывает всей

² J.-P. Sartre. Questions de méthode. Les Temps Modernes, 1957, № 139, 140.

реальности, всех переплетений истории, через которые пробирается научное мышление. Наука об обществе испытывает ужас перед массой незначительных событий. И не без основания: кратковременность — наиболее капризная, наиболее обманчивая из всех форм деятельности.

Поэтому у некоторых историков складывается настроенное отношение к традиционной истории, так называемой истории событий. Иногда ее неоправданно отождествляют с политической историей. Политическая же история не обязана ограничивать себя событиями, быть историей кратковременных событий. Между тем остается фактом, что за последнее столетие эта история, почти всегда бывшая политической, то есть сконцентрированной на драме «великих событий», разрабатывалась в кратковременном хронологическом масштабе. Наша характеристика политической истории опускает только искусственные схемы, почти всегда лишенные подлинной историчности, которыми она разбавляла либо свои повествования³, либо исторические объяснения, применяемые к значительным отрезкам исторического времени. По-видимому, это была дань, уплаченная наукой прогрессу в области средств и строгих методов научного познания. Выявление массы документов породило среди историков взгляд, согласно которому проблема исторической истины полностью сводится к проблеме документальной подлинности. «Достаточно,— писал еще вчера Луи Альфан,— отдался, так сказать, в распоряжение документов, читая их один за другим в том виде, как они дошли до нас, для того чтобы цепь событий восстановилась почти автоматически»⁴. Этот идеал «истории из первых рук» привел в конце девятнадцатого века к выработке хроник нового стиля, которые в своих претензиях на максимальную точность шаг за шагом воспроизводят ход событий по дипломатической переписке или парламентским дебатам. Историки XVIII и начала XIX столетий были, напротив, весьма внимательны к долгосрочным историческим перспективам, которые только

³ «Европа в 1500 г.», «Мир в 1800 г.», «Германия на пороге реформы»...

⁴ Louis Halphen. Introduction à l'Histoire. Paris, 1946, p. 50.

благодаря целому ряду великих умов, таких, как Мишле, Ранке, Якоб Буркхардт, Фюстель, были вновь «открыты» в XIX веке. Если учесть, что преодоление кратковременных масштабов исторического исследования тем более ценно, что оно крайне редко, то легко понять выдающуюся роль истории социальных институтов, религий, цивилизаций и авангардную роль истории античного мира, связанную с необходимостью использования значительных масштабов времени при анализе археологических источников. Только они и спасли честь нашей профессии.

* * *

Недавний разрыв с традиционными формами историографии XIX века не означает полного отказа от исследований кратковременных событий. Как мы знаем, он пошел на пользу социально-экономической истории, но политическая история мало выиграла от этого. Он привел к революции, обновлению идей, неизбежно сопровождаемому методологическими изменениями и смещением центра интересов, к введению количественной истории, которая, конечно, еще не сказала своего последнего слова.

Но главным образом разрыв с традиционными формами привел к изменению масштабов исторического времени. Один день, один год мог казаться вполне достаточным масштабом политическому историку вчерашнего дня, который рассматривал время как простую сумму дней. Но кривая цеп, демографическая прогрессия, снижение заработной платы, изменения банковского процента, изучение производства (являющееся скорее мечтой, чем фактом), точный анализ товарного обращения — все это требует значительно более длительных масштабов времени.

Появился новый способ исторического повествования, «речитатив» экономической конъюнктуры, цикла или, положим, «интерцикла», предлагающий нам воспользоваться в качестве временных единиц десятилетиями, двадцатилетиями или в крайнем случае пятидесятилетиями классического цикла Кондратьева*. Например, если отвлечься от поверхностных и кратковременных явлений, то цены в Европе росли с 1791 по 1817 г., а с 1817 по 1852 г. они падали. Это двойное и медленное

движение роста и падения цен образует некоторый «сверхцикл», вначале характерный для Европы, а затем и для всего мира. Конечно, эти хронологические масштабы не имеют абсолютного значения. Для других показателей, таких, например, как рост экономики и прибылей или рост национального продукта, Франсуа Перру⁵ предлагает нам иные, может быть, даже более ценные масштабы времени. Но эти дискуссии в процессе исследований несущественны! Историк сегодня, безусловно, располагает новым историческим временем. Он может писать историю, расчлняя ее в соответствии с новыми веками. Например, Эрнест Лабрусс* и его ученики приступили к обширному исследованию социальной истории под общим лозунгом внедрения в нее количественного метода. Я не думаю, что выдам их секрет, если скажу, что она с необходимостью подводит их к определению социальной конъюнктуры (даже структуры). И у нас нет никаких оснований предполагать, что темп развития этой конъюнктуры будет тем же самым, что и темп развития конъюнктуры экономической. Но за этими двумя великими персонажами истории, экономической и социальной конъюнктурами, нельзя выпускать из виду и других действующих лиц исторической сцены. Наука, технология, политические институты, методы познания, цивилизации (используя припаятый термин) — все это также обладает своим ритмом жизни и развития, и новая история социальных конъюнктур только тогда достигает своей цели, когда она охватит их полностью.

Всей своей логикой новый тип исторического повествования, охватывающий все новые области истории, подводит нас к понятию исторической долговременности. Но существует целый ряд причин, препятствующих внедрению этого подхода к истории, и на наших глазах происходит возвращение к кратковременным хронологическим масштабам. Может быть, это происходит потому, что представляется более необходимым (или более насущным) создать некоторый синтез «циклической» истории и истории традиционной, чем идти вперед, в неизвестное. Иначе говоря, закрепить завоеванные позиции. Первая великолепная книга Эрнеста Лабрусса, вышедшая в

⁵ См.: F. Perroux. *Théorie générale du progrès économique*. Cahiers de l'I.S.E.A., 1957.

1933 году⁶, исследовала общее движение цен во Франции XVIII века, то есть на протяжении целого столетия. В 1943 г. в самой значительной книге, появившейся во французской историографии за последние двадцать пять лет, тот же Эрнест Лабрусс был вынужден ограничиться менее длительным промежутком времени, когда в глубокой депрессии 1774—1791 годов он усмотрел один из основных источников французской революции, одну из причин ее динамизма. И тем не менее в ней он еще затрагивает вопросы экономических циклов больших хронологических масштабов. В докладе же «Как возникают революции?», сделанном на Парижском международном конгрессе в 1948 году, он пытается соединить патетику экономической истории относительно небольших по длительности промежутков времени (новый стиль) с патетикой политической истории (очень старый стиль), патетикой революционных дней. Итак, мы снова «увязли» в кратковременности. Безусловно, все это вполне закономерно, но как это симптоматично! Историк свободен при постановке исторической драмы. Как он может отказаться от драматизма кратковременности, от лучших приемов очень старого ремесла?



Над циклами и «сверхциклами» существует еще и то, что экономисты называют, хотя и не всегда изучают, столетней тенденцией («секулярный тренд»). Но она пока интересует лишь немногих экономистов, и их рассуждения о структурных кризисах, не прошедшие исторической проверки, выглядят лишь гипотезами и не проникают в прошлое глубже 1929, самое большее — 1870 годов⁷. Эти экскурсии, однако, представляют собой добротное введение в историю событий большой длительности. Они — первый ключ к этой истории.

Вторым, даже более полезным ключом, является

⁶ E. Labrousse. *Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII^e siècle*, v. 2. Paris, 1933.

⁷ Разработку данного вопроса см.: René Clemens. *Prolégomènes d'une théorie de la structure économique*. Paris, Domat Montchrestien, 1952; см. также: Johann Akerman. *Cycle et structure*. — «Revue économique», 1952, № 1.

термин «структура». Он господствует во всех проблемах, связанных с исторической долговременностью. Под «структурой» исследователи социальных явлений понимают организацию, порядок, систему достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и массами. И для историков структура — это ансамбль, архитектура социальных явлений, но прежде всего она — историческая реальность, устойчивая и медленно изменяющаяся во времени. Некоторые долговременные структуры становятся устойчивым элементом жизни целого ряда поколений. Иные структуры менее устойчивы. Но все они являются и опорой, и препятствием исторического движения. Так, определяя границы действия и опыта человека, они оказываются препятствиями («огибающими» в математической терминологии). А как трудно преодолеть некоторые географические и биологические условия, некоторые пределы роста производительности труда и даже духовные факторы, ограничивающие свободу действия! (Узость духовного кругозора также может быть долгосрочной тюрьмой!)

Самый яркий пример тому — это все-таки географический детерминизм. Человек — пленник своего времени, климата, растительного и животного мира, культуры, равновесия между ним и средой, создаваемого в течение столетий, равновесия, которого он не может нарушить, не рискуя многое потерять. Посмотрите на сезонные перегоны овец в горы, характерные для жизни горцев, на постоянство некоторых экономических форм деятельности жителей приморских районов, связанное с биологическими особенностями побережья, взгляните на устойчивость местоположения городов, на постоянство путей сообщения и торговли, на удивительную прочность географических рамок цивилизации.

С тем же самым постоянством и устойчивостью мы сталкиваемся и в области культуры. Великолепная книга Эрнста Роберта Курциуса⁸, которая наконец появилась во французском переводе, представляет собой исследование системы культуры, которая продолжила в видоизмененных формах латинскую цивилизацию Поздней

⁸ Ernst Robert Curtius. *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*. Berne, 1948, французский перевод: *La Littérature européenne et le moyen âge latin*. Paris, 1956.

империи, основанную в свою очередь на больших культурных традициях. Курциус показывает, что вплоть до XIII и XIV веков, вплоть до возникновения национальных литератур, цивилизация, основанная интеллектуальной элитой, жила теми же самыми темами, теми же самыми сравнениями, теми же самыми общими местами и штампами. Аналогичное по своей направленности исследование Люсьена Февра «Рабле и проблема свободомыслия XVI столетия»⁹ посвящено проблеме анализа норм и приемов французской мысли эпохи Рабле, той совокупности идей, которые задолго до Рабле и длительное время впоследствии определяли искусство жить, мыслить и верить, заведомо ограничивая интеллектуальные порывы более свободных умов. Столь же новаторской является и тема, рассматриваемая в книге Альфонса Дюпрона¹⁰, составляющей одно из последних достижений французской историографии. В ней анализируется судьба идеи крестового похода уже после XIV столетия, то есть значительно позже «подлинных» крестовых походов. Дюпрон показывает, что эта идея жила постоянно, бесконечно повторялась, проникала в самые разные общества, миры, психологии и нашла свое последнее отражение у человека XIX столетия. Книга Пьера Франкастеля¹¹ «Живопись и общество», написанная на материале смежной области, выявляет постоянство живописного «геометрического» пространства, которое оставалось неизменным с начала флорентийского Ренессанса вплоть до кубизма и интеллектуальной живописи начала нашего столетия. Истории науки также известны естественнонаучные картины мира, которые при всех своих очевидных теоретических недостатках сохранялись в течение длительного времени. Аристотелевская картина мира, почти не встречая сопротивления, господствовала вплоть до Галилея, Декарта и Ньютона. Она уступила место геометризованной вселенной, которая в свою

⁹ L. Febvre. Le problème de l'incroyance au XVI-e siècle. La religion de Rabelais. Paris, 1942; 2^e ed. 1946.

¹⁰ A. Dupront. Le Mythe des Croisades. Essai de sociologie-religieuse. 1959.

¹¹ P. Francastel. Peinture et Société. Naissance et destruction d'un espace plastique, de la Renaissance au cubisme. Lyon, 1951.

очередь значительно позднее была сметена эйнштейновской революцией¹².

С трудностью выявления исторически долговременных структур мы сталкиваемся, как это ни парадоксально, только в той области, где исторические исследования добились неоспоримых успехов, а именно в области экономики. Циклы, «сверхциклы», структурные кризисы искажают непрерывность, постоянство экономических систем, или, как иногда говорят, экономических цивилизаций¹³, — то есть устойчивых привычек мысли и действия, установившихся рамок деятельности, часто сохраняющихся вопреки всем правилам логики. Так, для истории Европы характерна экономическая система, которая может быть описана с помощью нескольких положений и правил, довольно четких по своему содержанию. Эта система существовала приблизительно с XIV по XVIII век, или, скажем точнее, до 1750 года. В течение нескольких веков экономическая деятельность обуславливалась демографически неустойчивыми популяциями, как об этом говорит снижение численности населения во Франции в 1350—1450 гг. и в 1630—1730 гг.¹⁴ В эти века основными путями торговли были морские пути. Быстрое развитие экономики наблюдалось только в прибрежной полосе. Исключения (ярмарки Шампани, уже находившиеся в состоянии упадка к началу этого периода, или Лейпцигская ярмарка в XVIII веке) только подтверждают это правило. Первостепенную роль в этой системе играли торговцы. В большом ходу были драгоценные металлы, золото, серебро и даже медь, колебания стоимости которых совершенно не амортизировались вплоть до значительного распространения кредита в конце XVI века. Часто повторялись сельскохозяйственные кризисы. Неус-

¹² Можно назвать и другие примеры. Я бы мог сослаться на ряд важных работ того же направления. См: Otto Brunner. *Historische Zeitschrift*, Bd. 177, № 3 о социальной истории Европы. R. Bultmann. *Idem*, Bd. 176, № 1 — о гуманизме; Georges Lefebvre, *Annales historiques de la Révolution française*, 1949, № 114 и F. Hartung. *Historische Zeitschrift*, Bd. 180, № 1 — о просвещенном абсолютизме.

¹³ Rene Courtin. *La civilisation économique de Brésil*. Paris, Librairie de Médicis, 1941.

¹⁴ В Испании снижение численности населения наблюдается в конце X века.

тойчивы были и сами основы экономической жизни. Совершенно диспропорциональна на первый взгляд роль одного или двух великих внешних торговых путей: левантйского с XII по XVI в. и колониального в XVIII веке.

Таким образом, я напомнил некоторые черты экономической жизни Западной Европы, черты торгового капитализма, обладавшие большой исторической длительностью. Несмотря на все изменения, которые, бесспорно, имели место в течение этих четырех или пяти веков, мы можем констатировать, что экономическая жизнь обнаруживала определенное единство вплоть до потрясений XVIII века и индустриальной революции, последствия которых мы ощущаем и сегодня.

Итак, в сопоставлении с другим формами исторического времени та форма, которую мы называем «большой длительностью», оказывается чем-то довольно сложным. Ввести ее в нашу науку очень не просто. Здесь меньше всего речь идет о простом расширении предмета исследования или области наших интересов. Да и само введение новых временных параметров отнюдь не сулит одни лишь блага. Оно влечет за собой готовность историка изменить весь стиль и установки, направленность мышления, готовность принять новую концепцию социального. Это значило бы привыкнуть ко времени, текущему медленно, настолько медленно, что оно показалось бы почти неподвижным. Только тогда мы сможем вырваться из плена событий, чтобы снова вернуться к ним и посмотреть на них другими глазами, задать им другие вопросы. Во всяком случае, историю в целом можно понять только при сопоставлении ее с этим неособозримым пространством медленной истории. Только так можно выявить действительный фундамент исторических событий. И тогда все этажи общей истории, все множество ее этажей, все взрывы исторического времени предстанут перед нами вырастающими из этой полунеподвижной глубины, центра притяжения, вокруг которого вращается все.

* * *

Все, что было сказано мною, не притязает на определение истории как науки. Мы даем здесь только одно из множества ее возможных определений. Блаженны и

очень наивны те, кто думает, что после всех пронесшихся над нами гроз мы нашли истинные принципы и ясные определения, основали истинную Школу. В действительности все общественные науки изменяются не только в силу собственного движения каждой из них, но и всей их совокупности. История — не исключение в этом отношении. Между Шарлем Ланглуа и Шарлем Сеньобом*, с одной стороны, и Марком Блоком — с другой, лежит громадное расстояние, но и после Марка Блока колесо истории не перестало вращаться. Для меня история — это сумма всех возможных историй, всех подходов и точек зрения — прошлых, настоящих и будущих.

Я считаю ошибочным только одно: выбрать одну из этих историй, а всеми остальными пренебречь. Историки совершали и будут совершать эту ошибку. Очень нелегко переубедить историков и особенно представителей общественных наук, упорно желающих понимать под историей то, чем она была вчера. Потребуется немало времени и терпения, чтобы убедить их признать все те изменения и повшества, которые скрывает сегодня очень старый термин «история». А между тем новая историческая «наука» уже существует, непрерывно совершенствуясь и видоизменяясь. Она возникла во Франции в 1900 году вместе с *Revue de Synthèse historique* или с *Annales* (если отправляться от 1929 г.). Историк нового типа внимательно следит за всеми науками о человеке. Именно это и делает границы истории такими расплывчатыми, а интересы историка такими широкими. Итак, не устанавливайте между историком и ученым-обществоведом тех барьеров и различий, которые были оправданы в прошлом. Все науки о человеке, включая историю, взаимосвязаны. Они говорят, или по крайней мере могут говорить, на одном языке. Чтобы понять мир независимо от того, будь то в 1558 году или же в благословенном 1958 году, мы должны определить иерархию действующих в нем сил, течений, конкретных движений и затем уже связать их в единое целое. В каждый момент исторического исследования необходимо разграничивать долговременные движения и краткосрочные импульсы; движения, возникшие недавно, и движения, идущие из глубины исторического времени. Мир 1558 года, столь зловещий на часах французской истории, не родился на

рубеже этого безрадостного года, как и, снова в масштабе французского времени, очередной тяжелый год для Франции не начался в новогоднюю ночь 1958 года. Любая «современность» включает в себя различные движения, различные ритмы: «сегодня» началось одновременно вчера, позавчера и «некогда».

2. АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Все вышесказанное может показаться банальным. Общественные науки, однако, неохотно занимаются прошлым, хотя их и трудно формально обвинить в сознательном замалчивании истории и времени как необходимых параметров социальных явлений. На первый взгляд они даже приветствуют их: «диахронический» анализ, восстанавливающий права истории в цепи рассуждений, всегда присутствует в теоретических дискуссиях.

Но, несмотря на это, следует признать, что представители общественных наук по своим склонностям, укоренившимся инстинктам и, может быть, даже по образованию обычно стремятся избежать исторического объяснения. Это делается двумя способами. Либо социальное исследование сводится только к изучению событий (можно даже сказать «текущих событий») методами эмпирической социологии, которая пренебрегает всякой историей и ограничивается изучением современных данных. Либо же временной параметр вообще отбрасывают, находя в «науке о коммуникациях» математическое описание структур, представляющихся вневременными. Особенно интересен для нас второй, самый новый подход, хотя и первый также имеет еще достаточное число сторонников. Поэтому рассмотрим оба эти случая.

Я уже говорил о своем отрицательном отношении к чисто событийной истории. Но если быть справедливым, то необходимо признать, что в этой «чистой» описательности виновна не одна только история. Все общественные науки склонны попадаться в эту ловушку. Экономисты, демографы и географы уделяли значительно боль-

ше внимания настоящему, чем прошлому. Восстановление известного равновесия в этом отношении было бы крайне желательным. Это легко и даже необходимо сделать демографам. Это почти самоочевидно для географов (особенно для французских, воспитанных на Видаль де Ла Блаше*). Но это очень редко среди экономистов, которые стали пленниками чрезмерно кратковременной перспективы. Их исследования проводятся во временном интервале, ограниченном, с одной стороны, 1945 годом, а с другой — настоящим моментом, к которому планирование и прогнозы могут прибавить несколько месяцев, в лучшем случае лет. Я смею утверждать, что все ограничения во времени сдерживают развитие экономической мысли. Экономисты возразили бы мне в том отношении, что это задача историка — выйти за пределы 1945 года в поисках прошлого экономических систем. Но, отказавшись от прошлого, они тем самым по собственной доброй воле сокращают данное им великолепное поле для наблюдений, отнюдь не отрицая его ценности. Экономисты стали жертвой привычки служить самым непосредственным нуждам и современным правительствам.

Позиция этнографов и антропологов не столь резко очерчена и не столь тревожна. Правда, некоторые из них продолжают твердо настаивать на невозможности и бесплодности введения истории в их науку. Но высокомерный отказ от истории не принес большой пользы Малиновскому и его ученикам**. Как же антропология может перестать интересоваться историей? Леви-Стросс любит говорить, что антрополог и историк участвуют в одном и том же интеллектуальном предприятии¹⁵. Сколь бы примитивным ни было общество, «когти событий» всегда оставляют на нем свои следы. Не было общества, следы истории которого были бы полностью утеряны. Вот почему несправедливо жаловаться на отсутствие внимания к истории со стороны этих наук.

Напротив, можно очень основательно критиковать кратковременную перспективу подхода к событиям, доведенную до крайности тем типом социологии, который ограничивается обследованием настоящего. Все, что ока-

¹⁵ Lévi-Strauss Cl. Op. cit., p. 31.

зывается на границах социологии, психологии и экономической науки, может стать предметом такого обследования. Оно модно не только во Франции, и по своему характеру представляет некую постоянную игру на уникальной значимости настоящего с его «вулканическим» жаром и изобилием деталей. Зачем возвращаться к прошлому, к этой обеснуженной, заброшенной, схематизированной, погруженной в молчание стране? Но мертво ли это прошлое и действительно ли его следует реконструировать, как нам это пытаются доказать? Несомненно, историк иногда слишком легко извлекает из прошлого то, что ему представляется существенным для данного периода. Как часто говорил Анри Пиренн, историк не испытывает затруднений при отборе «важных событий», иными словами, «тех событий», которые имели последствия». Нельзя не видеть опасности такого упрощения. Но чего не отдал бы наблюдатель настоящего за возможность углубиться в прошлое (или, скорее, уйти вперед — в будущее) и увидеть современную жизнь упрощенной, лишенной масок, вместо той непонятной, перегруженной мелочами картины, которая является вблизи? Клод Леви-Стросс утверждает, что один час беседы с современником Платона сказал бы ему о монолитности (или же, наоборот, разобщенности) древнегреческой цивилизации больше, чем любое современное исследование¹⁶. И я вполне с ним согласен. Но он прав только потому, что в течение многих лет слушал голоса многих греков, спасенных от забвения. Историк подготовил его путешествие. Час в сегодняшней Греции не сказал бы ему ничего или почти ничего о монолитности или раздробленности современного греческого общества.

Более того, исследователь настоящего может проникнуть в глубинные элементы существующих социальных структур только с помощью аналогичного процесса *реконструкции*, выдвигая гипотезы и объяснения и отказываясь принимать реальность такой, какой она представляется. Он проникает в глубины, либо упрощая, либо добавляя к существующему нечто свое. Все это способы отступить от материала, чтобы лучше овладеть им. Я сомневаюсь, что современная социологическая фотогра-

¹⁶ "Diogène couche", Temps modernes, № 110, 1955, p. 17.

фия более «истинна», чем историческая картина прошлого. Чем больше она уходит от «реконструкций», тем менее истинной она становится.

Филипп Ариес подчеркивал, что в историческом объяснении важную роль играет чувство новизны объекта. Вступая в XVI столетие, вы попадаете в странное окружение, странное для вас, человека XX века¹⁷. Почему это окружение кажется вам странным? Это как раз тот вопрос, который вы должны решить. Но я бы также сказал, что чувство удивления, незнакомости, удаленности (а все это необходимо для познания) в равной мере нужны и для понимания непосредственного окружения: если оно очень хорошо знакомо вам, то вы теряете способность ясно видеть его. Француз, проживший год в Лондоне, не узнает многого о жизни Англии. Но путем сравнения и под влиянием чувства удивления, которое охватит его там, он внезапно осознает некоторые наиболее фундаментальные и специфические особенности Франции, которых он не видел ранее именно потому, что они постоянно были у него перед глазами. Как прошлое, так и настоящее познается на расстоянии.

Историки и представители общественных наук, без сомнения, могут спорить до бесконечности относительно сравнительных преимуществ безжизненных документов и свидетельских показаний, слишком близких к жизни; относительно достоинств прошлого, которое слишком отдалено, и настоящего, которое слишком близко. Я не считаю это главной проблемой. Прошлое и настоящее всегда проливают взаимный свет друг на друга. Если изучать только то, что вблизи, внимание неизбежно концентрируется на том, что быстро движется, блестит (хотя это не обязательно золото), меняется, производит шум и вообще поражает. Опасность простой каталогизации событий в этих условиях так же велика, как и в исторических науках. Ей в равной мере подвержены и антрополог, проводивший три месяца среди какого-либо полинезийского племени, и промышленный социолог, гордый моментальными зарисовками последнего обследования и верящий в то, что удачно составленная анкета и набор перфорированных карт могут дать полное описание

¹⁷ Le temps de l'histoire. Paris, 1954, p. 298.

социального механизма. Социальную дичь поймать не так просто.

Например, какое значение для наук о человеке может иметь карта маршрута молодой девушки, когда она выходит из своего дома в XVI округе Парижа и направляется на урок музыки и научно-популярную лекцию¹⁸. Очень милая карта. Но если бы эта девушка изучала агрономию и занималась водно-лыжным спортом, треугольник ее маршрута выглядел бы совершенно иначе. Я рад предоставленной мне возможности познакомиться с картой расположения жилищ служащих крупной парижской фирмы. Но если у меня нет карты прошлого расположения их жилищ или если интервалы времени между сбором тех или иных данных слишком малы для того, чтобы можно было установить какую-то связь, то я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Исследование в таком случае теряет свой смысл. Обследования ради обследований представляют интерес только в том отношении, что они накапливают информацию. Но это не значит, что все они обязательно пригодятся для *будущих* исследователей. Будем остерегаться искусства ради искусства.

Точно так же я сомневаюсь, что можно социологически обследовать отдельно взятый город вне связи с более широкой исторической перспективой, как это произошло при изучении Оксерра¹⁹ или Вьена в Дофинэ²⁰. Каждый город, в определенном смысле целостное общество со своим внутренним ритмом, кризисами, внезапными изменениями и с постоянной потребностью в планировании, должен вместе с тем рассматриваться в комплексе с окружающими его сельскохозяйственными районами и архипелагом соседних городов. Одним из первых на важность последней формы связи указал историк Рихард Хапке. Следовательно, развитие города нельзя изучать в изоляции от исторического развития всего это-

¹⁸ P. Chombart de Lauwe. Paris et l'agglomération parisienne. Paris, 1952, vol. 1., p. 106.

¹⁹ S. Frère et C. Bettelheim. Une ville française moyenne: Auxerre en 1950. — "Cahiers de la Fondation des Sciences Politiques", № 17, 1951.

²⁰ P. Clément et N. Xydias. Vienne-sur-le Rhone, ibid., № 71, 1955.

го сложного комплекса, который часто своими корнями уходит в далекое прошлое. И разве при изучении каких-то конкретных форм обмена между городом и деревней, промышленной или торговой конкуренции не чрезвычайно важно знать, имеем ли мы дело с новым и бурным процессом или с завершающей фазой старого, давно возникшего явления, или же с монотонно повторяющимся феноменом?

В заключение мне хотелось бы привести слова, которые Люсьен Февр любил повторять в последнее десятилетие своей жизни: «История — это наука о прошлом и наука о будущем». И действительно, разве история, эта диалектика времени, не является объяснением социальной реальности во всей ее полноте — как непосредственно переживаемого момента, так и прошлого? Она учит нас бдительности в отношении событий. Мы не должны мыслить исключительно категориями краткосрочной перспективы...

3. ВРЕМЯ ИСТОРИКА И ВРЕМЯ СОЦИОЛОГА

После вневременного мира социальной математики я возвращаюсь к времени и длительности. Неисправимый историк, я не могу не удивляться тому, что социологи как-то умеют обходиться без него. И действительно, их понятие о времени очень отличается от нашего: оно значительно менее обязательно, менее конкретно и никогда не является главным фактором в решении их проблем и в их суждениях.

Историк ни на минуту не может выйти за пределы исторического времени. Время липнет к его мысли, как земля к лопате садовника. Естественно, он может мечтать о том, чтобы предать время забвению. Под влиянием тревоги и тоски 1940 года Гастон Рушпель²¹ написал об этом слова, заставляющие страдать любого истинного историка. Аналогичные чувства выразил ранее Поль Лакомб, историк с мировым именем: «Время — ничто само по себе; объективно, оно всего лишь наша идея»²².

²¹ Histoire et destin. Paris, B. Grasset, 1943, p. 169.

²² "Revue de Synthèse historique", № 1, 1900, p. 32.

Но насколько успешными были все эти попытки освободиться от исторического времени? Я сам в тяжелые годы плена всеми силами старался уйти от хроники тех несчастных лет (1940—1945). Отказ признать события и время, в котором они происходят, был одним из способов укрыться от них, найти убежище, откуда можно было бы оценивать их более бесстрастно и немного меньше верить им. Для историка весьма заманчиво уйти от слишком близкого взгляда на вещи и посмотреть на них сначала со средней, а затем уже и с самой отдаленной исторической перспективы (последняя, если она существует, должна быть перспективой мудрецов). Достигнув этого, историк пересматривает и реконструирует увиденную картину, упорядочивает ее смещающиеся элементы.

Но все эти периодически повторяющиеся попытки освобождения бессильны увести историка из реально существующего необратимого времени истории. Иллюзия нашего воображения — это не время и его течение, а те отрезки, на которые мы его делим. Они сливаются в единое целое, как только наша работа завершена. Длительный период, период средней длительности, единичное событие соразмерны друг другу, так как они замерены в одном и том же масштабе. Вступить мысленно в одну из временных исторических перспектив — значит одновременно вступить в каждую из них. Философ, занятый субъективным, внутренним аспектом понятия времени, никогда не ощутит веса исторического времени, этого действительного универсального времени, времени накопленных обстоятельств. Эрнест Лабрусс во введении к своей книге²³ сравнивает время с путешественником, который, сам оставаясь неизменным, устанавливает в каждой стране, в которую он прибыл, один и тот же подходящий ему политический режим и социальную систему.

Для историка время — начало и конец всего, время одновременно математическое и творческое, хотя для некоторых это звучит странно. По отношению к человечеству оно «экзогенно», как сказали бы экономисты. Оно толкает нас вперед, руководит нами и уно-

²³ E. Labrousse. La crise de l'économie française à la veille de la Révolution française. Paris, 1944.

сит с собой наше собственное «приватное» время с его различными оттенками. Таково нетерпеливое мировое время.

Социологи, конечно, не принимают столь простого понятия времени. Их позиция в этом вопросе близка ко взглядам Гастона Башеляра, выраженным им в книге «*Dialectique de la durée*»²⁴. Социальное время для социолога — это всего лишь одно из измерений наблюдаемой социальной реальности. Оно включено в эту реальность (как может содержаться и внутри индивида), оно — один из многих символов, с которыми связана данная реальность, один из признаков, которые делают из нее особую, отдельную единицу. Социолог не церемонится с этим покладистым временем, которое он может укорачивать, останавливать и направлять по своему усмотрению. Историческое время, однако, не поддается столь легкому жонглированию синхронизмами и диахронизмами: для историка почти невозможно представить себе, что жизнь — это некий механизм, который можно остановить в любой момент и спокойно изучить его.

Такое расхождение в понимании времени более существенно, чем кажется на первый взгляд. Понятие социолога о времени не тождественно понятию времени историка. Об этом свидетельствует вся структура исторической науки. Время для нас, как и для экономистов, — мера. Когда социолог говорит нам, что некоторая социальная система непрерывно разрушается только для того, чтобы снова восстановить себя, мы охотно принимаем это объяснение, так как оно в конечном счете подтверждается историческими наблюдениями. Но в соответствии с нашими обычными требованиями к науке мы хотели бы знать точную длительность этих движений развития и упадка. Вполне возможно замерять экономические циклы, приливы и отливы в производстве материальных благ. В равной мере должно быть возможно проследить и кризис социальных структур во времени. локализовать его как в абсолютных терминах, так и по отношению к движениям сопутствующих структур. Историка интересует прежде всего, как пересекаются эти движения, влияя друг на друга и приводя к разрушению

²⁴ Paris. Presses Universitaires de France, 1950.

старую социальную систему. Все это может быть описано только с помощью применения универсальных временных шкал историка. Многочисленные, отличающиеся друг от друга шкалы социолога здесь не пригодны, так как каждая из них была сконструирована для измерения какого-то одного частного феномена.

* * *

Все эти сомнения приходят к историку даже тогда, когда он знакомится с близким, почти родственным миром социологии Жоржа Гурвича. Один философ²⁵ даже назвал его человеком, «привязавшим социологию к истории». И тем не менее даже в работах Гурвича историк будет тщетно искать свое понятие времени и исторической перспективы. Громадное социальное здание (может быть, следует назвать его моделью?) Гурвича построено на основе пяти основных принципов архитектуры: скрытые, глубинные уровни социальной жизни, типы социального взаимодействия, социальные группы, глобальные сообщества. Последним звеном в его системе является время, точнее — совокупность различных понятий о времени. В социологии Гурвича оно конструируется последним и фактически накладывается на все остальное.

Гурвич предлагает нам широкий выбор временных перспектив; долгосрочное или медленно движущееся время, иллюзорное или внезапное время, неправильно пульсирующее (синкопированное) время; циклическое время, как бы танцующее на одном месте; ожидающее время; время, бегущее медленно; время, бегущее то быстро, то медленно; взрывное время²⁶. Что делать с этим набором историку? Как из всех этих ярких цветных вспышек создать необходимый ему ровный белый свет? Кроме того, он скоро поймет, что это хамелеоноподобное время — всего лишь дополнительный ярлык, оттенок категорий, которые уже были

²⁵ G. Granger. Evénement et structure dans les sciences de l'homme. — "Cahiers de l'ISEA", № 1, 1957, p. 41—42.

²⁶ G. Gurvitch. Déterminismes sociaux et liberté humaine Paris, 1955, p. 38—40

выделены Гурвичем. В архитектурном сооружении, построенном нашим другом, время, самый поздний пришелец, по необходимости получило свое место среди других, ранее его устроившихся обитателей. Оно должно приспособливаться к жизненному пространству, уже занятому «глубинными уровнями», типами общения, группами или глобальными сообществами. Оно — новая, но, в сущности, неизменная формулировка тех же самых уравнений. Любая социальная реальность выделяет свое собственное время и свои собственные временные шкалы, как обычный моллюск. Но чем здесь воспользоваться историку? Это громадное идеальное по своей архитектуре здание стоит без движения во времени. Ему не хватает истории. Правда, здесь есть историческое время, но оно закрыто, как ветры в кожаной сумке Эола. Иногда кажется, что социологи воюют в конечном счете не с историей, а с историческим временем, этой бурной и неуправляемой реальностью, на которую не действуют все наши категориальные ухищрения. Историк никогда не может уйти от времени. Социолог же не испытывает особых затруднений в забвении времени. Он либо уходит в момент вечного настоящего, когда время как бы останавливается для него, либо обращается к повторяющемуся в явлениях, которое не принадлежит никакому конкретному времени. Итак, он избегает времени с помощью двух различных умственных процессов. В одном из них он ограничивает свой анализ событиями в самом строгом смысле этого слова. Во втором он становится на точку зрения квазивечного времени. Законно ли все это? Именно этот вопрос и представляет собою подлинный предмет спора между историками и социологами или даже между историками различных убеждений.

* * *

Я не знаю, встретит ли эта слишком прямая и слишком опирающаяся на примеры статья, как это принято у историков, одобрение социологов и других наших соседей. Я сомневаюсь в этом. Во всяком случае, нет смысла еще раз повторять в заключении ее лейтмотив. Хотя естественное призвание истории как раз и состоит в том, чтобы заниматься прежде всего временем и всеми теми различными перспективами, на которые оно может быть разде-

лено, мне представляется, что долгосрочная перспектива наиболее плодотворна для наблюдения и анализа во всех общественных науках. Не слишком ли мы многого хотим, обращаясь с просьбой к нашим коллегам в общественных науках на какой-то стадии своих размышлений соотнести свои открытия и исследования с этой центральной временной осью?

Что же касается историков, которые не все со мною согласны, то для них принятие этой точки зрения означало бы кардинальный сдвиг: инстинктивно они тяготеют к краткосрочности. Более того, она заложена в святыне программ университетских курсов. Жан-Поль Сартр в своих недавних статьях²⁷, протестуя против того, что выглядит в марксизме слишком простым и одновременно жестким, выступает в защиту биографической детали и полнокровной реальности события. Еще не все сказано, если Флобера «определить» как буржуа, а Тинторетто — как мелкого буржуа. Я полностью с ним согласен. Однако исследование каждого конкретного случая — Флобера, Валери или внешней политики Жиронды — в конечном счете возвращает Сартра к глубинному структурному контексту. Его исследование идет от поверхности к глубинам истории и приближается к моим собственным занятиям. Это соответствие стало бы еще полнее, если бы движение мысли шло в двух направлениях: от события к структуре, а затем от структур и моделей к событию.

Марксизм содержит в себе целый ряд моделей социальных явлений. Сартр протестует против жесткости, схематизма и неадекватности модели во имя индивидуального и особенного. Я бы присоединил и мой голос к его протестам, но не против модели как таковой, а против некоторых способов ее употребления. Гений Маркса, секрет силы его мысли состоит в том, что он первый сконструировал действительные социальные модели, основанные на долговременной исторической перспективе. Эти модели были увековечены в их первоначальной простоте тем, что к ним стали относиться как к неизменным законам, априорным объяснениям, автоматически приложимым ко всем обстоятельствам и всем обществам. Между тем, если

²⁷ J.-P. Sartre. Fragment d'un livre à paraître sur le Tintoret. — "Temps modernes", № 141, 1957, p. 761—800.

бы их погрузили в меняющиеся потоки времени, их подлинная текстура стала бы только яснее видна, так как она прочна и основательна. Она проявлялась бы бесконечно, но в разных модификациях, то затемненная, то, наоборот, оживленная присутствием других структур, которые в свою очередь требуют для своего объяснения иных законов и иных моделей. Эта жесткая интерпретация ограничила творческую силу самой мощной системы социального анализа, созданной в прошлом веке. Восстановить ее возможно только в долговременном анализе *.

В заключение я хотел бы обратить внимание читателя на то, что долговременная перспектива — это всего лишь один из возможных путей найти общий язык во взаимодействии общественных наук. Есть и другие пути: я указал на эксперименты в новой социальной математике. И нахожу эти новации привлекательными. Но применение традиционной математики в общественных науках, и прежде всего в наиболее развитой из них — экономической науке, также настолько успешно, что совершенно не заслуживает тех суровых отзывов, которые иногда приходится слышать. Многие задачи все еще ждут своего решения в этой области. Но мы располагаем все увеличивающейся армией статистиков и все более совершенными вычислительными машинами, позволяющими надеяться на лучшее. Я верю в плодотворность последовательного статистического анализа, который необходимо продвигать все глубже в прошлое. Группы исследователей уже расставили свои заявочные столбы по всему восемнадцатому столетию. Некоторые ученые работают уже в XVII и даже XVI столетиях. Невероятно длинные статистические ряды²⁸ уже рассказали универсальным языком цифр о глубинах китайской истории.

Не должны мы забывать и еще один общий язык, точнее, еще одно семейство моделей: необходимую редукцию всех социальных явлений к занимаемому пространству. Назовем этот язык географией или экологией, не оспаривая, какой из этих терминов в данном случае будет наибо-

²⁸ O. Berkelbach van der Sprenkel. Population statistics of Ming China. BSOAS, № 15, 1953, p. 289—326; M. Rigier. Zur Finanz und Agrargeschichte der Ming Dynastie, 1368—1643. Sinica 12, 1932, S. 130—143 и 235—252.

лее удачным. География слишком склонна замыкаться в себе, и это достойно сожаления. Необходим еще один Видаль де Ла Блаш²⁹, который бы думал на сей раз не об отношениях времени и пространства, а об отношении пространства и социальной реальности. Тогда на первый план в географических исследованиях выступили бы общие проблемы общественных наук, родственные географическим исследованиям. Термин «экология» позволяет социологам, хотя они в этом и не признаются, обойтись без слова «география», тем самым и без исследования проблем, поставленных физическим пространством социальной системы, — проблем, очевидных для внимательного наблюдателя. Карты, на которых раскрывается и частично объясняется социальная реальность, это фактически пространственные модели, одинаково хорошо работающие во всех временных перспективах (особенно при долгосрочном анализе) и применимые ко всем категориям социальных явлений. Но общественные науки удивительным образом игнорируют их. Я часто думаю, что географическая школа, созданная Видаль де Ла Блашем, представляет собой одно из главных достижений французского обществоведения, и было бы трагично, если бы ее дух и уроки были забыты. Со своей стороны общественные науки должны принять участие в разработке «географической концепции человечества», как это предлагал Видаль де Ла Блаш еще в 1903 году.

* * *

Практически (ибо эта статья имеет практическую цель) мне бы хотелось, чтобы ученые-обществоведы отложили на время свои долгие препирательства относительно границ, отделяющих одну науку от другой, относительно того, чем является или чем не является общественная наука, что входит и что не входит в понятие структуры. Лучше бы они искали теоретические ориентиры, указывающие путь к совместным исследованиям и проблемам, которые могли бы сблизить их. С моей точки зрения, такими ориентирами являются математизация, анализ отношения социальных феноменов к географическому про-

²⁹ P. Vidal de la Blache. *Revue de Synthèse historique*, 1903. p. 239.

странству и долговременная историческая перспектива. Но было бы очень интересно выслушать и предложения других специалистов. Вот почему эта статья появилась в разделе журнала «Дискуссия и обсуждения». Ее цель — поставить вопросы, а не дать ответы там, где выход за пределы собственной специальности слишком опасен. Эта статья — призыв к дискуссии.

ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ НАУКАХ

I

В последнее время исторические науки вновь все чаще обращаются к сравнительным методам исследования. При анализе этого явления, конечно, необходимо учитывать, что само возрождение интереса к этим методам продиктовано весьма различными мотивами. Методическая ясность также не всегда характерна для таких проблем. Вполне вероятно, что в обращении исторической науки к этим методам существенную, если не решающую, роль играют вненаучные интересы. Пропагандисты сравнительного метода даже не считают нужным это скрывать. Так, Сильвия О. Трапп, редактор «Сравнительных исследований общества и истории», пишет между прочим: «В настоящее время под влиянием требований времени оживляется интерес к сравнительным методам. Не потеряв чувства национальности, мы обрели чувство принадлежности к человечеству в целом. Этноцентричность сейчас вызывает упреки. Даже ученые не могут избежать критики в связи с этим, ибо, как замечают многие, каким образом человек, изучающий только свою страну, может выявить в ней своеобразие?»¹.

Следовательно, обращение к сравнительному исследованию представляет собою симптом, обнаруживающий волю к преодолению национальных границ также и в области истории, которая наряду с научно-познавательным содержанием всегда действенно выражала и политические интересы, ранее в рамках научной традиции, определяемой потребностями национального государства, сегодня — в рамках традиции более или менее универсальной. К этому, несомненно, присоединяется еще и другое: историзм XIX столетия основывал свое научное самосознание на

¹ Comparative Studies in Society and History, vol. I. Haag, 1958/1959.

признании методологической независимости от естествен-
нонаучных методов, которые через различные позитивист-
ские теории проникали в общественные науки. В своих
исследованиях он стремился добиться ощутимых, мас-
штабных результатов, чтобы доказать свое методологиче-
ское преимущество, и получил всеобщее признание имен-
но потому, что его теория исторической индивидуальности
была полностью созвучна политическому настроению вре-
мени, которое приписывало национально-индивидуально-
му величайшую ценность.

Не приходится удивляться тому, что сегодня как вну-
тренние, так и внешние предпосылки такой постановки
вопроса в значительной мере отпали. По своей обществен-
ной роли социология в настоящее время оттесняет исто-
рию на второй план. Это не всегда происходит в одинако-
вой мере, но мы видим, что влияние и значение истории
сегодня стало намного меньше, чем каких-нибудь пятьде-
сят лет назад. К тому же громадный рост научной инфор-
мации перерос все национальные границы. Хотя сам по
себе этот факт и не может полностью преодолеть нацио-
нальную структуру исторической науки и историогра-
фии, равно как и национально-государственные элемен-
ты политики, однако он породил мощное движение, у
истоков которого мы находимся. Если в период до пер-
вой мировой войны для Германии было характерно со-
существование национально-ориентированной историче-
ской науки и универсально-ориентированной философии
истории, то сегодня универсалистские тенденции науч-
ных исследований — это уже не просто спекулятивные
построения, а результат реального процесса превраще-
ния планеты в единое поле политического действия.

Но сколь бы настойчиво объективные тенденции наше-
го времени ни диктовали необходимость сопоставления
бесконечно многих историко-политических индивидуаль-
ностей мира и объединения их в значительно меньшее
число более высоких структурных единиц, сами по себе
эти тенденции, конечно, недостаточны для создания проч-
ных основ научного метода. Если мы не хотим, чтобы на-
ши теоретические построения воздвигались на песке, мы
должны подвести под них иной фундамент. Вниматель-
ный анализ множества более или менее серьезных попы-
ток дать универсально-историческое обоснование совре-
менной мировой ситуации необходимо приводит к выводу

о спорности всего того, что сделано до сих пор в этой области. Сомнения вызывают как методологические основы этих работ, так и их результаты. Это касается даже таких выдающихся трудов, как «Исследование истории» Тойнби. Необъятно разросшаяся масса эмпирического материала еще не проанализирована и не упорядочена настолько, чтобы можно было попытаться дать единую и связную картину истории человечества, внутри которой все было бы сравнимо со всем, потому что все родственно всему. В нашей конкретной исследовательской работе мы чрезвычайно далеки от представлений об истории как о едином эволюционном процессе, проходящем одни и те же ступени развития, или от теорий о тождестве жизненных процессов высших исторических культур, то есть от тех теорий и представлений, с помощью которых как раз и пытались суммировать эмпирический материал.

Тревожный разрыв между смелыми теориями универсальной истории и конкретными историческими исследованиями, как и прежде, погруженными в специфические детали, порождает настойчивое желание найти научные средства и методы для того, чтобы построить мост, который бы сделал возможным участие исторической науки и ее конкретных областей в создании основ новой универсальной исторической теории. И здесь мы сталкиваемся уже не с вненаучными потребностями, а с удовлетворением интересов, вырастающих из самой исторической науки и ее современных проблем. Следовательно, сравнительный метод не является самоцелью, как это иногда выглядит при его теоретическом обосновании. Он служит определенной познавательной задаче. Эта задача заключается в выработке максимально однородных приемов анализа обильного исторического материала, с тем чтобы включить его в состав единой универсальной исторической теории. Современный призыв к сравнению — это в первую очередь призыв к большей обобщенности исторических понятий, к подведению пугающе разросшейся массы конкретного под всеобщее. И чтобы уяснить современную ситуацию в исторической науке, необходимо ретроспективно проанализировать изменение содержания сравнительного метода. Этот анализ покажет нам, что сравнительные методы не являются самодовлеющими и могут служить самым различным целям. Последнее можно до-

казать на примерах историографии Просвещения, предшествовавшей историзму XIX века, самого этого историзма, различных направлений исторического позитивизма и, наконец, современной исторической науки, включившей в себя элементы предшествующих этапов. Именно потому, что в современной науке присутствуют все фазы исторического мышления прошлого столетия, мы и сталкиваемся сегодня с самым различным пониманием сравнительного метода.

II

Историческое мышление Просвещения исходило из одной основной идеи, согласно которой человек повсюду, на всех широтах и при любых исторических условиях представляет собою равно одаренное разумом существо. Хотя под влиянием своих страстей он может и сбиваться с пути, предписываемого разумом, но сами его заблуждения доказывают неизменность его природы. Расширившийся горизонт исторического знания и опыта, стремление познать историю экзотических народов вначале не поколебали устойчивости этой концепции. Сравнение европейских и неевропейских культур и исторических процессов в историографии Просвещения имело целью выявить тождественность человеческого рода в любых его исторических проявлениях. То обстоятельство, что этот всегда себе тождественный человек был не чем иным, как человеком культуры Просвещения, представляет собою теоретико-познавательную проблему первого ранга, о существовании которой даже не подозревал историк XVIII столетия. Скорее, как Вольтер, он стремился обнаружить «элементы сходства, параллели»² культуры Просвещения в других культурах мира и основать на них свою разновидность универсальной истории, эталоном (парадигмой) и основным масштабом которой было стремление человека к просвещению. Историография Просвещения не знала сравнительного метода в строгом смысле этого слова. Сравнение было как бы почти инстинктивно применяемым средством парадигматического доказательства основной идеи. Безусловно, время от времени возникали раздумья

² Цит. по Fr. Meinecke. Die Entstehung des Historismus, 1946 (2 изд.), S. 89.

о том, к чему ведет эта основная методологическая позиция, чего можно достичь с помощью такого сравнительного метода. Не кто иной, как Шиллер, в своей иенской вступительной речи 1789 года попытался оценить возможности сравнительного метода. Он исходил из того, что в исторической традиции существуют такие проблемы, которые оставляют неясными многие моменты мировой истории, превращая ее в «агрегат обломков», не заслуживающих даже имени науки. И далее он продолжает: «Но здесь на помощь приходит философский разум и, соединяя эти обломки при помощи искусственных связующих звеньев, превращает этот агрегат в систему, в разумное, связанное целое. Право на это ему дает тождественность и неизменное единство законов природы и человеческого духа. Именно это единство является причиной того, что события отдаленнейшей древности при появлении внешних аналогичных обстоятельств повторяются в новейшей истории. Оно дает нам возможность, наблюдая новейшие события, происходящие у нас на глазах, заключать о событиях, затерявшихся в доисторических временах, вырывать их из мрака прошлого. Метод заключения по аналогии в истории, как и во всех других областях, — мощное вспомогательное средство, но он должен основываться на возвышенных целях и применять его нужно осторожно и рассудительно»³. Это высказывание Шиллера заслуживает внимания по многим причинам: прежде всего перед нами одна из первых рекомендаций⁴ использовать сравнение и вывод по аналогии в качестве средства заполнения лакун исторической традиции, а сам этот логический процесс основывается на представлении об истории как «разумном связанном целом». Поэтому «времена, лишенные истории», могут быть познаны на основе «позднейших

³ Fr. Schiller. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Цит. по: Fr. Schiller. Sämtliche Werke (Hanser-München), 4 Band, Historische Schriften, S. 763.

⁴ Е. Шпрангер (E. Spranger. Die Kulturzyklentheorie und das Problem des Kulturverfalls (Sitz.-Ber. der Pr. Akad. d. Wiss. 1926/27, Phil.-Hist., Kl., S. 5) усматривает в этом высказывании Шиллера влияние А. Фергюсона (A. Ferguson. An essay on the history of civil society, 1766). В свою очередь Фергюсон опирался на работу иезуита Лафитена (Lafitau. Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps), следовательно, на работу, построенную на принципах «сравнительного метода».

явлений» — метод, который теория Просвещения и ее великие представители использовали неоднократно. Сравнение по аналогии у Шиллера, таким образом, выступает в том же самом идейном контексте, что и парадигматическое. Однако оба эти типа сравнения можно применять и разрабатывать по-разному. Поэтому уже здесь мы можем говорить о некоторых основных формах сравнительного метода исследования. Парадигматическое сравнение стремится установить тождество явлений, принимаемое за всеобщий закон. Сравнение по аналогии, исходя из тождественного, стремится сделать вывод о неизвестном. Оно также основывается на представлении о тождестве как общезначимой норме. Таким образом, сравнение по аналогии без всяких переходов становится обобщающим сравнением, когда на основании одной обпаруженной аналогии, аналогии между отдельными конкретными случаями, делают вывод об аналогии во всех остальных случаях⁵.

Уже здесь видны нити, восходящие к значительно более поздним фазам исторического мышления. В меньшей степени, может быть, это относится к парадигматическому сравнению, дедуктивная структура которого, то есть характерное для него выведение исторических фактов из всеобщих понятий, прослеживается самое большее до систематической философии истории Гегеля и ее преобразования у Маркса, хотя и в том и другом случае оно выступает в весьма измененной форме. Напротив, аналогическое сравнение долгое время составляло суть того, что в XIX веке вообще понимали под сравнительным методом. Здесь можно сослаться хотя бы на некоторые важнейшие филологические теории этого рода, например гипотезу К. Лахмана о Нибелунгах, возникшую под воздействием анализа гомеровского эпоса в работах Ф. Вольфа, или на всю систему сравнительных лингвистических дисциплин от братьев Шлегелей и Вильгельма Гумбольдта до реконструкции индогерманского праязыка Августом Шлейхером включительно⁶. Ближе, чем лингвистика, к истории нас

⁵ Об аналогии в этом плане см. в статьях: Fr. Wagner. *Analogie als Methode geschichtlichen Verstehens*, *Studium Generale* Bd. VIII, 1955, и Josef Engel. *Analogie und Geschichte*, *Studium Generale* Bd. IX, 1956.

⁶ Описание междисциплинарного применения сравнительного метода см.: E. Rothacker. *Logik und Systematik der Geisteswis-*

подводит сравнительное правоведение, примыкавшее в эпоху юридического позитивизма к видоизмененной естественноправовой традиции⁷. И здесь повсеместно — хотя и не исключительно — применяется метод сравнения по аналогии.

В самой истории сравнительным методом в этом его понимании пользовались значительно меньше. Хотя, как мы увидим далее, она и располагает методами сравнения, они, как правило, имеют иную природу и происхождение. Элементы аналогического сравнения могут быть найдены даже у основателя критического исторического метода Бартольда Г. Нибура*, а именно в его теории римского народного эпоса, которую он стремился обосновать на трудах Ливия. В целом, однако, великие представители критической исторической науки в Германии, и прежде всего Леопольд фон Ранке, редко использовали сравнительный метод, а иногда даже совершенно недвусмысленно отвергали его⁸. Поэтому вызывает удивление, что в основополагающих работах XIX века по методологии исторической науки именно эта форма сравнительного исторического исследования выступает как основная форма сравнительного метода, а ее значение повсеместно подчеркивается. И. Г. Дройзен** в своей «Историке» в разделе «Прагматическое объяснение» (§ 39)⁹ рассматривает логический процесс, который, основываясь на «простом доказательстве», приводит к прагматическому истолкованию событий. Даже если мы располагаем достаточным количеством материалов, то есть источников, то и в этом случае мы сталкиваемся с воздействием на наши размышления некоторого иного фактора. «Как скульптор, реставрирующий старый торс, руководствуется аналогиями, почерпнутыми из его опыта лепки человеческого тела, так и мы воспроизводим природу явления, основываясь на нашем более широком опыте, на знании аналогичных

senschaften, 1926, S. 91ff., и его же статью: Die vergleichende Methode in den Geisteswissenschaften. B: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaften, 60, 1957, S. 13ff.

⁷ Основанный в 1878 году Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaften выдвигает программу, обнаруживающую сильное влияние истории.

⁸ Прежде всего Георг фон Белов (G. v. Below).

⁹ J. G. Droysen. Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, hrsg. v. R. Hübner, 1958 (3 изд.), S. 156.

отношений». На примере упадка крестьянского сословия в Англии и Уэльсе Дройзен показывает, что «прагматическая связь этих фактов» может быть объяснена на основе аналогий из континентальной аграрной истории. «В данном случае сравнительный метод, с помощью которого мы объясняем некоторый фрагментарно нам данный X, настолько ясен, что простое описание аналогий, имеющих место в этом случае, вполне достаточно для доказательства правильности нашего отождествления. Но как быть, когда для этого случая X в нашем опыте нет соответствующих аналогий?» Последнее Дройзен рассматривает на примере, заимствованном из «Афинской политики» и относящемся к изменению государственного устройства Клизфеном. Хотя в этом примере для нас и нет подходящих аналогий, но «ряд движущих мотивов», стоящих за этим конституционным преобразованием, можно выявить путем сравнения с изменениями конституционного устройства Рима, которые проливают свет на отношения, существовавшие в Аттике. В «Очерке истории» Дройзен говорит об «анalogии между двумя X» и о процессе сравнения, основывающемся на установлении между ними отношений взаимодополнения¹⁰. Он еще основательнее конкретизирует свою теорию аналогического сравнения, когда на примере войны 1805 года и анализа целей Наполеона пытается развить «несколько видоизмененную концепцию сравнительного метода»: «На основе тех общих представлений о характере действий Наполеона, которые мы получили, анализируя его политику и методы ведения войны, мы можем сделать вероятный вывод и в сомнительных случаях»¹¹. Следовательно, здесь речь идет о некотором имманентном сравнении, при котором дедуктивно умозакljučают от целого к его отдельным частям — процесс, обязательно присутствующий в творчестве каждого историка.

Следовательно, вполне очевидно, что Дройзен предлагает чрезвычайно рафинированную теорию аналогического сравнения, из которой полностью устранена ошибка позитивизма, а именно убеждение в возможности реконструировать прошлое в его структурных особенностях как факты современной действительности. Исторический позити-

¹⁰ Ibid. S. 340.

¹¹ Ibid. S. 162.

визм второй половины XIX века не всегда поднимался до столь тонкой дифференциации сравнительного метода, какую мы встречаем у Дройзена. Однако его преимущество состояло в том, что он находил простые методические правила именно там, где у Дройзена многое оставалось еще неясным.

Эрнст Бернхейм * рассматривает проблему сравнительного метода в своем популярном «Учебнике исторического метода и философии истории», впервые опубликованном в 1880 году. Эта проблема анализируется им в связи с «сопоставительным исследованием источников»¹². Бернхейм определяет этот метод просто как «сравнительное рассмотрение тождественных или подобных процессов в различных рядах фактов» и скорее предостерегает от опасности его ошибочного применения, чем рекомендует его. Он разграничивает индуктивные выводы и выводы по аналогии, понимая под первыми логические выводы, когда от относительно большего количества известных случаев заключают о неизвестных случаях той же самой сферы. Следовательно, его понимание индуктивного вывода совпадает с тем, что мы описывали выше с помощью понятия обобщающего сравнения. Главный источник ошибок в выводах такого рода заключается в том, что последние делают на основании недостаточного числа известных случаев. По Лоренцу фон Штейну **, это одна «из основных ошибок всех этнографо-социологических исследований». К не менее серьезным ошибкам может привести, по Бернхейму, неправильное применение заключения по аналогии. В данном случае основным источником ошибок является недоказанность совпадения существенных признаков сравнительных случаев или объектов, так как только на основании такого совпадения мы и можем заключить о большей или меньшей степени тождества иных, неизвестных нам «признаков». Между тем выводы подобного рода часто основываются либо на совпадении несущественных признаков, либо на недостаточно доказанном совпадении существенных признаков, либо на совпадении этих признаков только в одном отношении. Возникающие при этом ошибочные выводы часто подкрепляются теорией, согласно которой развитие народов всегда и везде проходит определенные тождественные по своему содер-

¹² S. 565ff., в издании 1903 г.

жанию ступени. Так появляются теории культурных фаз, культурно-исторических типов, теории закономерного развития истории. Бернхейм отвергает все это как ошибочное, так как его собственные взгляды в значительной степени определяются полемикой с социологическим позитивизмом и его историческими обобщениями. Это было типично уже для Дройзена. Аргументы, выдвинутые историками в их борьбе с «генерической» концепцией историографии К. Лампрехта*, встречаются и у Бернхейма. В еще более резкой форме они выступают у Георга фон Белова**, который критикует сравнительный метод, исследуя развитие теории общинного землевладения как универсально-исторического явления. Гипотеза универсальности общинного землевладения представляется ему ярким доказательством недолговечности теорий, подкрепляемых аналогиями; их повсеместное признание сменяется столь же полным забвением¹³.

III

До сих пор мы не обращали внимания на то обстоятельство, что историческая мысль XIX века не просто восприняла и усовершенствовала идейные стимулы XVIII века, но под влиянием нового метода мышления впервые поднялась до уровня науки. Этот новый метод мышления, который мы сегодня, после работ Трёльча и Майнеке, обозначаем термином «историзм», не вкладывая в него каких-то отрицательных оценочных моментов, дал истории ту направляющую линию, которая позволила Г. Риккертту построить законченную теорию исторического познания. В ее основе лежало понятие индивидуальности как предмета исторического познания в собственном смысле этого слова. Предполагая, что читатель знаком с этой теорией, мы сразу же поставим следующий вопрос в плане нашего исследования: какое значение она могла иметь и имела для теории и практики сравнительных исследований?

Совершенно естественно, что принятие этой теории познания вызвало отрицательное отношение к сравнительному методу. Более того, его стали рассматривать как

¹³ G. v. Below. Probleme der Wirtschaftsgeschichte, S. 1ff.

отрицание самой идеи неповторимой исторической индивидуальности. Дройзен видел в заключениях по аналогии только вспомогательное средство исторического исследования и вообще не анализировал онтологические и ценностные проблемы, связанные с его применением. Уже само это умолчание можно считать своего рода критикой. У Риккерта * мы наблюдаем то же самое. В своей работе «Границы естественнонаучного образования понятий» (первое издание 1902 г.), заложившей основы теории познания исторических наук, Риккерт относит сравнение к методологии наук естественных. Там, где речь идет о предустановленных формах тел, существующих в определенных, резко очерченных областях действительности, разносторонний процесс сравнения позволяет выделить из множества явлений существенное. Что же касается исторических индивидуальностей, то для радикального идеографического метода Риккерта они не обладают никакой «телесностью» даже в фигуральном смысле этого слова. Поэтому они не могут быть подвергнуты какому-либо морфологическому рассмотрению ¹⁴.

Эрнст Трёльч ** в своей большой работе, посвященной историцизму («Историцизм и его проблемы. Книга I: Логическая проблема философии истории», 1922 г.), еще в большей степени усложняет вопрос. Он настолько утрирует принцип индивидуальности, что на основании этого категорически отвергает любые попытки синтетических построений в истории человеческой культуры и определяет подлинную универсальность как «жизненную силу индивидуальных форм, пронизывающую все явления сущего» ¹⁵. Эта почти отчаянная попытка достичь абсолютного с помощью крайнего историцизма заставляет Трёльча вынести свой приговор губительным крайностям сравнительного метода, в которых он усматривает три основные ошибки современности: ¹⁶ во-первых, ошибочное убеждение в том, что абсолютная система ценностей представляет собой совокупность ценностей, появившихся на различных этапах развития истории; во-вторых, что каждая отдельная ценность имеет общее значение для всего

¹⁴ H. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 1929 (5 изд.), S. 111.

¹⁵ E. Troeltsch. Der Historismus und seine Probleme 1, 1922, S. 186.

¹⁶ Ibid. S. 190.

человечества и поэтому ее можно проследить во всех разделах всемирной истории, равно охватывающей как ботокудов и камчадалов, так и современных парижан и берлинцев; и, в-третьих, что любая такая универсальная тенденция развития проходит ряд закономерных ступеней, зная которые можно выяснить направление современного развития. Здесь обнаруживается резкое противоречие истористского стиля мышления и его подхода к проблеме универсальной исторической тенденции с учением о мировой истории, возникшим еще в период Просвещения, — учением, согласно которому все в истории сравнимо со всем, потому что все тождественно всему. Именно этой теории историцизм постоянно противопоставляет свое понимание истории как развития индивидуальности, которое следует анализировать изнутри, а не на основе представлений о человечестве в целом. У нас сейчас нет необходимости решать, какая из сторон была права в этом бесконечном споре. Влияние новых всемирно-исторических факторов, возникновение мировой цивилизации, стремящейся к единству, изменило масштабы этого спора и отчасти сняло сегодня самую остроту конфликта. Теория Трёльча интересует нас только потому, что в ней устанавливается определенное отношение между философско-историческим принципом и сравнительным методом. Трёльч выходит в ней за рамки чисто методической постановки вопроса.

Но если мы продолжим анализ этой теории, то мы найдем в ней положения, которые восстанавливают возможность проведения сравнения даже и для этого крайнего индивидуализма. Так, мы читаем у Трёльча: «Сравнение могло бы помочь лучшему пониманию специфических сторон отдельных явлений, и поэтому оно вполне уместно в так называемых систематических исторических науках. Но в истории можно сравнивать только одно конкретное событие с другим конкретным событием, речь может идти только о взаимосвязи соприкасающихся, борющихся или специфически выделенных событий, которые не могут быть оторваны от их общей и конкретной культурной основы»¹⁷. Сравнительный метод Трёльч определяет в конечном счете «как вспомогательное средство для истории в собственном смысле слова. Она использует его со всеми

¹⁷ Ibid. S. 191.

его аналогиями и уподоблениями лишь в целях лучшего понимания своего предмета, именно как индивидуального и особенного».

Это такая формулировка основного принципа сравнительного метода, которая одна только и может быть совмещена с принципами историцизма, а именно — определение сравнительного метода как индивидуализирующего сравнения. Вильгельм Дильтей * весьма удачно сформулировал внутренне присущую историцизму потребность в подобном сравнении: «После того как ...историческая школа отказывается от выведения всеобщих истин с помощью абстрактного конструирующего мышления, сравнительный метод становится для нее единственным средством достижения обобщающих истин. Этот метод она применила при исследовании языка, мифа, национальной морали, а сравнение римского и германского права, научное познание которого расцвело именно в это время, стало исходным пунктом применения данного метода также и в области права»¹⁸. В другом месте читаем: «Предвосхищение и сравнение нераздельны во времени. Мы никогда не сможем отбросить индивидуализирующего сравнения»¹⁹. Что же означает этот индивидуализирующий сравнительный метод применительно к конкретной работе историка и, далее, возможно ли совместить выявление исторических индивидуальностей через их отграничения и противопоставления друг другу с выработкой общих категорий путем сопоставительного рассмотрения этих конкретных, исторически-индивидуальных форм?

Ранке мастерски использовал обе эти формы индивидуализирующего сравнения, хотя он и не отдавал себе отчета в их методологическом содержании. Чтобы убедиться в том, что он использовал сравнение и противопоставление для выявления исторической специфики объекта, достаточно посмотреть первую главу его «Введения» в «Историю римских пап», в которой возникновение христианства в римском государстве изображается в постоянном сопоставлении с другими античными религиями. Речь прежде всего идет о противопоставлении Христа и императора как предмета культового поклонения. «Поклонение

¹⁸ W. Dilthey. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Ges. Schriften VII, 1961, 3 изд. S. 99.

¹⁹ Ibid. S. 226.

божественному гению императора, по-видимому, было единственной формой общеимперской религии. Все иные культы приспособлялись к ней, она же была их основой. Культ Цезаря и учение Христа по отношению к местным религиям обладали некоторым сходством. Но вместе с тем они настолько противоречили друг другу, что остроту этого противоречия просто невозможно преувеличить. Император воплощал религию в ее крайне мирской форме, связывая религию с землей и ее дарами, ибо ему было передано и то и другое, говорит Цельс. Все, чем люди обладали, восходило к нему как к своему источнику. Христианство же воплощало в себе полноту духа и истину неба. Император объединял государство и религию, христианство отделяло божье от кесарева. Жертвуя императору, человек признавал свое величайшее рабство. Именно в этом объединении религии и государства, полностью отсутствовавшем в прежнем общественном устройстве римлян, и выражалось их закабаление. Христианский запрет жертвоприношений императору был актом освобождения. И наконец, поклонение императору имело силу только в границах империи, в этой мнимой вселенной, христианство же было полно решимости охватить весь мир, все человечество...» И не только у Ранке можно найти бесчисленное множество других примеров использования данного метода, непосредственно вытекающих из потребности индивидуализации.

Что касается второй формы метода — восхождения от особенного к всеобщему путем сравнения различных форм особенного, — то ее Ранке использовал уже значительно более осознанно. Он размышлял над этой формой в своих «Политических беседах»: «Отправляясь от особенного, ты сможешь смело и обдуманно подняться до всеобщего. От всеобщих же теорий нет пути к созданию особенного». Ранке применяет это правило в своем знаменитом очерке «Великие державы», где он говорит о «множественности отдельных восприятий», из которых «непроизвольно вырастает понимание их единства». Индивидуальное, особенное не может быть выведено дедуктивным путем из общего понятия. Оно входит в качестве члена в собирательное понятие: «Из обособленного и имманентного развития возникает истинная гармония». Так Ранке приходит к описанию отдельных держав и их специфических структурных принципов, к которым впоследствии в своих

«Берхтесгаденских беседах» он снова вернется, определяя их как католически-монархический (Франция), германско-морской парламентарный (Англия), католически-монархический-немецкий (Австрия), славянско-греческий (Россия) и немецко-протестантский-военно-административный (Пруссия) принципы²⁰. В «Великих державах» Ранке формулирует эти принципы в результате точного процесса сравнения, индивидуализирующие тенденции которого сказываются преимущественно в том, что каждая из описанных держав воплощает самостоятельную идею и, более того, является самой этой идеей. Целое конструируется из частей, имеющих свои характерные особенности. Очевидно, здесь мы обнаруживаем переход к новой форме сравнительного метода, к тому синтетическому сравнению, которое можно назвать высшим достижением историцизма в рассматриваемой области. Эта форма отличается как от обобщений, necessarily содержащих неисторические элементы, так и от детерминированных эволюционных рядов, для которых постулируется общая схема истории человечества. Она обнаруживает почти неисчерпаемую способность конструирования синтетических совокупностей исторической жизни, коль скоро нам даны простые единицы государственно-исторического или национально-исторического характера.

Индивидуализирующее сравнение ведет к синтетическому сравнению, с помощью которого можно воспроизвести «индивидуальные целостности», как их впоследствии назовут Макс Вебер и Эрнст Трёльч, воспроизвести не только в их особенности и конкретности, но и в их единстве в качестве тотальностей высшего логического порядка («великие державы»). Тот же метод индивидуализирующего сравнения может быть использован для достижения лишь одной из двух вышесформулированных целей, а именно для выявления особенного, специфического. Так, Отто Хинце* в своем знаменитом исследовании «Всемирно-исторические предпосылки представительных форм правления»²¹ использует этот тип сравнения только для того, чтобы обнаружить уникальность сословного полити-

²⁰ L. v. Ranke. Über die Epochen der neueren Geschichte, 7. Kapitel, Ende des 19 Vortrages.

²¹ Otto Hintze. Staat und Verfassung, Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, Ges. Abhandlungen, Bd. 1, 1962, S. 140.

ческого устройства Западной Европы. Хипце выступает против теории, которая видит в представительных формах правления следствие всеобщего социологического закона. Он сопоставляет социальные и политические условия в пределах Европы и вне ее, с тем чтобы понять причину своеобразного развития Западной Европы. Эту причину он усматривает в уникальных формах образования государства и политической сферы западноевропейской истории. Применение сравнительного метода в данном случае приводит к выделению различий, особых отличительных черт — результат, который можно считать достоверным только при очень тщательной и обоснованной методологии исследования.

Трудности метода, основанного на выделении *одного* причинного ряда и устранении других возможных причинных зависимостей, состоят прежде всего в том, что при его применении возникает тенденция игнорировать сложный характер исторических явлений. Опасность слишком поспешных выводов здесь так же велика, как и в случае синтетического сравнения. Но в синтетическом сравнении к ней присоединяется дополнительная опасность уклонения исследования в сторону чисто эстетических построений и морфологического рассмотрения предмета, часто основывающегося только на формальном сходстве²². Теория познания исторической науки при изучении сравнительного метода весьма мало, а иногда и вовсе не считалась с такими возможностями. В литературе имеются лишь отдельные замечания, предостерегающие от подобных ошибок²³. По-видимому, историографическая практика в этой области поступает весьма беспечно, пользуясь методом, границы и возможности которого точно не исследованы.

Все это прежде всего относится к синтетическому сравнению, которое представляет собою наиболее интересную и богатую форму сравнительного исследования исторических явлений. Здесь в первую очередь следовало бы поставить вопрос о том, какие виды синтеза могут быть осуществлены с его помощью, так как, только решив

²² На эту опасность указал граф Пауль Йорк фон Вартенбург в своей переписке с Дильтеем.

²³ Критика формальных аналогий как метода познания дается еще Гегелем в его «Науке логики» в учении о сущности.

этот вопрос, мы сможем разграничить более простое в методологическом отношении синтетическое индивидуальное понятие (например, просвещенный абсолютизм реформ Иосифа II) и более сложное понятие типа, в котором, коль скоро речь идет об идеальном типе, мы можем подчеркивать и соединять некоторые конкретные черты действительности или, в зависимости от задачи исследования, исключать их из нашего рассмотрения. Такие типы получили свое методологическое обоснование у Макса Вебера. Его теория идеального типа была воспринята и усвоена многими историками. Яркий пример этого мы находим в работе Отто Хинце.

Зависимость между «идеальными типами» Вебера и сравнительным методом заслуживает более тщательного рассмотрения. Вебер скорее постулировал свои идеальные типы, чем дал подробное и точное описание процесса их образования. Однако представляется бесспорным, что он связывал их возникновение с синтетическими процессами мышления. Иногда он прямо говорит о них как о «синтезах исторической мысли»²⁴. По Веберу, определяющую роль в их возникновении играет как «одностороннее выдвижение одной или нескольких точек зрения», так и «связывание некоторой совокупности диффузных и дискретных явлений, которые в одном месте выступают более, в другом менее полно или даже вообще отсутствуют» и которые, «подчиняясь односторонне подчеркнутой точке зрения, соединяются в цельную логически законченную картину». В своей теории Вебер пытался строго логически определить синтетические методы исторического мышления. Однако существенно при этом то, что идеальные типы рассматриваются им не как цель, а как средство, как «концептуальное средство сравнения и измерения действительности». По своей природе они «чисто идеальные предельные понятия», «которыми измеряется действительность для выявления определенных сторон ее эмпирического содержания; действительность сопоставляется с ними». Отсюда ясно, что, хотя идеальные типы и являются продуктом синтетического сравнительного метода, их подлинное назначение состоит в том,

²⁴ M. Weber, Die Objektivität sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischer Erkenntnis. В кн.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 1922, S. 194. Другие цитаты из этой же работы.

чтобы служить опорой исторической индивидуализации. Хишце в уже цитированном нами примере точно следовал идеям Вебера.

Гораздо чаще, однако, историки удовлетворяются просто синтетическими индивидуализирующими понятиями, которые не без основания считаются неотъемлемыми элементами повседневного научного аппарата историка. Подлинная плодотворность исторического исследования измеряется его способностью с помощью синтетического сравнения определить новые, до сих пор неизвестные исторические индивидуальности либо его способностью наполнить абстрактные понятия конкретным историческим содержанием. Из множества примеров использования сравнительного метода для этих целей я остановлюсь на двух работах: Г. Миттейс, «Государство в эпоху позднего средневековья. Основы сравнительной конституционной истории феодализма» (1940, 1958) и Р. Р. Палмер. «Век демократических революций. Политическая история Европы и Америки, 1760—1880 гг.» (т. I, 1959; т. II, 1964). Миттейс стремился объяснить средневековые формы личной власти, к которым он относит и государство, исходя из исторических условий, причем под последними он прежде всего понимает исторические основы образования государств в Западной Европе. С этой целью он и обращается к сравнительному методу. «Только с помощью сравнения мы можем выделить существенное в каждом отдельном государстве, оно учит нас отделять случайное от закономерного, исключительное от типичного». Здесь речь идет как о методе индивидуализирующего, так и о методе синтетического сравнения, но преимущественная роль все-таки отводится первому, то есть это попытка с помощью сравнения придать живые краски общему, нормативному понятию государства²⁵.

У Палмера синтетические задачи сравнения выступают яснее, чем у Миттейса. Он стремится с помощью понятия «демократическая революция» охватить всю историю западноевропейского мира, включая Америку. Сле-

²⁵ Как раз сравнительный метод в той форме, в какой его применяет Миттейс, подвергается резкой критике. Так, Кл. фон Шверин (Zeitschr. der Savigny-Stiftung, Germanist. Abt. 62, 1942, S. 240) пишет: «Сопоставление развития в отдельных государствах дает материал, подлежащий сравнению, но не является сравнением».

довательно, он создает новую широкую историческую категорию, включающую в себя целый ряд различных процессов, для обозначения которых уже во времена Якоба Буркхардта и Ранке (в его работах по новой истории) применялась аналогичная терминология. Палмер сам совершенно недвусмысленно говорит об «историческом синтезе» как цели своих построений, определяя его как «попытку сравнительной конституционной истории Западной цивилизации». Сравнительный метод применяется здесь достаточно полно. Палмер использует оригинальную терминологию, которая хотя и опирается на прежние обобщения, например демократ, аристократ и др., однако никогда не покидает историческую почву. Работу Палмера можно считать одной из удачнейших попыток обосновать плодотворность сравнительного исторического метода, и потому именно, что она никогда не выходит за рамки строго историографического исследования.

IV

Как бы ни был распространен в настоящее время сравнительный метод, выросший на базе строго исторического мышления, мы не можем сказать, что только он один характерен для современного состояния науки. Скорее, верно обратное — в современной науке господствуют иные, противостоящие историцизму тенденции. Здесь прежде всего следует упомянуть старую, развиваемую уже в XVIII веке эволюционную схему, в соответствии с которой все народы и культуры проходят одни и те же ступени развития. Эта схема оказывает на отдельные науки, такие, например, как этнография, громадное воздействие и устраняется с чрезвычайным трудом, хотя она и не соответствует результатам современных исследований. В области исторической науки эта схема в виде, например, теории трехстадийной эволюции Огюста Конта сыграла значительную роль. Она и до сих пор сохраняется с некоторыми модификациями.

Несколько иначе обстоит дело с культурно-морфологическими системами, с теорией высших культур и «нормальным» их развитием, ставшими благодаря Тойнби весьма влиятельными после второй мировой войны. Но и он не может избежать опасности, связанной с заключения-

ми по аналогии от достаточно исследованных исторических эпох к эпохам менее исследованным, несмотря на то что он рассматривает 21 тип высшей культуры. Понятие эволюционно-исторической одновременности, впервые употребленное Шпенглером, у Тойнби еще более «де-историзовано».

Вырывая цивилизации из потока исторического времени, он превратил их в квазиобъективные предметы исследования с той свойственной им телесностью, которую Риккерт отрицал у исторических индивидуальностей. Высшие культуры, пишет Тойнби в своем методологическом введении «Сравнимость цивилизаций»²⁶, уже потому обладают общими чертами, что они являются «интеллектуальными единствами исторического исследования: действительно, мы утверждаем, что наши двадцать одно общество должны рассматриваться гипотетически как одновременные и равноценные в философском смысле»²⁷. Когда культуры превращаются таким образом в сравнимые единицы, они кажутся искусственно созданными в лабораторных условиях стерильными объектами, с которыми можно производить любые эксперименты. Их можно сравнивать как угодно и прежде всего обобщающим способом. Тойнби часто по аналогии с одной культурой делает заключения о всех культурах. Между тем его основные категории (универсальное государство, переселение народов, внутренний и внешний пролетариат, господствующее меньшинство)²⁸, которые первоначально мыслились и создавались им как категории, выражающие родство современной культуры с античной, ясно показывают, что и творец этой величественной исторической концепции не избежал некоторой внутренней психологической тенденциозности. Последняя обнаруживается в его понимании современной культуры и в тех прогнозах, которые он делает на этот счет. Сравнения в данной исторической системе являются главным методологическим средством, ибо вся она основывается на формальном законе аналогии, а каждая отдельная аналогия подтвержда-

²⁶ A. J. Toynbee. *A Study of History*, Сжатое изложение томов I—VI Соммервелля, 2-е изд. 1949 г. S. 41.

²⁷ Toynbee. *Op. cit.*, S. 43.

²⁸ Toynbee. *Op. cit.*, S. 12.

ст основной закон целого. Тем самым мы приходим к крайним формам обобщающего сравнения.

Анализируя современное состояние исторической науки с ее предрасположенностью к сравнительным методам исследования, необходимо учитывать еще и некоторую третью силу, по-видимому, оказывающую значительное влияние в этом плане, а именно социологию. В общественном признании она уже догнала, если не перегнала, исторические науки. Притязанию исторической науки на обладание собственным методом, которое оспаривалось уже в конце прошлого века, она противопоставляет теорию единства научной логики. Социология стремится выявить закономерности социальной действительности и тем самым устранить историю как простого регистратора фактов. Да и сама историческая наука, как это яснее всего наблюдается во Франции и США, пытается иногда доказать свою научность, применяя социологические методы. Возникает вопрос: как все это влияет на использование сравнения в качестве методического принципа?

Прежде всего следует указать на то, что исторические науки, усваивая социологические теории, могли бы почерпнуть в них развитую теорию сравнительного метода. В своих существенных чертах она была сформулирована Эмилем Дюркгеймом в его работе «Правила социологического метода» (1895 г.)²⁹. Дюркгейм начинает свою работу с рассмотрения индуктивного метода Милля³⁰: метод сходства и различия и так называемый метод остатков. Правила индуктивной логики Милля представляются ему малопригодными для анализа социальных явлений, так как последние слишком сложны и запутанны, чтобы можно было утверждать, что сравниваемые случаи сходны только в одном пункте (метод единственного сходства) или же различаются только по одному признаку (метод единственного различия). Дюркгейм считает, однако, что эта критика не распространяется на метод параллельных или сопутствующих друг другу изменений двух явлений. В данном случае, с его точки зрения, не

²⁹ Немецкое издание под названием "Die Regeln der soziologischen Methode" переведено и снабжено вступительной статьей. (R. König, Soziologische Texte, Bd. 3, S. 208.)

³⁰ Дж. Милль.— В кн. «Система дедуктивной и индуктивной логики», т. 3, кн. 8, гл. «Четыре метода экспериментального исследования».

требуется строжайшего исключения всех иных, несходных изменений, ибо представляется бесспорным, что «если два пути эволюционного развития параллельны в целом, то должен иметь место и некоторый параллелизм сущностей, выражающихся в данном развитии». Необходимо только, чтобы этот параллелизм был установлен с помощью достаточного числа достаточно разнообразных случаев.

Эта теория Дюркгейма не только стремится отграничить социальные явления со всей их сложностью от явлений природы, на которых строит свою логическую теорию Милль. Важной стороной метода параллельных изменений является то, что в конечном счете он делает возможным применение количественного подхода к анализу социальных явлений, который может быть использован, как мы это видим на примере школы Анналов *, и в исторических дисциплинах. В еще большей мере, чем основная структура цивилизации у Тойнби, дюркгеймовские «социальные факты» могут быть выражены количественно. Это открывает перед сравнительным методом новые возможности, далеко уводящие нас от теорий естественнонаучного позитивизма XIX века, а сам предмет исторического исследования предстает как статистическая вневременная величина. Сопоставимость количественно определенных множеств значительно увеличивается по сравнению с сопоставимостью исторических индивидуальностей, определявшихся преимущественно качественным методом. Плодотворность этого метода, даже если его применение ограничивается областью квалифицируемых фактов, еще не проверена, и сегодня трудно высказать решительное суждение по этому поводу. Однако бесспорно, что полное и простое включение истории в область действия законов, открытых социологическим методом, не может иметь места. Дальнейшее усовершенствование сравнительных методов, основывающихся на принципах индивидуализирующего и синтетического сравнений, показывает, скорее, что история начинает удовлетворять собственными силами растущую потребность в большей обобщенности своих положений. Ее предмет по-прежнему остается область конкретного, единичного во взаимосвязях событий, структура личности и институтов. Она должна, конечно, уметь обобщать это особенное. Но она не может рассматривать свой предмет коли-

чественно, статистически, вырывать его из потока времени, устанавливая «монокаузальные» зависимости. Объекты ее исследований остаются связанными с конкретным историческим временем. Они даны в становлении самоосуществляющейся сложной действительности, формы и контуры которой исчезают так же быстро, как и возникают. Именно поэтому историк постоянно вынужден пользоваться вспомогательными конструкциями, абстрактными историческими понятиями, типами и моделями. Отсюда историк обращается и к сравнению, которое только и может помочь ему понять индивидуальное как индивидуальное и вместе с тем как всеобщее. Но при этом он обязательно должен осознавать, что сравнение и сравнительный метод имеют только вспомогательное значение и никогда не должны рассматриваться как самоцель. Их значение зависит от конкретной задачи исследования. Если эта задача не ясна, то сравнительный метод становится дилетантским упражнением и вырождается в произвольную игру.

В заключение мы попытаемся сформулировать несколько основных правил, которые нужно учитывать при применении сравнительного метода:

1. Во всех случаях применения сравнительного метода необходимо критически исследовать, какая из вышеописанных форм сравнительного метода наиболее отвечает данной конкретной цели исторического исследования и поэтому должна быть использована в нем. Анализ функций сравнения выявил сосуществование различных форм сравнительного метода, которые мы обозначили как парадигматическую, аналогическую, обобщающую, индивидуализирующую и синтетическую.

2. По-видимому, можно считать, что современное состояние науки выдвигает на первый план синтетические формы сравнения, представляющие собой соединение индивидуализирующего и обобщающего сравнительных методов. Это положение в известной мере отпослется и к квантифицирующим формам структуралистской истории, возможности которой еще, безусловно, не исчерпаны.

3. Синтетическое сравнение представляет собою метод научной историографии. В ряде случаев только этот метод и позволяет нам выделить исторические индивидуальности более высоких порядков.

4. Эти индивидуальности ни логически, ни методологически не могут быть отождествлены с идеальными типами, так как в отличие от последних они мыслятся как исторически реальные. Однако результатом синтетического сравнения могут быть и такие идеальные типы, которые рассматриваются в качестве исторических понятий, отображающих ограниченную, стилизованную действительность. Все эти виды понятий не имеют резко очерченных границ.

5. Применение сравнительных методов должно быть ограничено рамками действительно сравнимых исторических единиц. Они не могут быть применены к любым историческим явлениям. Условием возможности сравнения является наличие некоторой общей базы, некоторой однородности сравниваемых явлений. Сами же эти явления должны входить в некоторые чувственно данные и чувственно верифицируемые комплексы, к которым могут быть отнесены циклы культуры, социальные структуры, эпохи, государства, нации и, с известным ограничением, морфологические подобию в смысле Шпенглера или Тойнби. Многие говорят за то, что сюда также могут быть включены и некоторые типичные формы протекания исторических процессов, повторяющихся во многих эпохах, как это, например, с успехом сделал Якоб Буркхардт в своих «Всемирно-исторических размышлениях». Напротив, формально аналогичные исторические явления, имеющие только внешнее сходство, не могут быть сравнимы³¹. При сравнении институтов, которое является весьма плодотворным само по себе, следует особенно тщательно разграничивать внешние аналогии и внутреннюю тождественность структур. Сравнительные методы могут основываться только на последней.

6. Никогда не следует забывать, что сравнение в исторической науке не представляет собою чего-то нового. Оно — всего лишь одно из методологических средств, существующее наряду со многими другими³². Правильно

³¹ Утверждение «Все политическое может быть сравнимо» американского политолога Липсона Л. (*The comparative method in political studies*. — «The Political Quarterly», 28, 1957, p. 374) представляется мне неверным именно в силу своей всеобщности.

³² Л. Готтшальк (*Categories of historiographical generalization*. В: «Generalization in the writing of history, 1963, p. 113) говорит даже о «школе обобщений, основанных на сравнениях». При этом,

примененное к сравнимым объектам, оно может внести существенный вклад в расширение возможностей исторического познания и обогащения опыта историка. Сравнительные методы предоставляют в распоряжение историка инструмент, пользуясь которым, он в состоянии охватить с более широкой точки зрения все возрастающую массу источников и фактов, бесконечно большое разнообразие тенденций и мнений в исторической науке, уже ставшей универсальной. Но если он отбросит указанные правила строгого исследования, он окажется перед опасностью превращения универсальности истории в обманчивый фантом, превращения, в котором историческим явлениям разных эпох и народов произвольно приписывается тождественность и тем самым теряется истинная природа исторического.

однако, он понимает под этой «школой» образование групп на основе методического единства их изучения. В самой же статье речь идет по преимуществу об «обобщающей историографии».

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

(К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ КРИЗИСЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ)

В современных дискуссиях о состоянии и задачах исторической науки значительное место занимают проблемы структурного подхода к историческим явлениям. Они встают перед историком прежде всего потому, что оценка и интерпретация общественно-исторических процессов с точки зрения исторических структур или некоторых выходящих за рамки отдельной личности систем все более распространяется не только в научном, но и в общем сознании нашего века. Возникнув в социологии, этот стиль мышления угрожает обесценить всякое значение личности как силы, созидающей историю, и тем самым устранить любые нравственные критерии из оценок исторического процесса. Историческая наука, вынужденная перед лицом подобной угрозы заняться этим вопросом, могла бы между тем обнаружить, что у нее нет никаких оснований сдавать свои позиции без сопротивления и что она в состоянии противопоставить этому натиску весьма веские аргументы. Так, например, совсем недавно Шидер показал, что жесткая антиномия индивидуалистического и структуралистского подходов не может быть проведена в историографии, так как эти подходы взаимно обуславливают друг друга. Поэтому историк XIX в., исходивший в своих теориях из тезиса о решающей роли великих исторических событий, не мог бы отрицать наличия в истории сверхиндивидуальных роковых сил, по отношению к которым личность бессильна, а современный историк, скованный философией равенства и в силу этого весьма предубежденный против личности, не может отрицать тот факт, что исторические структуры создаются, поддерживаются личностями¹. В своей поле-

¹ Theodor Schieder. Strukturen und Persönlichkeiten in der Geschichte. — "Historische Zeitschrift", 1962, S. 265—296.

мике с социологами и с группой весьма активных французских историков, объединяющихся вокруг журнала «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations»², Шидер михоходом замечает, что до сих пор все еще отсутствует точное определение понятия структуры и что практические потребности историков не могут быть удовлетворены ни нормативным определением, даваемым многими социологами, которые принимают все отклоняющееся от него за патологическое, ни материалистической интерпретацией этого понятия, превращающей объективные условия исторического действия в законоподобные, активные факторы истории. К этому вполне уместно было бы добавить следующее: для того чтобы историк мог действительно воспользоваться повсеместно употребляемым понятием структуры, необходимо выявить и тщательно исследовать свойства и виды структур, указать способы их обнаружения. Поэтому нашей отправной точкой должны быть практические потребности историка. Ибо вполне очевидно, что проблема исторических структур так настоятельно встает перед нами именно потому, что она не может быть сослана на страницы академических журналов, а требует постоянного к себе внимания в практической повседневной работе историка, занятого воспроизведением хода исторических событий. Сегодня наши знания о различиях между мировосприятием средневекового человека и нашего современника настолько велики, что мы уже не можем больше, как на это в свое время отваживался Ранке, просто попытаться представлять события такими, какими они были на самом деле. (Отметим, кстати, что эта же несоизмеримость мировосприятий в еще большей мере исключает всемирно-исторические претензии на понимание античных, примитивных или экзотических культур.) Как раз это употребленное им слово «просто» и вызывает наибольшие возражения, ибо оно в принципе исключает всю ту громадную предварительную работу, которая необходима для того, чтобы вновь вызвать к жизни ушедший мир представлений, возродить его в качестве фона самого бытия, существования и возникновения воспроизводимых событий.

² В 1963 г. вышел 18-й том этого журнала в издательстве Армана Колена в Париже. Редакционная коллегия: Фернан Бродель, Жорж Фридман, Шарль Моразе.

Современное состояние наших знаний не позволяет нам понять эти чуждые мировосприятия иначе, как исторические структуры.

Даже если историк-практик полностью абстрагируется от вопроса о том, достижима ли цель, поставленная Ранке, он не может уйти от неизбежного и ясного требования максимально полно использовать в своей работе все научные знания своего времени. Но современная наука предлагает ему эти знания в такой форме, которая неразрывно связана с проблемой исторических структур, а именно в виде веера вспомогательных исторических дисциплин. Развитие историографии за последние столетия ясно показывает, что мы обязаны открытием несоизмеримости средневекового мышления и восприятия с мышлением и восприятием современного человека не обычной изучающей ход событий политической историографии, а вспомогательным историческим дисциплинам. Именно эти вспомогательные дисциплины выяснили, что формулы теории государства и права XIX в. наполненные для нас реальным смыслом, совершенно не пригодны для понимания средневековых правовых отношений. Они показали, что эстетические масштабы греко-римской древности неуместны при оценке романского или готического искусства, что притупленная в результате развития научной интерпретации мира религиозность просвещенного европейца не приспособлена для понимания средневековой религиозности, что экономическое мышление нашего времени, сложившееся в период индустриализации XVIII и XIX столетий, не может правильно оценить средневековую систему торговли и учета. Ослабление имперской власти и возникновение обособленных княжеств, готические архитектура и письменность, спор об инвестициях и крестовые походы, равно как и тип средневекового купца, которого некогда представляли в виде «ничтожного попрошайки и корабейника», — все это было верно понято и описано благодаря исследованиям современных вспомогательных исторических дисциплин. Представляется совершенно бесспорным, что очень важной и существенной частью наших современных исторических познаний мы обязаны именно их методам.

Здесь стоило бы высказать одно соображение, точнее, поставить вопрос, не связано ли влияние, которым пользуются сегодня вспомогательные исторические дисципли-

ны, по крайней мере в области медиевистики, с одним не зависящим от их достоинств обстоятельством? Очень веским мотивом для развития этих дисциплин, несомненно, было то, что после столетия критической работы каркас исторических фактов оказался в значительной мере установленным. Хроники, императорские акты, центральные архивы в результате всей этой работы были настолько тщательно исследованы, что сейчас нельзя более ожидать каких-то существенно новых фактов, связей и дат. Успехи, достигнутые в воспроизведении хода исторических событий, одновременно ставят и определенные границы дальнейшему развитию науки, ибо объем нашего исторического знания не может увеличиваться бесконечно. Ограниченность письменных источников ставит естественный предел его дальнейшему расширению. Хотя в отдельных случаях наши знания и могут быть дополнены, все же в целом существующая система исторических фактов является прочно установленной, и последующая критическая работа не может привести ни к каким существенным результатам, по крайней мере к таким, которые давали бы нечто ценное для науки, а не были бы, как это часто бывает, познанием ради познания. Переиздания классических работ, выполненных в XIX веке, таких, например, как «Ежегодники Германской империи», хорошо иллюстрируют это положение. Отсюда естественное обращение ученых к тем областям, в которых еще содержится масса неизвестных и в то же время доступных для нас фактов, не только познаваемых, но и заслуживающих быть познанными.

По-видимому, для целей настоящей статьи вполне достаточно просто указать на возникновение целого спектра вспомогательных исторических дисциплин и приветствовать его как большое завоевание исторического познания. Однако было бы полезно выяснить, имеем ли мы здесь дело только с потребностями чисто историографического процесса, то есть объясняется ли структура и расчленение вспомогательных дисциплин проблемами и потребностями критического исследования источников или же с их помощью мы обретаем ушедшую историческую реальность? Если даже мы исключим из рассмотрения целую группу формальных вспомогательных дисциплин, таких, как дипломатика, палеография, сфрагистика или пумизматика, для которых содержание исторических ис-

точников второстепенно, то все равно у нас останется другая группа этих дисциплин, связанная с исследованием определенного содержания. Среди них прежде всего нужно назвать историю государства, экономическую историю, историю права, историю поселений, историю искусства, литературы, религии, культурного развития. В пользу того, что все эти дисциплины обязаны своим существованием не только методическим потребностям историографии, но и тому, что они отражают специфические стороны исторической действительности, говорит то обстоятельство, что все они опираются на характерные для них типы исторических источников, хотя границы между этими типами в ряде случаев довольно расплывчаты. Капитулярии, конституции, иммунитетные грамоты нуждаются в обработке с точки зрения истории государственного устройства, прежде чем они могут быть использованы историком экономики или права; уставы, пошлины, торговые книги, напротив, сначала должны быть проанализированы историком экономики, а затем уже быть пригодными для использования в других науках; планы землеустройства и описания поселков требуют предварительного планировочно-географического анализа, и только после этого они смогли бы послужить источником для аграрной истории, в то время как обычное, городское и земельное право до своего использования в других областях требует историко-правовой обработки. Точно так же произведения архитектуры, поэмы, философские трактаты и догматы теологии должны быть поняты вначале в их собственной связи, то есть проанализированы соответствующими вспомогательными дисциплинами, и только после этого они могут быть использованы историком для решения своих проблем в таких, например, областях, как история градостроительства, история церковного права или история духовного развития. Под эту чисто практическую точку зрения можно было бы подвести даже общую политическую историю, так как и она, по крайней мере те ее разделы, которые посвящены истории древнего мира и средневековья, обладает своими специфическими видами источников и представляет собою прежде всего обработку хроник и исторических сочинений. Но при этом мы бы упустили из виду глубокие отличия, которые существуют между повествовательным историческим источником, принадлежащим

исторической традиции, и прямыми остатками исторического прошлого, представляющими собою типичные источники для вспомогательных исторических дисциплин. Поэтому было бы целесообразно трактовать общую политическую историю таким образом.

Именно то обстоятельство, что вспомогательные дисциплины основываются на реальных остатках исторического прошлого и что их подразделение соответствует тому расчленению, которое внутренне присуще всей массе их источников, позволяет нам догадываться, что предметом всех этих дисциплин оказывается само реальное историческое бытие. Ибо остатки исторического прошлого тем и отличаются от традиции, что они предварительно не проходят через фильтр рефлектирующего сознания историка или очевидца, а поступают к нам непосредственно из исторической действительности. Однако если все те явления, на которых основываются вспомогательные исторические дисциплины, такие, как конституция, экономика, право, поселение, поэзия, должны рассматриваться как реалии исторического бытия, то необходимо найти для них соответствующую интерпретацию. Эта интерпретация должна исключать самую возможность упрека, что в их лице мы сталкиваемся с мертвыми абстракциями, вырванными из живой плоти истории, абстракциями кабинетного происхождения, которые были объявлены реальными, действующими силами исторического развития только после того, как они вышли из-под власти их подлинных создателей. Хотя все эти упреки и маловероятны, так как они были бы бессильны объяснить постоянно обнаруживаемое подобие вспомогательных дисциплин со специфическими для каждой из них областями этих источников, тем не менее для явлений, историческая реальность которых может быть в принципе поставлена под сомнение, нужно найти такое толкование, которое сделало бы понятной их внутреннюю связь с историей.

Что же соответствует этим понятиям в действительности? Это можно показать на одном примере. Поставленный нами вопрос может быть расчленен на ряд конкретных проблем, которыми постоянно вынужден заниматься даже историк, отрицательно относящийся ко всякой философии истории. То, что относится к родовому понятию «устройство», относится и к любому из его видов. Что же тогда означает понятие «средневекового судострой-

ства»? В основе его лежат некоторые документально установленные, но изолированные исторические события и поведенческие структуры. Однако весь этот материал можно методически организовать так, что он приобретет общее значение в определенных пространственно-временных границах, устанавливаемых на основании тех же источников. А именно исходя из этого конкретного материала, мы можем утверждать, что определенная группа людей разработала одинаковые нормы поведения для целого ряда тождественных по характеру ситуаций. Мы можем сказать, что во всех тех случаях, точное количество которых не может быть установлено по нашим документальным источникам, когда между людьми возникали различные ссоры, характерные для общественной жизни того времени и связанные с потравами, незаконными порубками, сплетнями и т. д., эти люди вели себя определенным образом, дабы восстановить мир и согласие. Отсюда в средневековом судеустройстве выражен ряд мотивов поведения, направленных на поддержание мира между людьми в определенных обстоятельствах. Однако конкретные случаи, когда люди руководствовались в своих поступках мотивами, изложенными в этих судебныхниках, мы могли бы определить и установить только в порядке исключения. Обстоятельства и мотивы поведения, равно как и сами поступки, обычно многократно повторяются и походят друг на друга. И если бы история права обобщила все эти неоднократно воспроизводимые явления, то тем самым мы смогли бы высказать определенные суждения о людях, отдельные поступки которых вообще не имели никакого исторического значения и не были поэтому зарегистрированы ни одним историческим источником, более того — о людях, устанавливать конкретное историческое существование которых нет никакой необходимости.

Те же самые соображения применяют к административному устройству графств и городов, суверенитету и ленному праву, единоличной власти или демократии. Коль скоро они проанализированы с государственно-правовой точки зрения, их содержанием оказываются такие целенаправленные комплексы мотивов поведения, которые позволяют нам судить о поступках отдельных личностей, конкретное историческое существование которых не может быть установлено. Следовательно, историческая

реальность какого-нибудь судебного или административного уложения не зависит от его существования в качестве письменного документа, равно как и от существования основывающегося на нем правосознания. И тем более она не тождественна им. В качестве взаимосвязи мотивов эти уложения существуют и проявляются в человеческих действиях безотносительно к тому, знал ли конкретный деятель об их существовании или даже пытался ли им противиться. Понятия, включенные в область истории государственного устройства, — все это сжатые научные формулы подобных взаимосвязей мотивов.

Легко видеть, что экономика, право, искусство, поэзия точно так же могут быть интерпретированы в качестве цепей мотивов. Аграрное хозяйство, рынок и бродячая торговля — все это комплексы мотивов, регулирующие в определенных исторических ситуациях поведение людей, которые ставят своей целью достижение материального благополучия. Общность имущества супругов, морское или финансовое право — все это формулы для обеспечения цепей мотивов поведения людей, организующие общность их действия для достижения общих целей. Понятия истории искусства и литературы, такие, например, как базилика, романский стиль, готика, народные сказки, героический эпос, роман, тоже могут быть поняты как формулы подобного рода. Здесь, как и в случае с письменной конституцией, мы не можем принять за историческую реальность само завершенное произведение искусства, которое с момента своего окончания «поднимается над потоком истории» и противостоит ему, ибо в своей законченной форме оно подчиняется имманентным внеисторическим законам эстетики, образующим предмет специальных дисциплин — теории литературы и искусства. Но тем не менее все эти понятия включают в себя и мотивы, которыми руководствовались люди соответствующего времени, желая выразить свою духовную сущность. В заключение можно было бы сделать следующий вывод: исторической реальностью, которая выражается в понятиях и представлениях всех вспомогательных дисциплин, как раз и являются логически взаимосвязанные цепи мотивов человеческого поведения, направленного на достижение определенной цели. Выявление этих мотивов позволяет науке судить о поступках людей, которые не являются историческими личностями в строгом смысле

этого слова. К этому можно было бы прибавить: только в той мере, в какой все эти вспомогательные дисциплины, например история права, хозяйства, литературы или искусства, в состоянии выявить эти мотивационные комплексы, они и могут заинтересовать историка. Если скоро же они, основываясь на специфике своего предмета и зависящем от нее своеобразии их логического аппарата, стремятся к достижению иных целей (например, к исследованию самого произведения, а не мотивов его создания), они ничего не могут дать историку.

Мы хотели бы здесь связать понятия мотивационных цепей и исторической структуры. В самом деле, можно показать, что во всех тех случаях, когда говорят об исторических структурах, одним из элементов, вкладываемых в содержание этого понятия, оказывается определенная последовательность мотивов. При структурном подходе к мотивационным комплексам необходимо предположить, что последние могут образовывать соединения все более высоких порядков. Это можно показать на примере. Формулой «судоустройство Лайнеберга в XV столетии» обозначается весьма конкретный мотивационный комплекс, так как с его помощью описывается поведение очень небольшой группы людей, четко определяемой пространственно-временными рамками. Здесь мы сталкиваемся с максимально возможным ограничением сферы действия мотивационного комплекса в данной области, причем величина этого ограничения полностью зависит от характера источника. Если бы мы захотели еще более его ограничить, мы не смогли бы это сделать строго научно, так как наш источник не дает нам для этого никаких данных. Теперь попытаемся обобщить это понятие, или формулу. «Судоустройство вельфских владений» будет формулой, объединяющей уже значительно более сложную последовательность мотивов и призванной описать поведение значительно большего количества людей. Для того чтобы это обобщение было научно обоснованным, историку необходимо включить в эту формулу максимально возможное число мотивационных цепей, четко ограниченных данными, содержащимися в источниках. Каждый шаг этого обобщения должен контролироваться критической работой мысли. Аналогичным образом, методически комбинируя мотивационные цепи, историк мо-

жет получить еще более широкую формулу «судоустройство средневековья», которая в свою очередь могла бы войти в понятие «судоустройство». Таким образом, структура мотивационных цепей строится по методу эмпирических наук, идущих от частного к общему. Но образование научного понятия как раз и происходит путем методического движения от частного к общему. Поэтому не удивительно, что как понятиям мотивационных комплексов, так и самим этим комплексам внутренне присуща структура, определяемая их происхождением.

Что это значит? Не следует ли из такой структуры мотивационных рядов, что даже там, где речь идет о весьма общих понятиях, применяемых к большому количеству людей, все эти формулы всегда сохраняют свою связь с определенными группами людей? Историческое понятие только тогда имеет смысл, когда оно описывает конкретное, ограниченное местом и временем, фактически имевшее место поведение людей. Если же понятия формулируются или выводятся таким общим образом, что они уже больше не могут удовлетворять этому требованию, то они перестают быть историческими. Здесь обнаруживается в деталях спорный, но в целом совершенно недвусмысленный водораздел, отделяющий историческое мышление от той обширной области, в которой человеческий дух приводит разнообразнейшие мысленные эксперименты с социологическими, методическими, психологическими, статистическими и иными факторами. Количественный, законоподобный, поддающийся предвидению или внеисторический характер, приписываемый действию этих факторов, делает эксперименты подобного рода в исторической науке антигуманными. И напротив, по эту сторону границы, там, где осуществляется методически безупречное объединение мотивационных цепей во все более широкие комплексы, возникают подлинные исторические структуры, всегда имеющие непосредственно человеческий смысл.

Эти структуры, понимаемые в качестве мотивационных связей, невозможно противопоставлять личности. Ибо между ними и личностью нет резких переходов. Безусловно, принятое нами определение всех этих структур позволяет нам делать утверждения о поведении людей, не вошедших в историю в качестве исторических

личностей, и даже о поведении людей, само конкретное историческое существование которых не может быть установлено, как это бывает с отдаленными периодами истории. Но можно ли на основании того, что мы приносим суждения о поступках людей, чье имя, возраст и происхождение остаются для нас неизвестными, отрицать то, что и в этом случае мы имеем дело с личностями? Нет, эта мысль невозможна с историографической точки зрения, недостойна историка и, в сущности, антигуманна. Скорее, необходимо рассматривать некоторую градацию личностей: от исторически незначительных, и тем самым не вызывающих интереса в рамках предмета специализированных областей историографии, до личностей, решавших судьбы народов и поколений и ставших поэтому предметом особого интереса историков. Но мы бы нарушили предписание научного мышления, если бы масштабы оценки, действующие в определенных областях историографии, приняли за единственно возможные. Мы очень скоро столкнулись бы со следующим уравнием: «исторически незначительное — это нечто бессмысленное; оно лишено всякой ценности!» Восточная жизненная мудрость, а вместе с ней и христианство, опираясь на сверхразумное начало, всегда признавали возможность для каждого человека придать своей жизни глубокий смысл. Со стороны историка было бы слишком легкомысленным отбросить все эти предостережения, пренебрегая в том числе и предписаниями своего собственного метода.

Итак, мы установили, что не может быть методологического противоречия между историческими структурами, понятиями как взаимосвязи мотивов поведения, и исторически значимыми личностями. В данном случае метод исторической науки оказывается в полном соответствии с исторической действительностью, так как он основывается на реальных исторических отношениях. Историческая значимость личности предполагает наличие исторических структур. Взаимосвязи мотивов — продукты человеческого духа; с тех пор как люди начали поступать целесообразно, они стали принадлежать к человеческому миру. Историк должен многое говорить тот факт, что в античном сознании важнейшее значение приписывалось первооткрывателю. Гуманистически-антропоцентристское мышление античности считало само

собой разумеющимся, что всякая структура мотивов имеет своего создателя — человека. Оно создало образ героя, полубога, паделенного сверхъестественным могуществом, гигантскою силою воображения и мастерства, который формирует бытие людей и ведет их за собой. Именно здесь сложилась та схема, в соответствии с которой мы представляем взаимодействие исторических личностей с безликой массой людей, чьи действия могут быть описаны только с помощью общих мотивационных комплексов. Личность в глубинах своего духа необъяснимым образом порождает новую идею. Она творит новые, невиданные комплексы мотивов человеческого поведения. Но в этом процессе творчества она вынуждена опереться на содействие безликой массы, которая единственно доступным ей способом определяет историческую значимость нововведения, свободно принимая или отбрасывая его. И с другой стороны, чем богаче и полнее мотивационные комплексы, тем шире те области исторической действительности, которые могут быть охвачены контролем и руководством личности; их рост приводит к увлечению числа точек приложения направляющего воздействия индивида и тем самым увеличивает значение личности и в истории. Великие люди истории — это те, кто с помощью некой таинственной связи с массой оказались в состоянии создать такие ряды мотивов поведения, в которых испытывалась общая и острая потребность. Однако мы приписываем индивидуальность не только творцам. Мы обнаруживаем ее и в безымянной массе людей. Ибо именно эта масса, воспринимая мотивационные комплексы, созданные для них новаторами, с неотчуждаемой суверенностью индивида решает вопрос об их применимости в жизни и тем самым о форме и степени влияния великих людей. Таким образом, и те, кто был способен ввести в историю новые мотивы поведения, не абсолютно свободны в своих действиях. Они также скованы рамками общей для всего человечества системы мотивов поведения.

Итак, наш вывод совпадает с мыслью Шидера, упомянутой нами в начале нашей статьи, который показал взаимодействие между личностью и историческими структурами, взаимодействие, полностью соответствующее приведенной нами схеме. Наши взгляды вполне совпадают и со взглядами того французского ученого, неодно-

кратно цитируемого Шидером³, в исторической картине которого господствует *le mystère de la durée* [мистерия устойчивости во времени.—Ю. А.], то есть наблюдение того, что безымянная масса людей, поведение которых может быть описано историком только с помощью методов вспомогательных наук, имеет для хода истории такое же значение, как и действия великих личностей, так как она определяет степень значимости события. «*La longue durée*» [большая длительность.—Ю. А.], устойчивость испытанных мотивационных структур становится критерием оценки, которому должны удовлетворять события, чтобы приобрести историческое значение. «*Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi*» [«Как бы ни безумствовали цари, расплачиваются ахейцы».—Ю. А.]: этот вид историографии, односторонне освещающий актеров, действующих на авансцене, сегодня потерял всякое оправдание.

* * *

Интерпретация исторических явлений, исследуемых вспомогательными дисциплинами в качестве мотивационных комплексов, подводит нас ко второму аспекту проблемы исторических структур, аспекту, с которым также сталкивается историк в своей практической деятельности. Хотя любая вспомогательная дисциплина, отражая сущность исторической реальности и исторического метода, всегда опирается на специфический ряд источников, на стыке этих дисциплин историк вынужден постоянно вторгаться в смежные области. Так, история государства должна рассматривать и привлекать факты, относящиеся к истории хозяйства, права и даже истории культуры и умственного развития; а история культурного развития должна включать в свой материал факты, относящиеся к сфере конституционного устройства. Совместимо ли это с вышеупомянутым требованием, согласно которому исторической реальностью институтов, рассматриваемых соответствующими специальными дисциплинами, должны быть признаны совокупности мотивов человеческого поведения? Решение этого вопроса тесно связано с уже отмеченной нами зависимостью логической организации мотивационных комплексов от их конк-

³ Имеется в виду Ф. Бродель.— *Прим. перев.*

ретной целенаправленности. При этом необходимо учитывать, что описываемые ими способы поведения и поведенческие структуры могут служить в каких-то своих аспектах достижению различных целей. Так, решение правового вопроса может служить одновременно как экономическим, так и юридическим целям; здание строится с учетом и эстетических, и экономических, и социально-планировочных потребностей; епископат может быть учрежден для удовлетворения как церковных, так и государственных целей. В понятии вероисповедания теснейшим образом переплетены церковные, правовые, экономические, эстетические и религиозные цели. Научная формула «вероисповедание» обозначает поэтому мотивационные цепи самой различной целенаправленности. Расчленение вспомогательных дисциплин представляет собою выражение этой множественности целей, которые в конкретном акте часто неотделимы друг от друга и так переплетены между собою, что действующий индивид не может полностью отдавать себе отчета в том, каким целям служит его действие. Коль скоро невозможно полное и систематическое описание целей человеческих действий, не может существовать и естественная система вспомогательных дисциплин. И эта характерная сторона методологии исторического познания обуславливается природой исторической реальности. Историография не может основываться на некоторой предустановленной системе целей человеческого поведения: в качестве эмпирической науки она не может использовать чисто психологические, морально-философские или иные мыслимые системы.

Это положение подводит нас к новому аспекту проблемы исторических структур. К структурам исторической реальности, состоящим из мотивационных комплексов или рядов, обладающих возрастающей степенью общности и направленных на достижение одной цели, присоединяются структуры, возникающие в результате соединения в одном действии мотивационных комплексов различной целенаправленности. Если до сих пор при описании структур мы пользовались образом цепи или последовательности мотивов, чтобы представить их организацию для одного из направлений человеческой деятельности, то в данном случае можно было бы использовать образ круга или горизонта мотивов, так как в этих структурах

различные мотивационные ряды сходятся в одном поступке или процессе, в одной структуре акта, с тем чтобы, пройдя через него, вновь проявиться в качестве самостоятельных рядов со своими собственными целями. И в данном случае понятие структуры вполне уместно, так как и здесь мотивационные комплексы закономерно связаны друг с другом. Для этого случая существует две возможности.

Можно было бы взять в качестве центра мотивационного горизонта человека определенной эпохи. Такое толкование вполне возможно, так как если мотивационные комплексы исторически действительны, то они должны обладать конкретным психологическим существованием в сознании человека. Таким мог бы быть мотивационный горизонт средневекового человека или человека времен Ренессанса. Если бы можно было исследовать и описать все это, то мы получили бы возможность судить о том, как вел себя отдельный человек в специфической обстановке того времени, характеризуемой целым рядом естественных (географических, климатических, биологических) и исторических (политических, технических, экономических, духовных) условий. Мы смогли бы судить о том, какими представлялись ему эти условия и как он, сознательно или неосознанно, реагировал на них, чтобы добиться осуществления своих целей, связанных с материальным обеспечением, защитой от внешней угрозы, установлением общественного порядка и мира, тренировкой своих способностей в играх, в борьбе с природой, в выражении своего духовного содержания и т. д. Анализ подобных мотивационных горизонтов человека определенной эпохи вышел сегодня за рамки чисто теоретических пожеланий. Совсем недавно было проведено исследование такого рода. И видимо, не случайно оно было осуществлено уже упоминавшейся нами группой французских ученых, для которых характерно постоянное внимание к проблеме исторических структур. Весьма показательна, что работа Мандру «Введение в современную Францию» [«Introduction à la France moderne (1560—1640)»] имеет подзаголовок «Essai de psychologie histori-

⁴ Robert Mandrou. Introduction à la France moderne (1560—1640). Essai de psychologie historique. Paris, 1961 (L'évolution de l'humanité. № 52).

que» [«Очерк исторической психологии».—Ю. А.]. В этой работе психология рассматривается одновременно и как поведенческая, и как коллективная. Единственным источником, на который мог опереться Мандру в своем анализе психологии человека XVI столетия, было поведение последнего, поэтому направленность его работы полностью совпадает с установками нашей статьи. Чтобы определить духовный горизонт человека французского Ренессанса. Мандру не ограничился анализом его жизни в социальной, экономической и духовной областях, а включил в свой анализ и проявление его чувственных способностей во всей их полноте. Наряду с удовлетворением, приносимым игрой, охотой и танцами, Мандру описывает и возможности человека этого периода вырваться из круга принудительных обязанностей жизни, основанной на принципах разделения труда: либо стать путешественником, пилигримом или ландскнехтом, либо уйти в призрачный мир театра, музыки, фантазии, преодолеть их с помощью «*évasion mystique*» [бегства в мистику.—Ю. А.], черной магии или даже с помощью саморазрушения, самоубийства.

На основе переработки оригинальных источников мотивационных комплексов Мандру собрал в своей книге огромное количество последних. Эта поразительная книга, в которой рассматриваются фундаментальнейшие вопросы, заслуживает самого пристального внимания.

Благодаря тщательной и бережной обработке источников, свежему методу работа Мандру вполне может быть отнесена к стилю мышления латино-романской культуры, который всегда и во всех своих проявлениях—от римской риторики до кубизма в живописи—характеризовался ясным, лишенным всяких эмоций рационализмом.

Синтезу мотивационных комплексов в исторической психологии, которая постоянно соотносит свои построения с реальным, историческим человеком, а их всеобщность основывает на анализе массовых явлений, противостоит иной синтез, который либо вообще исключает реального человека как центра своих построений, либо рассматривает только самых избранных. Синтез такого рода, предложенный Дильтеем в прошлом столетии, стремится к тому, чтобы выявить и аналитически расчлнить дух эпохи, мировоззрения. В нем мы сталкиваемся с пас-

леди́ем немецкого классического идеализма, вершиной которого был Гегель. «Трансцендентальное сознание» Канта, «Мировой дух» Гегеля, «сознание вообще» младогегельянцев стоят у колыбели попытки Дильтея обосновать историзм человеческого духа и представить его в качестве средоточия всех мотивационных горизонтов. Этот дух получает, по Дильтею, свое преимущественное выражение в философских трактатах, теологических догматах и произведениях художественной литературы⁵. Их значение выявляется только при анализе их содержания, и это характернейшее для данной школы слово «содержание» (Inhalt) раскрывает нам всю глубину ее противоречия ясному рационализму латино-романского стиля мышления. Проявления жизни, мотивационные комплексы, не обладающие этим содержанием в истории развития человеческого духа, несущественны для данной школы. Во всяком случае, все эти проявления мыслились и понимались Дильтеем лишь как предпосылки «теории человека», которая должна была стать основанием теории права, религии, философии, литературы, искусства, синтетического познания социально-исторической действительности⁶. Вообще Дильтея прежде всего интересовали «факты сознания». Именно в том, что в исторической науке отсутствовал «анализ фактов сознания, а тем самым связь с единственно достоверным в конечном счете источником знания, короче — отсутствовало философское обоснование», увидел он причину невозможности создания объясняющего метода в историографии. Ибо он был твердо убежден, что «исторические знания и сравнительно-исторические методы, взятые сами по себе, не в состоянии осуществить синтез гуманитарных дисциплин и оказать какое-то влияние на жизнь»⁷. Поэтому философия Дильтея представляет собой важную попытку осуществить синтез отдельных исторических дисциплин, основываясь на иной, мировоззренческой точке зрения, на истории изменяющихся от-

⁵ W. Dilthey. *Gesammelte Schriften*, Bd. 8. Stuttgart, 1960, S. 24.

⁶ W. Dilthey. *Schriften*, Bd. I, S. 95. Так, например, в исследовании, посвященном Лейбницу и его эпохе, Дильтей в специальном разделе рассматривает «политические и социальные предпосылки новой светской культуры XVII столетия» (*Schriften*, Bd. 3, S. 40).

⁷ W. Dilthey. *Schriften*, Bd. I, S. 16.

ношений человеческого духа к миру. Тем самым наряду с «теорией человека» в философии Дильтея методологическое значение приобретает научное исследование мировоззрения как единства всех проявлений человеческого духа. В своих сочинениях по психологии, педагогике и поэтике Дильтей предпринял попытку, к сожалению оставшуюся незаконченной, обосновать значение мировоззрения в жизни, незаметно и подсознательно влияющего и на необразованных людей, стоящих вне сферы «культурной жизни» своей эпохи. «Ничто не может избежать великого движения истории. Однако этот прогресс духа никогда бы не затронул жизнь, а идеи, как облака, освещенные и позолоченные солнцем, просто проносились бы над землей, если бы наука не предоставляла в наше распоряжение знания, дающие возможность современному человеку господствовать над действительностью и формировать ее»⁸. Контекст, из которого взята эта цитата, показывает, как полно воспринимал Дильтей человеческий дух. Дух был для него не только созерцателем жизни, но одновременно и творцом социальных, политических и экономических отношений. Если к этому добавить, что Дильтей мастерски владел историческим методом, пытался обосновать историческое значение мировоззрений в «движении от известного к неизвестному, то есть от исторических фактов к стоящим за ними закономерностям»⁹, то будет вполне понятно то громадное влияние, которое оказала его система на развитие исторической науки в Германии. Подкрепленное великолепной работой Фридриха Мейнеке, блестящей по форме и эрудиции, стремление Дильтея выявить закономерности исторических фактов, основываясь на исследовании истории человеческого духа, придало немецкой историографии ее особый характер, отличный от английской или французской исторических школ.

Если мы сопоставим эти два во многих отношениях противоположных способа синтеза мотивационных комплексов, а именно историческую психологию, вырастающую из рационализма латино-романского мышления, и историю духа, рожденную немецким идеалистическо-романтическим порывом, то мы придем к выводу, что ни в

⁸ W. Dilthey. Schriften, Bd. 2, S. 244.

⁹ W. Dilthey. Schriften, Bd. 8, S. 25.

одном из них проблема исторической структуры не получает удовлетворительного решения. Ибо эта проблема сводится к следующему: так как мотивационные комплексы различного содержания пронизывают друг друга в одном действии, то вырастающие вокруг такого действия мотивационные горизонты представляют собою их тесное переплетение. Однако знание о них дается историку в разрозненной форме отдельными историческими вспомогательными дисциплинами. Поэтому историк сталкивается с проблемой синтеза, интеграции всех этих разрозненных знаний в едином историческом повествовании. И решить эту проблему, составить связное историческое повествование не может ни историческая психология, ни история мировоззрений.

Ибо исторической психологии свойственна тенденция конструировать идеальный тип человека, который не существует в действительности. Эта абстракция лишает нас возможности отделить исторически значимое от того, что не имеет значения или не оказывает никакого влияния на историю. Такие прометеевские и титанические по своей мощи явления, как государство или религия, в этой картине выступают как равнозначные, лишённые какого бы то ни было исторического значения способы проведения вечернего досуга. Если из рассмотренного нами положения Мандру мы выведем все логические следствия, то окажется, что в историко-психологическом синтезе исчезнет фактор значимости мотива, без которого невозможно объединить в единое целое детали даже самой простой мотивационной цепи. Таким образом, мы сталкиваемся здесь с точкой зрения, представляющей собой полную противоположность позиции Дильтея, для которого заслуживающим внимания было только духовное содержание. Конечные цели исторической психологии были бы осуществлены только в том случае, если бы историк получил в свое распоряжение андерсеновские калоши счастья, позволяющие ему переноситься в прошлое и смотреть на него его же глазами, разделяя все его предрассудки, невежество, аффекты, мифы и тайные желания. Такой историк смог бы описать события прошлого такими, какими они были на самом деле, ибо он превратился бы в их современника. Но он стал бы не критически мыслящим историком XX столетия, так как критичность мышления включает в себя требование демифологизации

истории. А ставить перед исторической психологией задачу объединения непосредственности восприятия событий с критической их оценкой, объединения точки зрения современника событий со взглядом на них последующих поколений,— это то же самое в методологии исторического исследования, что и проблема вечного двигателя в физике или проблема квадратуры круга в математике.

К аналогичному тупику приводит историка и абсолютизация дильтеевской истории духа или его учения о мировоззрениях. Вопреки всем попыткам Дильтея сузить и конкретизировать понятие трансцендентального сознания, ограничить его только тем, что проявляется в мыслях и словах человеческого духа, конкретный психологический материал Дильтея несет на себе слелы его метафизического происхождения. Концепция Дильтея не может преодолеть разрыва между трансцендентальным сознанием и исторической действительностью. Она только частично смягчает его в тех областях этой действительности, которые поддаются контролю планирующего мышления и воли человека. «Применение или исторического сознания к философии и ее истории»¹⁰ лишь в той мере обогащало бы наши знания о действительности, в какой мы смогли бы извлекать сведения об истинном характере последней из ошибочных построений старой метафизики. Однако хотя в политических акциях периода реформации, например, проявляется целый ряд мотивов, связанных с мировоззрением гуманистов и реформаторов, а Французская революция необъяснима вне предпосвященной мировоззренческой революции Просвещения, все же конкретные факты политического, военного и экономического развития не могут быть объяснены только на основании мировоззрения этих эпох. Различная степень устойчивости княжеских династий и разница в долголети их членов — это исторические события, которые имели весьма значительные исторические последствия, так как от них зависело создание системы наследственной монархии в средневековой Франции и выборной системы императорской власти в средневековой Германии. Но эти события никак не зависят от мировоззрения эпох. Точно так же и в лице экономики мы имеем ту об-

¹⁰ W. Dilthey. Schriften, Bd. 8, S. 7.

ласть, в которой научный подход не господствовал в предшествующие исторические периоды и которая вплоть до сегодняшнего дня в значительной мере не контролируется разумом человека. Известный тезис Макса Вебера о связи протестантской этики и духа капитализма не может быть полностью доказан во всех его деталях¹¹. Влияние науки на экономическую политику, неизмеримо усилившееся со времен Смита и Кенэ, равно как и влияние людей, связанных с экономикой, и по сей день не является единственным фактором исторического развития. Оно сочетается с влиянием других факторов, определяющих ход исторических событий. «Историческая реальность — это нечто большее, чем то, что возникает под прямым влиянием развития философских трактатов, теологических догматов и теорий государства. Она шире того, что осознается мыслящим человеком. Она является и чем-то большим, нежели то, что доступно контролю человеческой воли и действия. В актах зачатия, рождения, болезни и смерти в историческую реальность вторгается «темный» природный фундамент человеческого существования, скрыто и безгласно противостоящий человеку и сопротивляющийся всем попыткам познать его. Загадочный и замаскированный, таится он за фасадом истории, давая себя почувствовать историку тогда, когда речь заходит о генеалогии и демографии, то есть тогда, когда мы рассматриваем историю государства и права как функцию семейной истории дворянских фамилий, социальную историю и историю культуры — как функцию семейных историй буржуазии и крестьянства, историю экономики — как функцию предложения труда и покупательной способности, зависящую в свою очередь от развития народонаселения. Так как историческая реальность представляет собой результат взаимодействия духовных, мировоззренческих факторов и факторов иной природы, она не может быть представлена во всей своей целостности только историей духа. Перед лицом этой всеохватывающей реальности последняя оказывается не более чем вспомогательной дисциплиной.

¹¹ Ch. Hill. Protestantism and the Rise of Capitalism. Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England. Cambridge, 1961, p. 15—39.

Таким образом, историк вынужден искать иной путь для осуществления синтеза разрозненных знаний, доставляемых ему отдельными историческими науками, в единую и цельную картину исторического прошлого. Анализ отношений, существующих между различными мотивационными горизонтами, подсказывает нам этот путь. Его следует искать именно здесь, так как, наблюдая это взаимодействие, мы прикасаемся к глубочайшим тайнам истории. Чтобы обнаружить его, мы должны опереться на нечто большее, чем конкретное представление о прошлом. Если мы будем рассматривать немецкую историю периода императорского Рима, мы обнаружим, что мотивационный комплекс «общественное устройство» описывает поведение относительно небольших групп людей, едва научившихся создавать политические союзы, выходящие за пределы отдельных деревень и кланов. Поэтому эти племенные союзы не обладают прочной длительностью, и великие люди из их среды, такие, как Арминий или Марбод, стремившиеся к образованию государства, то есть к тому, чтобы навязать им новые мотивационные комплексы и нормы поведения, достигали лишь эфемерных успехов. Мотивационный комплекс «хозяйство» описывает поведение людей, объединенных в маленькие самодовлеющие в экономическом отношении группы, занимающиеся преимущественно земледелием и скотоводством; купец с его образом жизни и поведения был бы немыслим в их среде. Мотивационный комплекс «поселения» описывает поведение небольших групп людей, которые в зависимости от способа ведения хозяйства часто меняют места жительства и у которых отсутствует сама идея поселения городского типа. Мотивационный комплекс «право» описывает поведение людей, едва ли осознающих более высокие ступени отношений, чем непосредственные и двусторонние, опирающиеся в основном на свои собственные силы и нуждающиеся для упорядочения коллективной жизни только в мимолетных и малодифференцированных органах; в этих органах естественный авторитет личности был решающим, не порождая никакой потребности в его институционализации. Мотивационный комплекс «искусство» описывает поведение людей, духовные потребности которых удовлетворяются небольшими по размеру предметами украшения и орнамента. Остановимся на этом и сделаем общий вывод.

Незначительным и неустойчивым социальным возможностям жизни соответствует общественная организация людей в небольшие группы, натуральная система хозяйства, неустойчивые, перемещающиеся поселения, неорганизованные правовые отношения, произведения прикладного искусства, являющиеся продуктом индивидуального творчества, незначительная плотность населения, неграмотность, примитивные религиозные представления и т. д. В основе всего этого лежит единый жизненный уклад, и отдельные проявления жизни вырастают из него не сами по себе или случайно, а в строгой взаимосвязи друг с другом.

Последующие столетия приводят к постепенному развитию более высоких форм политических организаций. Из текучих, эфемерных племенных образований создаются великие племенные союзы, и в IX в. начинают складываться исторические коллективы устойчивых наций, которые существуют по настоящее время. В этот же период в области экономики возникают значительные по своим масштабам хозяйственные объединения, такие, например, как владения монастырей или фризско-североевропейская торговля, — объединения, уже требующие определенной организации. Отсюда в государственном управлении и в управлении монастырском зарождаются ранние формы бюрократии и документации (полиптики, инвентарные книги). В полном соответствии с этой картиной политического и экономического прогресса мы констатируем прирост населения, переход к оседлым формам поселения (что видно из анализа древнейших названий), более высокие формы сельскохозяйственного производства (трехполье, землеустройство), более высокий уровень требований, предъявляемых к защите со стороны права, удовлетворяемый государством с помощью административной системы графств. Впервые возникает единая система судоустройства, и экономическая помещная организация землевладения получает государственно-административное выражение с помощью иммунитета. Возрастающей степени разделения труда и плотности населения, равно как и возрастающей эффективности государства, соответствует также быстро растущее переплетение интересов и правовых обязательств, выражающихся в возникновении марок и общинных лесов, транспортного и торгового права и т. д.

Поддержание мира и справедливое разрешение споров уже не может основываться на самозащите — становится необходимым регулярное судопроизводство. Разделение труда и рациональное руководство процессом трудовой деятельности открывают новые возможности перед искусством, которое реализуется в каменном зодчестве того времени. Жизненные отношения, мотивационные комплексы и горизонты достигают такой степени полноты, что их развитие уже не может осуществляться стихийно: общество должно воспитать людей, которые могли бы взять на себя функции руководства. Отсюда возникает система образования, тесно связанная с растущими религиозными потребностями. Христианизация населения и организация церкви оказываются следствиями роста религиозного сознания. Это значительно более сложное целое предоставляет иные возможности и для активности личности по сравнению с теми, которыми она располагала в прежние времена. Некий Хлодвиг или Карл могли создать устойчивое государство только в этом усложненном мире, некий Бонифаций только в этой цепи структурно-расчлененных жизненных отношений мог создать прочную организацию и вкупе с христианством заложить фундамент более высокой духовной культуры. Таким образом, бесчисленные взаимосвязи пересекают тело этой исторической эпохи. Между ними нет отношения причины и следствия, но они скоррелированы друг с другом. В постоянном взаимодействии образуются различные институты, мотивационные комплексы, структуры. В государственной и религиозной областях уже начинает чувствоваться направляющая рука великих исторических личностей. Право, экономика и мораль еще предоставлены массе. Все связано со всем, и все восходит к таинственным корням жизни.

Вплоть до XII столетия мы являемся свидетелями мощного динамического взлета истории. На него накладывают свой отпечаток личности и воля пап, императоров, князей и епископов. Однако в значительно большей мере он осуществляется усилиями массы. Вслед за племенем и нацией приобретает устойчивую форму в политической жизни территориально-княжеское управление. К 1200 году завершается процесс образования территориальных княжеств и территориального суверенитета, процесс, который вновь обнаруживает перед нами

как возросшую роль, так и возросшие возможности исторических личностей. Господствуя над исторической картиной этой эпохи, из глубин времен таинственно возникают города, эти средоточия новых мотивационных комплексов. Все выглядит так, как если бы уплотнение мотивационных горизонтов и жизненных отношений стало теперь таким, что смогло поддерживать и даже нести городские формы жизни. Общее образование достигло такой ступени, что купец с помощью письменных поручений и корреспондентов оказался в состоянии значительно увеличить эффективность и прибыльность своей деятельности по сравнению с теми временами, когда он сам как странствующий торговец сопровождал свои товары. Поэтому в городах возникают новые, невиданные до сего времени возможности, которые, сами являясь результатом взаимосвязи многих компонентов, служат предпосылками дальнейшего развития. Перед изобразительным искусством возникает не только возможность создания новых монументальных работ, но и сама постановка новых задач требует освобождения духовных сил, которые раньше не могли проявить себя. В готическом соборе воплощены теснейшим образом взаимосвязанные технические, изобразительные, религиозные, научные, экономические, социально-организаторские возможности того времени. И здесь, как мы уже неоднократно отмечали, возникновение более тонких структур мотивационных комплексов происходит параллельно с ростом возможностей для проявления личности. Этот период в истории порождает личность художника. С рациональностью городской жизни связывается духовная революция. В первом «культур-кампф» истории бюргер отвоевал у церкви светскую школу; отправляясь от канонического запрещения процента и понятия справедливой цены, теология делает первые шаги к экономической науке. Это только один из примеров возникновения рациональной научной критики. В области права возникновение бюргерства сопровождается возникновением целого ряда новых явлений, о которых трудно сказать, были ли они его причинами или следствием. Без городского самоуправления и патрицианской верхушки, без усложнения административного управления и развития гарантий в торговле, посредничества, обязательств и векселей бюргерский мир был бы невозможен. Эту цепь со-

ответствий между мотивационными комплексами и мотивационными горизонтами можно было бы продолжить и дальше, включая в наше рассмотрение рыцарство, университеты, благочестие новых монашеских орденов и, наконец, всю полноту явлений жизни. Итак, продвигаясь вместе с историей, мы наблюдаем в XVI столетии эпоху грандиозного расширения горизонтов и средств, систему меркантильного капитализма, вовлекающую в себя весь мир, рациональную трезвость Реформации. XVIII столетие оказывается эпохой рационализма Просвещения, механического объяснения природы, общеевропейских войн за гегемонию и индустриализацию. И наконец, мы оказываемся в XX столетии, в котором классическая физика и иллюзионистская живопись, национальное государство и индустриальный капитализм, устойчивый общественный порядок и либеральное правовое мышление отступают с ходом времени под натиском новых форм познания и восприятия мира¹², новых форм политической организации и техники. Здесь мы оказываемся свидетелями ускоренного и особенно заметного развития взаимосвязанных мотивационных горизонтов. Возникновение нового мотивационного комплекса, связанного со всем целым и поэтому лишенного случайностей, может наблюдаться в эту эпоху во всей его чистоте.

Мы не можем рассматривать в данной статье этот процесс во всех его деталях и во всей его полноте. Все сказанное выше должно только предоставить в наше распоряжение материал, который дал бы нам возможность получить некоторое представление об отношениях между различными мотивационными комплексами и вместе с тем показал бы, что наша теоретическая схема соответствует данным конкретных исторических исследований. В этом историческом материале между фактами, сходными по времени своего существования, и их последующими изменениями мы находим связи такого рода, которые постоянно вынуждают внимательного историка употреблять термин «соответствие». Даже исследование отдельных фактов приводит нас к идее их соответствий.

¹² Соответствие между интерпретацией реальности в живописи и науке, проявившееся в начале нашего века, описано в книге: W. Haftmann. Malerei im 20. Jahrhundert. München, 1962, Bd. 2, S. 7.

Точно так же как химический анализ, разлагая вещество на отдельные элементы, подводит нас через познание их химической валентности к идее возможности их нового синтеза, выделение из единого исторического целого отдельных мотивационных комплексов позволяет историку, устанавливающему их хронологическую одновременность и коррелятивность, синтезировать их в единое целое. Научный аналитический метод историографии, порожденный возникновением целого комплекса вспомогательных исторических дисциплин, оказывается одновременно методом синтеза исторических деталей. Этот методологический прием, который сокращенно можно назвать «выявлением соответствий», обнаруживает целый ряд важных характеристик, которые основываются не на метафизических закономерностях истории или человека, а представляют собой следствие объективного применения научного метода. Отношения между различными мотивационными комплексами, характеризующиеся как «соответствия», не включают в себя причинную связь. Иммунитет, взятый в качестве категории конституционного права, соответствует понятию «поместья» в экономике и понятию «собственного церковного права» (*Eigenkirchenrecht*) в истории церкви; ни одно из этих понятий не является причиной другого и не может быть из него выведено. Тем не менее нельзя пренебрегать их соотносительностью друг с другом, не разрушая вместе с тем возможности их исторического понимания. Торговле на дальние расстояния как экономической категории соответствует право, регулирующее передвижение через феодальные территории (*Verkehrsrecht*) в области истории права и городское самоуправление как историко-конституционное понятие. И в этом случае ни одно из них не обуславливает другое, однако каждое при всей его специфике накладывает отпечаток на содержание другого, определяя его историческое значение. В результате эти корреляции охватывают всю совокупность мотивационных горизонтов некоторого временного периода. Связывая различные мотивационные комплексы в единое целое, эти корреляции исключают возможность перенесения их в другие исторические периоды без изменения их содержания, смысла и значения. Отношение соответствия, связывающее все мотивационные комплексы некоторого исторического периода в единый горизонт, объ-

ясняет, почему невозможно пайти исторически осмысленное понятие города, которое было бы одновременно применимо как к античности, так и к средневековью и новому времени. Оно объясняет, почему невозможно пайти единое понятие ренты, применимое как к западноевропейскому, так и к дальневосточному феодализму. Любое понятие, лишенное своих коррелятивных связей, потеряло бы все свое историческое и историографическое значение. Это означает, что в корреляциях проявляется временная компонента исторического мышления и понимания. Пренебрежение ими приводит к анахронизмам. Это означает, далее, что в качестве хронологической категории соответствие включает в себя историческое развитие. Ни один из мотивационных горизонтов, связанный всей совокупностью своих соответствий с другими горизонтами данного исторического времени, не может измениться иначе как в соответствии с ними или со всей совокупностью исторической действительности; и ни одна вспомогательная наука не может выявить историческое развитие своего предмета, не принимая во внимание выводы других дисциплин и тем самым выводы всей исторической науки в целом. Но не здесь ли и следует искать решения проблемы, поставленной нами выше? Ибо корреляции в отличие от причинных связей обратимы, и, следовательно, перед историком открывается путь достижения интеграции разрозненных знаний отдельных вспомогательных дисциплин в единую, стройную картину, которая своей цельностью соответствовала бы единству той почвы, на которой таинственным образом вырастают отдельные формы жизни.

Понятие корреляции — это одно из обозначений структуры. Оно описывает порядок, который образуют мотивационные комплексы в едином мотивационном горизонте, а последние — в жизненном единстве и однородности исторической реальности. Историк не может произвольно соединять мотивационные комплексы, выявленные им при изучении источников; он должен найти правильные их пропорции, определить их отношения друг с другом для того, чтобы воспроизвести истинную картину мотивационных горизонтов, а тем самым картину и всей исторической действительности. Эта объективная логика вещей, которая под именем исторической необходимости широко распространена в историографии,

может быть четко ограничена с помощью теории структур от натуралистически понимаемой причинности. И даже если отбросить понятие каузальности, это таинственное соответствие не допускает в историческую науку случайностей. Наделяя личность всей полнотой свободы, теория коррелятивности связей позволяет нам усматривать необходимое в целом. Конечно, можно комбинировать мотивационные комплексы, руководствуясь и иной точкой зрения. Возникающие при этом результаты могли бы удовлетворить специфические потребности социолога, этнографа, моралиста, географа и т. д. Но историография никогда не может отказаться от этого способа синтеза материала. Структуры, построенные на основе принципа соответствия, открывают перед историком путь, который поможет осуществить объединение всех современных исторических знаний в цельную картину. Основываясь на взаимозависимости мотивационных комплексов и горизонтов, он должен создать остов исторического процесса, который соединил бы в единое целое как детали, предоставляемые ему вспомогательными дисциплинами, так и события политической истории. Ибо отличительные признаки последней — огромная роль, приписываемая личностно воле и действию, — не противоречат, а дополняют исторические структуры, понятые таким образом. Взаимозависимость развития мотивационных горизонтов можно было бы охватить понятием развития структуры. Современное состояние наших знаний дает основание полагать, что именно здесь лежит ключ к созданию универсальной истории, связывающей в единое целое результаты всех специальных исторических дисциплин.

Часть третья

ИСТОРИЯ
И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Для представителей общественных наук история вообще является социальной независимо от того, называют ли ее историки социальной, политической, экономической или историей религии. Поэтому нельзя сказать, что существует какой-то определенный вид исторического исследования, рассматривающий историческое прошлое так, как это сделал бы представитель общественных наук. Скорее, можно говорить о возникновении нового метода исследования самых разнообразных исторических явлений. Этот метод должен соответствовать всем критериям общественных наук и предоставить сегодня или в будущем данные для решения задач социолога, антрополога, социального психолога и т. д. Историк, работающий в этом направлении, использует теории, категории и методы обществоведа. Ученый-обществовед, обращаясь к изучению прошлого, стремится овладеть мировоззрением и методами историка. Цель настоящей статьи — кратко исследовать принципы, лежащие в основе управления совместной деятельностью историков и обществоведов. Однако не следует предполагать, что вся современная история или даже история будущего должна быть написана только с целью систематического изучения общества. Историография как деятельность значительно шире, чем только систематическое исследование социальных отношений. Отчеты о прошлом, по-видимому, в той или иной форме составлялись в любом обществе. В обществах, имеющих письменность и стоящих на высокой ступени цивилизации, эти отчеты переписываются каждое столетие или с каждым поколением, иногда каждые несколько лет, в разных, зачастую конфликтных версиях.

Историю пишут, преследуя самые разные цели, которые и сами по себе могли бы стать вполне законным пред-

¹ P. Laslett. History and the Social Sciences. — International Encyclopedia of the Social Sciences, v. 6, p. 434—440. N. Y., 1968.

метод научного исследования. Здесь мы только кратко укажем на них. Реконструкции прошлого и его интерпретации строятся для того, чтобы примирить некоторое общество (или какую-либо группу) с его прошлым и с тем, в чем его настоящее отличается от этого прошлого. Они нужны для того, чтобы сделать понятным каждому новому поколению положенное ему место во времени. Они нужны для оправдания религиозных верований и обрядов, для обоснования политических действий, для обогащения эстетического и интеллектуального опыта и просто для того, чтобы удовлетворить любознательность. Даже простой хранитель исторических документов своего народа или своей церкви причастен ко всему этому и, следовательно, делает что-то во имя того, чтобы, как сказал Д'Аламбер в великой «Энциклопедии», достижения прошлого не были потеряны для будущих поколений.

Сменявшие друг друга авторы «Англо-саксонских хроник» не могли, конечно, представить себе науку об обществе или вообразить, что их труд окажется истоком такой науки, тем более ее противоположностью. Но с тех пор многое изменилось. Историки выдвинули целый ряд положений о взаимоотношении истории и общественных наук. Утверждалось, например, что имеется особый исторический метод, который дает свое собственное объяснение того, как функционирует общество. Этот метод изображается также и как единственная в своем роде попытка познать все то, что может быть познано в обществе, так как механизмы функционирования последнего могут быть выявлены якобы только частично. Согласно этой точке зрения, наиболее подходящими методами исторического познания являются повествование и описание (см. Коллингвуд — Collingwood, 1946). Так как никакая социальная ситуация, никакое прошлое событие не могут быть описаны полностью во всех их изменяющихся аспектах, то историк, максимально исчерпываяще изучив предмет, должен отобрать в нем типическое. Одни утверждали, что принципы такого отбора могут быть научными, другие отрицали это, полагая, что отбор может быть только интуитивным. Таким образом, изучение истории рассматривалось либо как отправная точка в развитии общественных наук, либо как конечная цель иного альтернативного типа объяснения, либо же, наконец, как единственное, чего возможно достичь в плане познания об-

щества, ибо наука о нем — химера. Выдвигались также и другие положения. К области интересов историка относились все данные общественных наук, поступающие из прошлого. Так возникли выражения «историческая наука» и «исторические науки».

Все эти различные утверждения о взаимоотношениях истории и общественных наук порождают логические, концептуальные и философские противоречия. В настоящей статье мы обратимся к архаическому и даже вышедшему из употребления значению слова «история», которое поможет нам понять современное отношение истории и общественных наук. История здесь будет пониматься в том очень широком смысле этого слова, которое вкладывали в выражение «естественная история». Некоторые биологи все еще называют себя натуралистами.

В настоящее время термином «естественная история» обозначают биологию, ботанику, зоологию и геологию, желая дать понять, что этими науками занимаются весьма несистематически, дилетантски, для развлечения. Однако до и во время научной революции под «естественной историей» понимались все те знания о природе, которые могли быть получены с помощью простого описания, в отличие от «естественной философии», изучающей ту часть природы, которая могла быть понята теоретически как система принципов. Знания об этих принципах приобретались с помощью систематического применения определенных методов наблюдения.

Если мы теперь заменим термин «естественный» термином «социетальный», то вновь образованное выражение «социетальная история» может противопоставляться выражению «общественная наука», точно так же, как в свое время «естественная история» противопоставлялась «естественной философии» или «естественной науке». Такое словоупотребление подчеркивает, что дополнение общественных наук отнюдь не является единственной задачей истории, избегая тем самым уже упоминавшихся трудностей, связанных с термином «социальная история». Оно подчеркивает также, что социальная информация, которая еще не относится к аналитически сформулированным и методически развитым общественным наукам (и, возможно, никогда не войдет в них), тем не менее может быть воспринята историческим, повествовательным, дескриптивным и интуитивным способом.

Социетальная история, то есть «история» в обычном и широком значении этого слова, относится к общественным наукам так же, как естественная история относилась или относится к естественным наукам. Коль скоро мы сформулировали это косвенное определение, стало ясным, что, хотя любая форма исторического исследования необходимо принадлежит к социетальной истории, независимо от того, назовут или не назовут ее социальной, она не обязательно должна принадлежать к общественным наукам. Тем не менее о некоторых конкретных типах исторических изысканий можно сказать, что они составляют часть общественных наук, но при определенных условиях, которые мы рассмотрим ниже. Мы выделим исторические исследования, задача которых состоит в том, чтобы способствовать развитию общественных наук, как особую часть социетальной истории и дадим им собирательное наименование «целенаправленной (deliberative) социетальной истории».

Мы не будем обращать внимание на ограничения, обычно ассоциируемые со словом «история». Так, археологические данные иногда исключаются из истории. Здесь они будут рассматриваться как часть социетальной истории, равно как и материалы, полученные антропологами и социологами путем прямого наблюдения и словесного общения. Хотя социетальная история является дескриптивной и имеет дело с очень широким кругом источников, несущих бесконечно разнообразную информацию, она должна в значительно большей степени, чем естественная история, удовлетворять строго хронологическому критерию. Ее предметом могут быть только факты, которые принадлежат прошлому и могут быть поняты в необратимой временной последовательности. Но даже это различие ставится трудно уловимым, когда речь идет о данных, собираемых представителями общественных наук для анализа текущей ситуации: эти данные необходимо принадлежат прошлому, хотя бы и очень близкому. Практически же очень близкое прошлое, отраженное в данных недавних социальных исследований, исключается из социетальной истории.

Таким образом, поскольку предметы социетальной истории и истории общественной связаны, ученый-обществовед и социальный историк могут сочетаться в одном лице. Тем не менее у каждого исследователя какой-то ас-

пект преобладает: он может быть, например, больше социологом, чем социально-структурным историком. Некоторые крупные социологи (Макс Вебер, Т. Маршалл и др.) * писали типично исторические работы, а большинство специальных работ в области общественных наук содержит определенный материал исторического характера. Это верно даже для экономической теории (см., например, работу Дж. М. Кейнса, 1930). Что же касается исследований антропологов и социологов, то многие из них неизбежно включают значительную дозу дескриптивной и повествовательной истории традиционного типа. Вероятно, только теоретико-статистические работы полностью лишены исторического содержания. Кроме того, как хорошо известно, некоторые клиги, писавшиеся в качестве исторических, по праву считаются классическими произведениями социально-научной литературы (хорошим примером этого могут служить работы Токвиля **).

ТИПЫ СОЦИЕТАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Можно выделить пять типов исторических исследований, обладающих своими специфическими функциями в изучении общества. Они перечислены здесь в порядке убывающей их значимости для общественных наук, хотя, разумеется, все они в какой-то мере взаимосвязаны.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

Первый тип исторических сочинений, имеющих значение для ученого-обществоведа, принадлежит, собственно говоря, к общественно-научной литературе, так как частично включает работы, написанные самими обществоведами. Каждая такая работа, как уже было сказано, содержит повествовательно-описательные компоненты, которые, естественно, и принадлежат к социетальной истории. Их объем и значение различны. Это могут быть краткие описания и рассуждения, как в книге Гуннара Мюрдаля (Myrdal, Gunnar) «Американская дилемма» (1944), и пространные исторические экскурсы и дискуссии, составляющие большую часть текста книги Виттфогеля (Wittfogel K. A., 1957). Но ни книга Виттфогеля, ни

любая другая работа этого рода не могут быть отнесены в полной мере к социетальной истории, так как цель их состоит в том, чтобы выявить значимость некоторого конкретного института для всех обществ во все времена.

СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Второй тип исторических сочинений, имеющих значение для общественных наук, представляет социально-структурная история. Сюда относятся цельные по своему характеру работы ученых, считающих себя скорее историками, чем обществоведами. Их осознанная цель — дать сравнительно-исторические примеры, которые могут быть использованы наряду со сравнительно-географическими примерами антропологов. Такие исследования имеют различные формы: это могут быть широкие обзоры конкретных обществ в определенные моменты их прошлого или описания социального изменения за какой-то определенный период. Но для них всегда характерно стремление к тому, чтобы охватить целостные национальные общества или культурные регионы, чем изучать какие-либо частные институты. Хотя эти исследования осуществляются в русле установившейся традиции социальной истории, в них руководствуются, насколько это возможно, двумя основными принципами, которые в традиционных работах обычно не выражены. Первый принцип состоит в том, что данные необходимо собирать и анализировать в соответствии с методами и процедурами, общими для всех социальных наук. Второй принцип требует, чтобы выводы представлялись в форме, пригодной для общего социального анализа.

Примером экспериментальной работы такого рода, использующей скорее метод сравнения, чем повествования, и имеющей дело с целостно-социальной структурой, а не с отдельными институтами, является книга Ласлетта «Мир, который мы потеряли» (1965). В этой книге рассматривается английское общество до и после индустриализации и осуществляется попытка удовлетворить требованиям, сформулированным выше. Если мы сравним ее с работой Тревелльяна (Trevelyan G.) «Социальная история Англии» (1942), то различие между социально-структурной историей и традиционной социальной исто-

рней станет очевидным. Краткое перечисление основных принципов этой зарождающейся формы исторических исследований дается ниже.

ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Третий тип исторических работ, имеющих значение для обществоведов, — это исследования прошлого какой-либо специфической области социальной деятельности. Различия между этими особыми областями истории сводятся в значительной мере к различиям их предметов. Однако в последнее время появился более интересный и важный принцип их дифференциации: в определение любой признанной общественной науки входит и требование, чтобы она обладала своей собственной теорией и методом исследования. Но в этом отношении различия между общественными науками очень велики. Исторические исследования внутри каждой из общественных наук должны стремиться к тому, чтобы использовать ее теорию и ее методы. И в одном наглядном случае, а именно в случае экономической истории, это определенно имеет место. Пока только еще одна конкретная область истории обнаруживает признаки подобной эволюции. Это демографическая история, использующая теорию и методы демографии. Эти две общественные науки легче всего поддаются квантификации и математическому анализу. Но не следует думать, что менее эффективные средства и методы, находящиеся в распоряжении представителей других общественных наук, не влияют на исторические исследования. История религии и история образования, например, могли бы в принципе воспользоваться психологией и социологией религии и образования.

Теорию и методы социологии и психологии можно видоизменить таким образом, что они окажутся действенными в исследовании истории литературы и искусства, истории социального и политического мышления, истории математики и науки. Все эти исторические исследования могут воспользоваться такой техникой, как контент-анализ*, и другими средствами, применяемыми социологами и психологами для изучения верований, установок, мнений и идеологии современного мира. Примером такого рода служит работа Лейна (Lane R. E., 1962). Весьма

спекулятивную попытку психологического и интеллектуального анализа прошлого можно найти в книге Эриксона (Erikson E., 1958). Еще одна область исторических исследований способна обнаружить вскоре признаки самостоятельности, используя, когда это возможно, теорию и методы политической социологии. Предварительно этот новый предмет можно было бы назвать историей политических систем, коммуникации и соучастия (participation) в политических действиях. Хотя он неизбежно должен вырасти из исторически ориентированных исследований поведения избирателей, уже имеются некоторые показатели того, что политическое поведение в прошлом и настоящем может успешно изучаться даже в обществах, лишенных демократических традиций управления [см., например, Винцент — Vincent J., 1966]. Различие между этим вновь складывающимся предметом и политической историей обычного типа мы рассмотрим ниже.

Тем не менее исследования такого рода трудно классифицировать. Это видно на примере истории техники, которая связана как с экономической историей, так и с историей математики и науки и может иметь большое значение и в некоторых других областях. Обработывая свои данные и формулируя свои выводы способом, соответствующим их предмету, эти исследования принесут прямую пользу обществоведы, снабжая его сравнительно-историческими примерами в специализированных областях. Социально-структурная история в идеале представляла бы собою своего рода сплав всех исследований подобного рода, а также общую систему, в рамках которой могла бы развиваться каждая из них.

Маловероятно, что изучению какой-то одной специализированной области как целого было действительно посвящено много работ такого типа. Хотя, возможно, и впредь будут появляться такие исследования, как «История социальной и политической мысли», особенно многотомные коллективные труды. Большинство исследований узкого профиля ставят перед собой две задачи. Первая задача — социальный анализ некоторых черт исторически отдаленных ситуаций, анализ, ориентированный на общие проблемы общественных наук. Примером такого типа работ является книга Смелсера (Smelser N.) «Социальные изменения в период индустриальной революции». Это историческая монография, применяющая теорию к

конкретному вопросу — хлопчатобумажным фабрикам Лапкашира в начале XIX столетия. Вместе с тем эта книга была задумана как определенный вклад в общую социальную теорию. Вторая задача состоит в освещении событий прошлого, их новой интерпретации. При этом обращение к социальному анализу современных институтов и установок является лишь случайным, попутным. Можно отметить, что исследования, проведенные до настоящего времени экономическими историками-эконометристами, принадлежат к этому второму типу.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Четвертая категория исторических исследований, имеющих значение для общественных наук, включает документальные и подготовительные работы. Исследования этого типа имеют большую ценность, особенно в настоящее время, когда многие из вышеуказанных областей исторического исследования переживают период становления. Например, выявление и обработка материалов для описания социальных структур, включая семейные структуры и системы родства, по реестрам жителей имело первостепенное значение для социально-структурной истории. Издание и публикация таких документов, как брачные свидетельства, упорядоченная подборка данных о помощи бедным, церковно-приходские книги, содержащие детальные сведения о крещениях, браках и погребениях, — все это относится к категории документальных работ и имеет очень большое значение как для демографической, так и для социально-структурной истории (Ригли — Wrigley E. A., 1966).

ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пятая категория исторических работ, имеющих значение для обществоведов, охватывает все остальные исторические исследования. Традиционные исторические сочинения имеют меньшее непосредственное значение для ученого-обществоведа, чем любой из первых четырех типов исследования. Но это не значит, что труды, созданные или создаваемые по правилам и нормам традиционной ис-

ториографии, не важны. По определению, принятому нами, они принадлежат к социетальной истории и могут быть охарактеризованы как работы, содержащие документальный и подготовительный материал. Многие из них действительно приобретают весьма большую ценность в руках вдумчивого и наблюдательного исследователя-обществоведа. Кроме того, реалистический и критический историк часто может легко и со знанием дела оценить, как используются исторические данные в работах обществоведов. Он может даже, основываясь лишь на исторических критериях, показать ошибочность объяснений как его коллег историков, так и ученых-обществоведов. Примером этого является сокрушительная критика гипотезы подъема нового класса, данная в недавней работе Хекстера (Hexster J. H., 1961) *. Даже если историческая работа и не преследовала цели описать или прояснить социальное изменение, она может послужить этому в руках будущих исследователей или критиков.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СОЦИЕТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Совершенно очевидно, что существует различие между историческими работами, задуманными их авторами как вклад в социальный анализ, и работами, написанными вне всяких подобных намерений. В отличие от традиционных исторических исследований работы первого типа образуют целенаправленную социетальную историю. Хотя некоторые характеристики целенаправленной социетальной истории были бегло очерчены выше, критерии, характеризующие этот вид исторических работ, еще недостаточно ясны и не пользуются всеобщим признанием. Тем не менее стало ясным, что большинство традиционных исторических исследований не отвечали поставленным требованиям.

Прежде всего многие историки возразили бы против того, чтобы их работы были отнесены к категории целенаправленной социетальной истории. Некоторые из них отвергли бы самую идею социальной и политической науки. Эти историки пользуются методами интуитивного познания не только в интерпретации прошлых событий, но и при отборе всего того, что интересует, просветит или даже возвысит их читателей. Анализ общества и социаль-

ных ситуаций, вне всякого сомнения, имеет место и в работах такого типа, но акцент в них делается на описании и повествовании, а задача, решаемая историком, рассматривается как чисто литературная, может быть лишь с некоторой философской окраской. В конце концов история не только соратница общественных наук, но и одно из традиционных искусств, имеющее свою собственную музу. Вполне понятно, что историк, отстаивающий уникальность человеческого опыта, скептически относится к попыткам сформулировать общие правила изучения общества и социального изменения.

Но даже тогда, когда мы не сталкиваемся с сознательным противопоставлением истории общественным наукам, большинство традиционных исторических исследований все еще осуществляется независимо от последних. Они проводятся в отрыве от соответствующих теорий, понятий и исследовательской техники общественных наук. Это вторая причина, объясняющая, почему так много исторических работ имеют весьма относительную ценность для ученого-обществоведа.

Третья причина отчужденности и произвольности взаимоотношений между традиционными историческими исследованиями и общественными науками заключается не столько в особенностях ученого мира, сколько в интересах широкой публики. Требование, чтобы история была «интересной», чтобы она давала связный и содержательный рассказ о важных предметах, заключающий в себе определенную мораль или поучение, влияет как на академического историка, так и на авторов учебников, биографов и журналистов. По традиции к историческим исследованиям предъявляются и другие, еще более жесткие специфические требования. Предполагается, что предметом исторического исследования и повествования должно быть, как правило, некоторое национальное общество. Хронологическое деление должно совпадать с принятыми политическими вехами развития, а события, чувства, установки, подлежащие анализу и объяснению, должны иметь политический характер и выбираться в зависимости от своей значимости для гражданских чувств читателя.

Эти влияния сохраняются даже тогда, когда предмет исследования теряет свой традиционный политический характер. Поэтому многие специальные работы все еще

носят такие названия, как «История американской науки колониального периода» или «История японского просвещения при династии Токугавы». Правда, растущее влияние общественных наук в последние годы начинает устранять некоторые из этих ограничений, и господство политики, государства и гражданских ценностей сейчас значительно ослабевает. Верно и то, что экономическая история обнаруживает тенденцию полного преодоления этих ограничений, хотя она, по-видимому, все еще выбирает темы своих исследований, руководствуясь столько же полемическими и часто политическими соображениями, сколько и соображениями их значения для экономической науки. Поэтому, не говоря уже о традиционных исторических исследованиях, ни одно из направлений, которые мы отнесли к целенаправленной социетальной истории, еще не может быть охарактеризовано как полностью контролируемое общественными науками.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Из всех новейших тенденций в области историографии эконометрическая экономическая история наиболее явно и резко контрастирует с традиционными историческими исследованиями. Ее быстрое развитие за последние годы необходимо требует рассмотрения вопроса квантификации исторических исследований и ее влияния на взаимоотношение истории и социальных наук. Дуглас Норт определил характерные признаки эконометрической экономической истории. Но некоторые историки-экономисты не считают ее за историю или же в лучшем случае называют ее, как Ф. Редлих (Redlich F., 1965), квазиисторией.

Критика экономической истории связана прежде всего с требованием придать числовое значение каждому элементу исторической ситуации, имеющему отношение к рассматриваемой проблеме. Эта новейшая область исторических исследований, получившая название «клиометрики», находится в явном родстве с современными тенденциями в общественных науках. Хотя это направление и было подвергнуто суровой критике, я не считаю, что числовые характеристики делают предмет его исследования менее историчным.

Пусть даже числовые эквиваленты исторических явлений и представляются человеку, рассуждающему с позиций обыденного сознания, совершенно нереальными и вводят массу неопределенностей в исследуемую проблематику. Однако надо помнить, что все исторические суждения сталкиваются с неопределенностями того же самого логического порядка. Попытка рассчитать, какой процент валового национального продукта США в 1850 году был реализован железными дорогами, — действие того же порядка, что и оценка степени влияния распространения христианства на упадок императорского Рима. Применение в клиометрике идеализованных моделей также не следует рассматривать как нечто в корне противоречащее историческому мировоззрению и методу. Гипотезы о том, что могло бы произойти, если бы то, что произошло, не случилось, весьма распространены в исторических рассуждениях традиционного типа. Клиометрика в этом отношении отличается от традиционной истории только тем, что она прибегает к подобным рассуждениям осознанно и открыто, оценивая риск связанных с ними ошибок.

Действительно важный для традиционных исторических исследований момент в клиометрике — это попытка осуществить экономический анализ объектов, не существующих в настоящее время. Именно поэтому данный тип экономической истории принадлежит к общественным наукам в большей степени, чем любое другое историческое исследование. Экономическая история перестала быть просто социетальной историей. Она стала общественной наукой благодаря последним достижениям теории экономического роста. Ибо совершенно очевидно, что чем более фрагментарны подлежащие квантификации данные, тем более сложной и утонченной должна быть необходимая для обработки этих данных теория. Большинство других общественных наук, имеющих эквиваленты в виде различных типов целенаправленной, социетальной истории, не располагают столь развитой теорией, и маловероятно, что она будет в скором времени разработана, за исключением, быть может, демографии. Необходимо также помнить и то, что обширные области информации об экономическом прошлом принципиально не могут и никогда не смогут быть обработаны методами клиометрики.

Поэтому вряд ли возникновение клиометрики являет-

ся предвестником будущего развития взаимоотношений между традиционными историческими исследованиями и общественными науками. В предвидимом будущем только очень немногие историки смогут назвать себя специалистами в области общественных наук и едва ли большее число ученых-обществоведов сможет применить свои теории и методы к материалу, хронологически отдаленному от нашего времени. Наиболее важное изменение произойдет на более скромном уровне: значительно больше исторических сочинений сможет быть включено в категорию «целенаправленной социетальной истории». Важным фактором в этом отношении будет разработка социально-структурной истории.

СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ ИСТОРИЯ

Две характеристики социально-структурной истории были указаны выше: во-первых, она должна собирать данные и осуществлять их анализ в соответствии с методами и процедурами общественных наук и, во-вторых, представлять свои заключения в форме, пригодной для общего социального анализа. Предлагалось также, чтобы социально-структурная история отказалась от повествовательного метода, который в прошлом был почти всеобщей характеристикой исторических исследований.

Поскольку описанию в данном случае подлежат целые социальные комплексы, использование повествовательной формы в исторических работах такого типа особенно затруднительно. И хотя эти работы будут включать в себя противопоставление «до» и «после», их отправными хронологическими точками явится, скорее, средний возраст конкретных поколений, чем определенные моменты времени. Выбор конкретных поколений сам по себе станет важным делом и будет производиться, как и все остальное, не только в соответствии с историческими критериями, но и с учетом потребностей общественных наук в целом.

Социально-структурный историк должен начать свое описание с того же, с чего его начинает антрополог или же социолог, а именно с размеров, структуры и функций семьи в анализируемом обществе. Затем должна быть рассмотрена система родства, далее географические, эконо-

номические, религиозные и интеллектуальные отношения, образующие в совокупности социальную общность. В понятие «общность» включаются здесь все местные, племенные, региональные ассоциации и, наконец, национальное сообщество. Только после этого — и в этом состоит основное отличие практики социально-структурного историка от историка традиционного — он займется политическими институтами и самим государством.

Очевидно, исторические работы такого типа особо остро будут сталкиваться с проблемой, которая касается всякой историографии, а именно как обобщить и сократить описываемый материал, с тем чтобы сделать его обозримым и понятным. Традиционная история имеет для этой цели и традиционное средство: выбор существенных примеров, представляемых как типичные. Так как социально-структурный историк занимается все-таки социальной историей, а не общественной наукой, то он, конечно, может воспользоваться тем же методом. Но мы вправе ожидать, что он имеет значительно более ясные представления о социальной теории или же теориях, которые служат ему критерием такого отбора. Он понимает, что полное историческое описание — это химера, и все, что он может сделать, так это построить некоторую модель рассматриваемого им общества. Функция теорий и полезность моделей в творчестве такого рода состоит в упорядочении данных, в выявлении закономерностей, в существенном упрощении материала посредством аппроксимаций.

С течением времени социально-структурный историк может столкнуться с необходимостью применения различных теорий и моделей. Ему, безусловно, должны быть известны теории и модели, используемые экономистами и демографами. Но его основная задача — построить модель исследуемого им общества, модель, понимаемую в более простом, указанном выше смысле слова. Может быть, лучше было бы говорить не о модели, а о «миниа-юре». Описывая, анализируя, сравнивая, он должен постоянно иметь в виду все общество в целом, а также общие механизмы его функционирования. Для него могут оказаться полезными две модели, или «миниа-юры», своего общества: одна — статическая, другая — динамическая. Они должны быть согласованы друг с другом так же, как теория изменяющейся системы согласуется с тео-

рией этой же системы в состоянии покоя. Социально-структурный историк должен постоянно отдавать себе отчет о том, в каком отношении выбранные им модели искажают познаваемую им действительность, и совершенствовать эти модели. Он должен осознавать случайный характер используемых им теорий, понимать, что существует целый ряд областей, где он, как и его коллега и предшественник, историк традиционной школы, должен будет опираться на интуицию и догадку. Он может прийти к заключению, что общие теории социального действия, аналогичные теории Толкотта Парсонса *, полезны или же, наоборот, вредны для решения стоящей перед ним трудной задачи. Но чрезвычайно важно одно — понять, что его работа носит как теоретический, так и эмпирически-дескриптивный характер.

Социально-структурная история и другие формы целенаправленной социетальной истории, рассмотренные выше, не предлагаются нами в качестве альтернатив традиционных исторических работ, альтернатив, которые должны вытеснить и со временем вытеснят последние. У историографии много других функций, помимо снабжения общественных наук сравнительными примерами, создания для них некоего континуума, в котором они могли бы осуществлять свою работу. Историю будут продолжать писать во имя всех тех целей, для которых ее всегда писали, чем бы ни занимались общественные науки в настоящем и будущем.

Здесь мы только попытались дать краткий обзор сложных отношений, существующих между историей в ее традиционном понимании и современным состоянием общественных наук. Позвольте нам еще раз подчеркнуть, что в прошлом исследователи были часто и историками и обществоведами одновременно. Вероятно, это все чаще и чаще будет случаться в будущем. Но социально-структурная история проводит особенно заметное различие между историками и обществоведами. Как ни сложна и трудна задача написания истории такого рода, она бросает нам вызов, который не могут не принять ни историк, ни ученый-обществовед.

БИБЛИОГРАФИЯ

The Anglo-Saxon Chronicle. Translated with an introduction by G. N. Garmonsway. Lond., Dent, 1953.

Cahnman W. J. and Boskoff A., eds. Sociology and History. Theory and Research. N. Y. Free Press, 1964.

Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford Univ. Press, 1946.

Erikson Erik H. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History. N. Y., Norton, 1958.

Führer-Haimendorf Ch. von. Culture History and Cultural Development, *Yearbook of Anthropology*, 1, 1955, p. 149—168.

Hexter J. H. Reappraisals in History, N. Y., Harper, 1963.

History and Social Science. *Intl Soc. Science Journal*, 17, 1965, № 4.

Keynes J. M. A treatise on money. Lond., Macmillan, 1930.

Lane R. E. Political Ideology: Why the American Common Man believes what he does. N. Y., Free Press, 1962.

Laslett P. The World We Have Lost. Lond., McHuen, 1965 (2 изд. 1970).

Myrdal G. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. N. Y., Harper, 1944.

Redlich F. "New" and Traditional Approaches to Economic History and Their Interdependence. *Journal of Economic History*, 25, 1965, p. 480—495.

Smelser N. J. Social Change in the Industrial Revolution. Univ. of Chicago Press, 1959.

Trevelyan G. M. English Social History. Lond., Longmann, 1942.

Vincent J. The formation of the Liberal Party, 1857—1868. Lond., Constable, 1966.

Wittfogel K. A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, Yale Univ. Press, 1957.

Wrigley E. A., ed. An Introduction to English Historical Demography. Lond., Weidenfeld, 1966.

ФИЛИПП АРИЕС

ВОЗРАСТЫ ЖИЗНИ ¹

Человеку XVI или XVII столетия показалась бы странной та требовательность, с которой наше общество относится к регистрации фактов, влияющих на гражданское состояние своих членов, требовательность, которая нам, напротив, представляется вполне естественной. Как только наши дети начинают говорить, мы учим их называть свое имя, имя своих родителей, свой возраст. Мы очень довольны, когда маленький Поль правильно отвечает, что ему два с половиной года. И в самом деле, мы осознаем важность правильного ответа маленького Поля: что из него получится, если он не будет знать своего возраста? В африканских джунглях понятие о возрасте человека все еще достаточно смутно; оно не является чем-то настолько важным, что его следует помнить. Но как мы, в нашей технической цивилизации, можем забыть точную дату своего рождения, если при каждой поездке должны проставить ее в регистрационном бланке, получая номер в отеле, указать ее в любом заявлении, просьбе, в любой заполняемой анкете? Мы должны напоминать ее вновь и вновь. Маленький Поль называет свой возраст в школе и моментально становится Полем Н. из такого-то класса. Когда же он получает свою первую работу, то вместе с карточкой социального обеспечения ему дают и регистрационный номер, который удваивает его собственное имя. Оставаясь Полем Н., он вместе с тем становится и номером — номером, в который входит его пол, год и месяц рождения. Придет день, когда все граждане страны получают свои регистрационные номера — такова цель учетных служб. Наше гражданское лицо со значительно большей точностью выражается ныне координатами нашего рождения, чем нашей фамилией. Последняя может и не исчезнуть из употребления, но сферой ее применения останется част-

¹ Philippe Ariès. L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Paris, 1960, p. 1—22.

ная жизнь. В гражданской же сфере она вытесняется регистрационным номером, и дата рождения станет одним из составных элементов последнего. В средние века имя собственное считалось очень неточным обозначением человека. Его требовалось дополнять именем семьи и очень часто — названием местожительства. И вот наступило время добавить новую уточняющую числовую характеристику — возраст. Ибо имя собственное и даже фамилия принадлежат к миру фантазии (имя собственное) или к миру традиции (фамилия). Возраст же — величина, официально устанавливаемая в течение нескольких часов, принадлежит к другому миру, миру точности и числа. На сегодняшний день наши нормы описания гражданского состояния принадлежат одновременно двум мирам.

Между тем существуют документы, имеющие для нас очень большое значение. Они составляются нами самими, и форма их не требует указания даты рождения. Типы этих документов весьма различны: одни из них связаны с коммерцией — договоры, чеки; другие иного рода, например завещания. Но все эти типы документов были введены в употребление в давно прошедшую эпоху, еще до того, как современный ригоризм в области идентификации личности получил широкое распространение. Уже Франциск I требовал от юре регистрации даты рождения в приходских книгах. Однако для того чтобы эта регистрация, к тому же уже предписанная авторитетом церковных соборов, действительно имела место, необходимо было, чтобы изменились нравы, противившиеся ригоризму абстрактной сопоставимости². Известно, что только в XVIII веке юре стали вести приходские книги с точностью (или же по крайней мере с сознанием ее необходимости), которой современное государство требует от своих чиновников, активирующих гражданские состояния его подданных. Значение понятия возраста человека должно было расти по мере того, как религиозные и гражданские реформаторы требовали его введения в различные документы. Этот процесс пачался в наиболее образованных слоях общества, например, к XVI веку среди тех, кто обучался в коллежах. В мемуарах XVI и XVII столетий*, к которым я обратился для того, чтобы найти несколько примеров продолжительности обучения, нередко

² Ibid. См. II^e partie, chap. IV.

повествование начинается с того, что рассказчик указывает свой возраст, дату и место рождения. Более того, иногда на возраст обращено особое внимание. Его указывают на портретах, и он выступает в качестве дополнительного признака индивидуальности, точности, аутентичности изображения. На многих портретах XVI века мы находим надписи типа: *Aetatis suae 29* — Возраст 29 лет. вместе с датой создания полотна *ANDNI 1551* (портрет Яна Фернагуута из Брюгге, написанный Поурбусом)³. На портретах знаменитых людей, на портретах придворных указания на возраст, как правило, отсутствуют. Оно имеется, однако, на семейных портретах, связанных с какой-то семейной символикой, и помещается либо прямо на холсте, либо на раме. Одним из самых старых портретов этого типа является великолепный портрет Маргариты Ван Эйк. Верхняя надпись гласит: *co(n) iux m(eu)s Joh(ann)es me c(om)plevit an(n)o 1439°, 17 Junii* (какова точность: мой супруг написал меня 17 июня 1439 г!); внизу же написано: *Aetas mea triginta trium an(n)orum* — мой возраст 33 года. Очень часто портреты XVI века — парные: портрет жены и мужа. На обоих портретах указывается одна и та же дата создания и возраст каждого из изображенных: так, на двух холстах Поурбуса, изображающих Яна Фернагуута и его жену Адрианну де Бюк⁴, стоит дата написания 1551 и указан возраст мужа — 29 лет, возраст жены — 19 лет. Бывает и так, что изображения мужа и жены делаются на одном холсте, как на портрете, приписываемом Поурбусу, на котором мы видим семейную пару вместе с их двумя маленькими детьми. Дата создания полотна — 1559 год. Муж, подбоченившись одной рукой, положил вторую на плечо жены. Дети играют у их ног. Сбоку от изображения мужа помещен его семейный герб с надписью *aetas an. 27—27 лет*. Сбоку от женской фигуры также изображен ее семейный герб и надпись *Aetatis, mes. 20* — возраст 20 лет⁵. Эта форма передачи возрастных данных приобретает подчас значение самого настоящего эпиграфического приема, как, например, мы видим это на портрете Мартина де Вооса.

³ Exposition Orangerie, le portrait dans l'art flamand. Paris, 1952, № 18, № 67.

⁴ Op. cit., № 67, 68.

⁵ Op. cit., № 71.

датированном 1579 годом и изображающем Антония Ансельма, советника магистрата Антверпена, его жену и их двух детей⁶. Оба супруга сидят по углам стола, держа перед собою он—сына, она—дочь. Между ними в верхней части и центре картины помещен красивый, богато орнаментированный картуш со следующей надписью: *concordi ae antonii anselmi et johannae Hooftmans felicig: propagini Martino de Vos pictore, DD natus est elle ann MDXXXVI die IX febr uxor ann MDLV D XVI decembr liberi ä Aegidius ann MDLXXV XXI Augusti Johanna ann MDLXVI XXVI septembr* (счастливые и согласные Антоний Ансельм и Иоганна Хоофтманс, изображенные художником Мартином де Воосом; он родился 9 февраля 1536 года, его супруга 16 декабря 1555 г., их дети Эгидиус — 21 августа 1575 года и Иоганна — 26 сентября 1576 года). Эта надпись говорит нам о мотивах, ее вдохновивших: она находится в тесной связи с семейным чувством и его развитием в ту эпоху.

Эти датированные семейные портреты представляют собой такие же документы семейной истории, как и альбомы семейных фотографий тремя-четырьмя столетиями спустя. Тот же дух характерен и для записей семейных событий, рождений и смерти, вносимых между счетов в деловые книги. Забота о хронологической точности переплетена в них с семейным чувством. Они не столько дают «координаты» отдельного индивида, сколько координаты члена семьи. Выражают стремление передать историю жизни семьи, датируя ее. Это любопытное стремление не ограничивается только портретами, оно распространяется также и на другие объекты, например на мебель. В XVII веке возникает обычай вырезать или же писать краскою какую-либо дату на кроватях, сундуках, шкафах, гравировать ложки или же парадное стекло. Эта дата связана с каким-то волнующим моментом семейной истории, как правило—вступлением в брак. Так датирована в Эльзасе, Швейцарии, Австрии, Центральной Европе мебель XVII—XVIII веков, особенно крашеная. На ней стоят имена обоих ее владельцев. В музее в Туне я столкнулся со следующей надписью на сундуке: Ганс Бишоф — 1709 — Елизавета Мислер. Иногда мы встречаем только инициалы, расположенные по обеим сторонам даты вступ-

⁶ Op. cit., № 93.

ления в брак. Этот обычай был очень распространен во Франции вплоть до конца XIX века. Так, один из исследователей обнаружил в Музее народного искусства департамента Верхней Луары следующую надпись на мебели: 1873 LT JV. Указание возраста или же иной какой-то даты на портрете или вещи продиктовано тем же самым чувством, которое стремится придать семье большую историческую преемственность.

Обычай хронологических надписей, существовавший вплоть до середины XIX века, быстро исчезает, по крайней мере в среднем городском сословии и в высших классах, очень рано расценивших его как наивный и провинциальный. С середины XVII столетия эти надписи начинают исчезать из картин (их, правда, еще можно встретить на полотнах, написанных в провинции или же по заказу провинциалов). Ценная мебель этой эпохи подписывается или датируется в укромных местах⁷.

Несмотря на всю важность возрастной эпиграфики XVI века, в повседневном общении существовали курьезные пережитки тех времен, когда редко приходилось вспоминать свой точный возраст, а если и приходилось, то с большим трудом. Я уже говорил, что наш маленький Поль знает, сколько ему лет с того самого момента, как он начал говорить. А Санчо Панса не знал возраста своей дочери, которую он между тем горячо любил: «Ей, может быть, пятнадцать лет, или же на два года больше или меньше. Во всяком случае, она стройна, как копьё, и свежа, как апрельское утро»⁸... Здесь мы имеем дело с человеком из народа. В XVI веке в образованных кругах общества, где привычки к точности наблюдались довольно рано, дети, вне сомнения, знали свой возраст. Однако весьма забавное правило хорошего тона не позволяло им прямо отвечать на этот вопрос и требовало некоторых оговорок в ответе. Когда гуманист и педагог Томас Платтер рассказывает свою жизнь⁹, то он с большой точностью говорит о времени и месте своего рождения, но считает необходимым при этом сопроводить свой рассказ рядом приличествующих случаю оговорок: «Прежде всего хотелось бы сказать, что нет ничего такого, в чем бы я был

⁷ Musée des Arts et Traditions populaires. Exposition 1953, № 778.

⁸ Сервантес. Дон Кихот. Часть 2, гл XIII.

⁹ Vie de Thomas Platter (l'ancien), éd. E. Fick. Lausanne, 1895.

менее уверен, чем в точном времени моего рождения. Когда мне пришло в голову спросить об этом, то мне ответили, что я пришел в мир в 1499 г., в воскресенье Сыропустной недели, как раз в тот момент, когда зазвонили колокола, зовущие к мессе». Любопытная смесь неуверенности и точности. В действительности не следует всерьез принимать эти оговорки: здесь перед нами принятый способ выражения, напоминающий о тех временах, когда никто не знал точную дату своего рождения. Удивительно, что эта неуверенность стала правилом хорошего тона, что так было принято отвечать на вопрос собеседника о своем возрасте. В диалогах Кордые *¹⁰ дело происходит в школе во время отдыха, и один мальчик спрашивает другого: «Сколько тебе лет? — *Тринадцать, как я слышал от моей матери*». Даже тогда, когда привычка к точной хронологической регистрации событий личной жизни укоренилась в обычаях, хронология такого рода все еще не рассматривалась как нечто важное и значительное и не могла устранить старую возрастную путаницу. Последняя продолжала существовать еще некоторое время в виде правил хорошего тона.

* * *

Понятие «возрастов жизни» занимает значительное место в псевдонаучных трактатах средневековья. Их авторы употребляют терминологию, которая нам кажется чисто вербальной: детство (*enfance*) и отрочество (*puérgilité*), молодость (*jeunesse*) и юность (*adolescence*), старость (*vieillesse*) и сенильность (*sénilité*). Каждое из этих слов призвано обозначать какой-то один определенный период жизни. Мы позаимствовали некоторые из этих слов для того, чтобы обозначить ими абстрактные понятия; такие, например, как *puérgilité* или *sénilité* **. Но смысл, который мы в них вкладываем сегодня, отсутствовал в их прежнем употреблении. И действительно, это были научные термины, получившие впоследствии широкое распространение. «Возрасты», «возрасты жизни», «возрасты человека» в сознании наших предков обозначали настолько известные, положительные понятия, настолько часто повторяемые, настолько привычные, что они вышли за пре-

¹⁰ Mathurin Cordier. Les Colloques. Paris, 1586.

дела науки и получили распространение в повседневном словоупотреблении. Сегодня мы не имеем ни малейшего представления о том значении, которое имело понятие «возрасты жизни» в средневековом восприятии мира. Оно было научной категорией того же порядка, как «вес» или «скорость» для наших современников. Оно принадлежало к некоторой системе физического описания и объяснения мира, системе, восходящей своими корнями к ионической философии VI века до н. э. и усвоенной компиляторами средневековья из сочинений Византийской империи. Влияние этих работ сказывается даже на первых печатных научно-популярных книгах XVI столетия. Мы не стремимся установить здесь точное содержание данного понятия или же место, которое оно занимает в истории науки. Для нас важно только одно: выяснить, насколько была известна наука такого рода, сколь глубоко проникли ее категории в повседневное мышление и что они обозначали.

Мы сможем лучше понять эту проблему, перелистав «Великого Собственника всех вещей» (*Le Grand Propriétaire de toutes choses*, 1556). Это энциклопедия всех светских и духовных знаний, «Большой Ларусс», в основе которого лежит идея основополагающего единства природы и бога. Это физика, метафизика, естественная история, физиология и анатомия человека, трактат по медицине и гигиене, это астрономия и одновременно теология. Двадцать книг этой энциклопедии рассматривают природу бога, ангелов, элементы, человека и его тело, болезни, небеса, время, материю, воздух, воду, огонь, птиц и т. д. Последняя книга посвящена числам и мерам. В ней можно найти и некоторые практические рецепты. За всем этим прослеживается одна общая идея — идея фундаментального единства природы. Природа не отделена от действия сверхъестественных сил. Идея, согласно которой не существует противоречия между естественным и сверхъестественным, принадлежала равно как народным верованиям, унаследованным из языческих времен, так и физике, и теологии. Я считаю, что именно эта ригористская концепция единства Природы препятствовала развитию научного знания в значительно большей степени, чем сила традиции, авторитет античности или Святого Писания. Мы не сможем воздействовать на некоторый элемент природы, если не будем считать его изолированным в достаточной мере. Никакое учение о космосе * не остав-

ляет нам необходимой автономии. Со всеобщим детерминизмом трудно бороться. Познание природы ограничивается в таких случаях исследованием одного и того же строгого закона, управляющего одновременно и движением планет, и сезонными вегетативными циклами, и отношением между элементами, и телом, и судьбою человека. Это познание предвидит, но не видоизменяет. Следовательно, астрология способна объяснить все последствия этого всеобщего детерминизма для отдельного человека. В середине XVII столетия астрологические гороскопы были настолько распространены, что вольнодумец Мольер сделал их мишенью своих сарказмов в «Блистательных любовниках».

Совпадение чисел воспринималось в те времена как один из показателей подобной взаимосвязи явлений. Символизм чисел был чрезвычайно распространен. С ним мы встречаемся в религиозных спекуляциях, физических описаниях, естественной истории, в магических обрядах. Мы едва ли можем себе представить устрашающий образ этого слитого в единое целое мира, в котором замечаются только кое-какие соответствия. Наука устанавливала эти соответствия и определяла связывающие их категории. Однако со временем они перешли из сферы науки в сферу народной мифологии. Все эти концепции, рожденные в Ионии VI столетия до н. э., были восприняты общественным сознанием, с их помощью представляли мир. Категории антично-средневековой науки, такие, как элементы, темпераменты, планеты и их астрологическое значение, символизм чисел оказались во всеобщем употреблении.

Понятие возрастов жизни получило широкое распространение как один из показателей таинственных связей человека и мира. Это понятие, которому суждено было стать таким популярным, без сомнения, уходит своими корнями в драматические спекуляции Византийской империи¹¹. Фульгенциус * открывает его в Энеиде. Он видит в кораблекрушении Энея символ рождения человека среди бурь существования. Он толкует вторую и третью песни как образы детства, жадно внимающего сказкам. Для арабской фрески VIII века также характерна «возрастная» тематика¹².

¹¹ Comparetti, Virgile nel m.e., t. I, p. 144—155.

¹² Kuseir Amra, Van Marle, Iconographie de l'art profane. 1932, v. 2, p. 144 et seq.

Возрасты жизни — одна из излюбленных тем средневековой литературы. «Великий Собственник всех вещей» обращается к этой теме в своей VI книге. Возрасты жизни здесь соответствуют семи планетам. «Первый этап — это детство. Оно начинается с момента рождения ребенка и длится 7 лет. Человек в этом возрасте — дитя. Он еще не может отчетливо выговаривать слова, так как зубы его, — пишут Исидор и Константин *, — хорошо не укрепились. Затем наступает второй этап... называемый *отрочеством* (pueritia) и... длится он до четырнадцати лет».

После этого приходит юность и длится, по Константину, до 21 года, по Исидору — до 28 лет... хотя может продолжаться и до 30—35 лет. «Этот период называется юностью (adolescence) потому, — говорит Исидор, — что человек к этому времени достаточно подрастает для того, чтобы рожать детей» **. Вот почему в этом возрасте растут до тех пор, пока не достигают величины, предназначенной каждому природой. Рост между тем прекращается еще до достижения 30 или 35 лет, даже до 28 лет. Вне всякого сомнения, рост останавливался еще раньше в эпоху, когда работа, начинавшаяся в очень раннем возрасте, преждевременно мобилизовывала все резервы организма.

Затем наступает молодость (jeunesse), средний возраст жизни. В этот период человек достигает расцвета своих сил. Длится этот возраст, по Исидору, до 45 лет, согласно же мнению других — до 50 лет. И называется он молодостью потому, что человек в это время имеет силы помогать себе и другим. После чего, по Исидору, следует зрелость (senecté), промежуточный возраст между молодостью и старостью. Исидор называет его тяжеловесным, так как в это время человек тяжел в своих привычках и манерах. Человек еще не стар, говорит Исидор, но молодость его уже прошла. И, наконец, приходит время старости (vieillesse), которая, согласно мнениям одних, длится до 70 лет, согласно же мнениям других — до самой смерти. В этот период разум человека слабеет... Последний период старости по-латыни называется senies, а во французском для него нет специального названия...

Сегодня это описание нам кажется пустым, чисто словесным, но оно имело в свое время определенный смысл, связывая в воображении судьбу человека и судьбу планет. Та же астральная аналогия положена в основу иной периодизации, соответствующей 12 знакам зодиака. Она яв-

ляется одной из наиболее популярных, эмоционально насыщенных тем готического искусства. Поэма XIV столетия, неоднократно воспроизводимая в XV и XVI веках, так описывает этот календарь этапов жизни¹³.

Шесть первых лет жизни человека
В мире мы сравним с январем.
Как в январе зелень не имеет сил
Распуститься и расцвести, так и ребенок
Не имеет сил в первые шесть лет
Своей жизни¹⁴.

Продолжаем цитировать по другой версии этой поэмы:

В следующие шесть лет ребенок растет...
Так же, как февраль,
Дотягиваясь в конце концов до весны.
А к восемнадцати он сильно изменяется,
Как меняется и месяц март,
Набирая красоту и силу...
Месяц, следующий за сентябрем,
Октябрь.
И хотя человеку не больше 60,
Он стар и сед.
Ему следует подумать о том,
Что время ведет его к смерти.

В поэме XIII века¹⁵ мы читаем:

Вот перед вами месяц январь
У него два лица¹⁶:
Он смотрит в прошлое и будущее.
Так и ребенок в первые шесть лет
Ничего не стоит, так как он ничего не может.
Но о нем нужно хорошо заботиться,
Хорошо кормить его.

¹³ Здесь дается прозаический пересказ содержания отрывков из старофранцузской поэзии, цитируемой автором. — *Прим. пер.*

¹⁴ Grant Kalendrier et compost des bergiers, éd. de 1500, d'après J. Morawski. *Lez douze mois figurez*. Archivum romanicum, 1926, p. 351—363.

¹⁵ J. Morawski, op. cit.

¹⁶ Изображается в календарях в виде двуликого Януса.

Дети, забытые в детстве,
Плохо растут, поздно становятся полноценными.

.
Когда же приходит октябрь,
Человек должен сеять хорошую пшеницу,
Тогда она будет жить и зимой.
Так же следует себя вести и честному человеку,
Сеять для молодых добрые слова,
Творить добрые дела...

Тот же характер имеет соответствие возрастов жизни «другим четверкам»: *consensus quatuor elementorum, quatuor humorum, quatuor anni temporum et quatuor vitae aetatum* (соответствие четырех элементов, четырех темпераментов, четырех времен года и четырех возрастов жизни)¹⁷. В 1265 году Филипп из Новары* говорил о «четырех этапах человека»¹⁸, каждый из которых длится 20 лет. Все эти спекуляции вновь и вновь повторялись в научных сочинениях вплоть до XVI столетия.

Необходимо ясно понимать, что эта терминология, кажущаяся нам сегодня такой бессодержательной, представляет собой перевод на простой язык научных понятий своего времени, соответствует широко распространенному ощущению жизни. Трудности интерпретации данного стиля мышления, с которыми мы сталкиваемся сегодня, прежде всего объясняются тем, что у нас исчезло это восприятие жизни: жизнь как биологическое явление, как социальная ситуация — да, но не больше. А между тем и сегодня мы говорим: «Такова жизнь!», когда хотим выразить нашу покорность судьбе, наше убеждение, что помимо биологического и социального существует еще что-то, чему нет имени, но что трогает нас. Мы ищем его в газетной хронике и именно о нем говорим: «Это так жизненно!» Жизнь при этом подходе становится драмой, разрушающей скуку повседневности. Для человека же средневековья она, напротив, была необходимой, циклической преемственностью, подчас смешной или же меланхолической, возрастов жизни, преемственностью, предначертанной, скорее, общим порядком и сущностью вещей, чем

¹⁷ *Regimen sanitatis, schola salernitania*, éd. par Arnaud de Villeneuve.

¹⁸ Ch. V. Langlois. *La Vie en France au Moyen Age*. 1908, p. 184.

личным опытом каждого, так как очень небольшому количеству людей выпадало на долю прожить все эти возрасты в эпоху высокой смертности.

Популярность понятия «возрастов жизни» делает его одной из самых распространенных светских тем изобразительного искусства. Мы находим их на капителях часовни в Парме¹⁹. Художник изображает одновременно притчу о виноградаре, работниках одиннадцатого часа и символику возрастов жизни. В первой сцене изображен хозяин виноградника, положивший руку на голову ребенка. Надпись внизу уточняет, что речь идет об аллегорическом изображении ребенка: *prima aetas saeculi: primum humane: infanciam* (первый возраст жизни: начало человека: детство). Во второй сцене мы видим хозяина виноградника, положившего руку на плечо молодого человека, который держит какое-то животное и серп. Читаем: *hora tertia: puericia: secunda aetas* (час третий: юность: второй возраст). На последнем изображении рабочий отдыхает, отложив в сторону свою мотыгу. Надпись гласит: *senectus, sexta aetas* (старец, шестой возраст).

В XIV веке образ возрастов жизни приобретает все свои существенные атрибуты, остающиеся почти неизменными вплоть до XVIII столетия. Мы встречаем его и на капителях Дворца Дожей²⁰, и на фреске церкви Эремитани в Падуе²¹. Сначала идет возраст игрушек: дети скачут на деревянных лошадках, играют в кукол и с привязанными птицами. Затем — школьный возраст: мальчики учатся читать, несут книги и пеналы, девочки учатся прясть. Далее следует возраст любви и благородного спорта: кутежи, прогулки юношей и девушек, флирт, свадьбы, майские охоты. Потом наступает возраст войны и рыцарства: изображение воина. Наконец, преклонный возраст — возраст юристов, ученых, педагогов: старый бородатый ученый, одетый по моде прошлого, сидит за столом около камина. Этапы жизни здесь соответствуют не только биологическим стадиям, но и социальным функциям. Известно, что в те времена было очень много мо-

¹⁹ Didron. *La Vie humaine*. *Annales archéologiques*, XV, p. 413.

²⁰ Didron. *Annales archéologiques*, XVII, p. 69, 193.

²¹ A. Venturi. *La Fonte di una composizione del guariento*. *Arte*, 1914, XVII, p. 49.

лодых юристов. Но с точки зрения художника, это занятие приличествует только старикам.

Изображение возрастов жизни почти не изменилось в гравюрах, имевших самое широкое хождение с XVI и до начала XIX века. Они называются «Ступенями жизни» и представляют все возрасты человека от колыбели до смерти. Часто художники изображают людей стоящими на сдвоенной лестнице, поднимающейся слева и опускающейся справа. В центре этой лестницы, как под аркой моста, находится скелет смерти со своей косой. Здесь тема возрастов жизни связана с темой смерти и отнюдь не случайно. Обе темы были одними из самых популярных: эстампы, представляющие ступени жизни и пляски смерти, еще в начале XIX века воспроизводили систему образов, созданную в XIV и XV веках. Но в отличие от гравюр, изображающих пляски смерти, где костюмы персонажей не меняются, оставаясь даже на работах XIX века костюмами XV—XVI веков, на гравюрах, посвященных ступеням жизни, художники одевают героев по моде своего времени. Сохранение же иных атрибутов является поистине замечательным. Перед нами всегда ребенок, скачущий на деревянной лошадке, школьник с книгой и пеналом, молодая красивая пара (со временем был добавлен новый атрибут: молодой человек держит в руках саженец майского дерева как напоминание о празднике юности и весны), воин стал офицером: он перевязан командным шарфом или же несет знамя. На нисходящей части лестницы костюмы персонажей перестают соответствовать моде времени; они не меняются. Мы находим здесь юристов с сумками для документов, ученых с книгами и астролобиями и — что достаточно курьезно — богомольцев с их четками²².

Эти гравюры, принадлежащие к самым привычным вещам обихода, настойчиво внушали зрителю, что жизнь человека разделена на четко выраженные «этапы», для каждого из которых характерен свой образ деятельности, свой физический тип, свои обязанности, своя манера одеваться. Периодизация жизни имела ту же четкость границ (*fixité*), что и природные циклы или же организация

²² Эта тема встречается не только в народном искусстве. Мы сталкиваемся с нею и в живописи, и в скульптуре: у Тициана, Ван-Дейка, на фронтонах Версаля времен Людовика XIV.

общества. И несмотря на постоянные напоминания о старости и смерти, образ возрастов жизни оставался живописной и по-детски добродушной картинкой, чем-то даже немного смешным.

* * *

Антично-средневековые спекуляции оставили после себя обширную терминологию для обозначения возрастов жизни человека. В XVI веке, когда было предложено перевести эту терминологию на французский, оказалось, что во французском языке, а следовательно, и во французском словоупотреблении значительно меньше слов этого типа, чем в латинском, по крайней мере в ученой латыни. Переводчик «Великого Собственника всех вещей» 1556 года совершенно недвусмысленно говорит об этой трудности: «Во французском языке мы имеем большие трудности (при описании возрастов человека. — *Прим. пер.*), чем в латыни, так как в латыни имеются наименования для семи возрастов жизни (как и для семи планет), в то время как во французском только три наименования, а именно, детство (*enfance*), молодость (*jeunesse*) и старость (*vieillesse*)».

При этом надо отметить, что молодостью называли расцвет жизни, «средний возраст». В этой периодизации не было места для юности. До XVIII столетия юность отождествляли с детством. В латыни коллежей не делали различия в употреблении слов *puer* (мальчик) и *adolescens* (юноша). В Национальной библиотеке²³ хранится список учеников коллежа иезуитов в Кане. К именам учеников даются краткие характеристики. Мальчик пятнадцати лет характеризуется как *bonus puer* (хороший мальчик), в то время как его младший тринадцатилетний товарищ называется *optimus adolescens* (лучший юноша). Байе²⁴ в книге о выдающихся детях также признает, что во французском языке не существует слов для того, чтобы различать *pueri* (мальчиков) и *adolescentes* (юношей). Для тех и других есть только одно общее слово: «дитя» (*enfant*).

В конце средних веков смысл этого слова значительно

²³ Bibliothèque Nationale, Manuscrits. Fonds latin № 10990, 10991.

²⁴ Baillet. Les Enfants devenus célèbres par leurs études, 1688.

расширился. Им стали обозначать как младенца (в XVI столетии употребляли выражение «гостиная с детьми» для того, чтобы описать гостиную, украшенную фресками с изображением обнаженных младенцев), так и юношу, большого, часто беспокойного мальчика: «дурное дитя». Слово *enfant* («дитя») в «Чудесах Божьей Матери»²⁵ употребляется синонимично с целым рядом других слов, с такими, как *valet*, *valeton*, *garçon*, *fils*, *beau-fils* (валет, валетон, гарсон, сын, пасынок)*. Выражение «он был *valeton*» можно было бы перевести сегодня как «он был внешне привлекательным пареньком». Но эти слова могли быть сказаны и о молодом человеке («красивый *valeton*»), и о ребенке («он был *valeton*, поэтому они сильно его любили...»). Единственным словом, сохраняющим до наших дней эту старую двусмысленность и неопределенность, является слово «gars». Оно пришло в современный разговорный язык прямо из старофранцузского. Вот примеры этой двусмысленности. Забавен этот «порочный мальчик», «такой ленивый и испорченный, что не научился никакому мастерству, постоянно бывал в обществе пьяниц и обжор».

Вот другой пример, изображающий «ребенка» пятнадцати лет. «Хотя он был послушным и благодарным сыном», он отказывается ездить верхом и посещать женщин. Отец принимает это за робость: «Это свойственно детям». На самом же деле он обручился с Девой. Отец силою принуждает его к браку. Сын пытается убежать и смертельно ранит себя при падении с лестницы. Тогда ему является Дева и говорит: «Добрый брат мой! Видишь ли ты свою возлюбленную?» И после этого дитя испустило свой последний вздох.

По одному календарю возрастов жизни XVI столетия²⁶ в двадцать четыре года жизни «ребенок силен, смел», и «то же происходит с детьми, когда они достигают восемнадцати лет».

Еще в XVII веке мы находим в одном епископальном отчете 1667 года сообщение о том, что в одном из приходов²⁷ есть «юное дитя» (*jeune enfant*). Он прожил в этом

²⁵ *Miracles de Notre-Dame*, ed. G. F. Warner, Westminster, 1885. Jubinal, *Nouveau recueil de contes*, v. I, p. 31—33, p. 42—72; v. II, p. 244, p. 356—357.

²⁶ См. сноску 14.

²⁷ A. de Charmasse. *Etat de l'instruction publique dans l'ancien diocèse d'Autun*, 1878.

приходе приблизительно один год и по договоренности с его жителями учит читать и писать детей обоего пола.

В течение XVII века значение слова «дитя» начинает эволюционировать: старое словоупотребление сохраняется среди более зависимых классов общества, в то время как среди буржуазии это слово употребляется в новом смысле: оно ограничивается его современным значением. Длительный период детства, отразившийся в языке повседневной жизни, явился следствием полного невнимания к явлениям биологического порядка: никто не принимал половое созревание за окончание детства. Идея детства была связана с идеей зависимости: слова «сын», «валет», «гарсон» принадлежали также и к словарю феодальных отношений, выражая зависимость от сеньора. Детство не кончалось до тех пор, пока не кончилась эта зависимость. Вот почему в обычном разговорном языке словом «дитя» называли человека низкого социального положения, полностью зависимого от других: это были лакеи, компаньоны, солдаты и т. д. «Малый мальчик» (*petit garçon*) — это не обязательно ребенок, это и молодой слуга (так же, как сегодня хозяин или старший мастер может сказать о рабочем 20—25 лет: «Это славный парень (*un petit gars*)» или же что он никуда не годится. Так, в 1549 году глава коллежа Бадюель пишет отцу одного из своих юных учеников о его нуждах: «Что же касается прислуживанья ему, то, я думаю, будет достаточно одного мальчика (*petit garçon*)»²⁸.

В начале XVIII века словарь Фуретьера уточняет употребление этого слова: «Дитя — это также слово, выражающее дружеское чувство. Его употребляют при приветствиях, когда хотят кого-либо приласкать или побудить что-либо сделать. Так, когда говорят пожилому человеку: «Прощай, моя добрая мать» («Привет, бабушка» — на современном языке парижан), то она отвечает: «Прощай, мое дитя (прощай, мой мальчик, прощай, малыш)». Или же она может сказать лакею: «Дитя мое, принесите мне то-то и то-то». Хозяин, давая рабочим поручение, говорит: «Ну-ка, ребята, за работу!» Капитан скажет своим

²⁸ J. Gaufrès. Claude Baduel et la Réforme des études au XVI^e siècle. Bull. Soc. H. du protestantisme français, 1880, XXV, p. 499—505.

солдатам: «Смелее, детки, крепитесь». Солдат, сражающихся в первых рядах и наиболее подверженных опасности, называют «погибшими детьми» («Les enfants perdus»).

В то же самое время в семьях, занимавших более высокое социальное положение, где зависимость была только следствием физической слабости ребенка, слова, описывающие детство, тяготели к чисто возрастному значению, обозначали первый этап жизни. В XVII веке выражение «малое дитя» (*petit enfants*) начинает приобретать тот смысл, который мы вкладываем в него сегодня. Более старые нормы предпочитали выражение «юное дитя» (*jeune enfant*), и оно частично сохранилось. Так, в 1714 году Лафонтен употребляет его при переводе Эразма. Речь идет о «юной девочке» (*jeune fille*), которой еще нет и пяти лет: «У меня есть юная девочка, которая только начинает говорить»²⁹. Слово малыш («*petit*») также приобрело специальное значение с конца XVI века: им называли учеников начальных школ («*petites écoles*») даже в тех случаях, если они уже не были детьми. В Англии слово *petty* имело тот же самый смысл, что и во Франции: в одном из текстов 1627 года говорится о школе для «*lyttle petties*», самых маленьких учеников³⁰.

Пор-Рояль * и вся та моральная и педагогическая литература, которую он вдохновил (точнее, которая выразила повсеместно распространенные моральные потребности времени), особенно способствовали развитию и уточнению терминологии детства. Ученики Жаклин Паскаль делились на «младших», «средних» и «старших»³¹. Устав начальных школ Пор-Рояля предписывает³²: «К мессе их водят не каждый день, только самых маленьких». Новое чувство стало вкладываться в слова «маленькие души», «маленькие ангелочки»³³. Все это — выражения, возвещающие о приходе новых чувств, чувств XVIII века и романтизма. В своих сказках мадемуазель Леритье³⁴ пре-

²⁹ Érasme. Le Mariage chretien, trad. de 1714.

³⁰ J. Brinsley. Ludus litterarius, éd. de 1917.

³¹ Jacqueline Pascal. Règlement pour les enfants (appendice aux Constitutions de Port-Royal), 1721.

³² Wallon de Beaupuis. Suite des amis de Port-Royal. 1751, t. I, p. 175.

³³ Jacqueline Pascal, Op. cit.

³⁴ M. E. Storer. La Mode des contes de fées, 1928.

тендует на поучение «юных дуп», «юных людей»: «Эти картины могут натолкнуть юных людей на размышления, которые усовершенствуют их разум». В свете всего этого становится понятным, почему век, который, на первый взгляд, пренебрегал детством, тем самым ввел в употребление выражения, и поныне бытующие в нашем языке. К слову «дитя» Фуретьер в своем словаре приводит хорошо известные нам выражения: «Это балованное дитя и испорченный ребенок, которому позволяли все, не пытаясь его исправить. Нет больше детей, слишком рано они обретают разум и хитрость». «Невинен, как поворожденное дитя». Нельзя же считать, что все эти выражения возникли не ранее XIX века.

Однако, пытаясь говорить о маленьких детях, человек XVII столетия сталкивался с той трудностью, что в его языке не было слов, отличавших маленьких детей от детей более взрослых. То же самое, между прочим, имело место и в английском языке, где слово *baby* относилось и к старшим детям. Учебник латинской грамматики Лили (которым пользовались в английских школах с начала XVI столетия до 1866 г.) адресован ко всем *lyttle babes*, ко всем *lyttle childrens*³⁵.

Во французском языке, на первый взгляд, существовали выражения, специально обозначающие совсем еще маленьких. Одно из них — слово *roupart* («младенец» в современном французском. — *Прим. пер.*). В «Чудесах Божьей Матери» рассказывается о маленьком мальчике, который захотел покормить изображение младенца Иисуса. «Сострадательный Иисус, видя настойчивость и добрую душу ребенка, заговорил с ним и сказал ему: «*Roupart*, не плачь, ты будешь есть со мной через три дня». Но *roupart* этого рассказа — не малютка (*bébé*) в нашем сегодняшнем понимании: его называют также «служба» («*clergeon*»)³⁶, он носит стихарь и прислуживает в церкви: «там были дети малого возраста, знавшие немного букв. В их годы дети скорее тянутся к молоку матери, чем к божественной службе». Слово *roupart* в языке XVII—XVIII столетий вообще перестало относиться к ребенку, но в видоизмененной форме *roupon* стало обозначать то же, что оно обозначает и сейчас (прав-

³⁵ I pray you, all lyttle babes, all lyttle childrens, lern...

³⁶ Miracles de Notre-Dame, op. cit.

да, превратившись в слово женского рода *pourée*) — куклу.

Поэтому французский язык был вынужден заимствовать слова, обозначающие маленького ребенка, которым теперь стали интересоваться, из других языков (иностранных, из школьного или профессионального жаргона). Так, итальянское слово *bambino* превратилось во французское *bambin* (мальчуган, девочка). Мадам де Севинье * употребляет для этих целей также провансальское выражение *pitchoun*, которое она, вне всякого сомнения, позаимствовала во время своего пребывания в Провансе ³⁷. Ее кузен де Кулашж **, который не любит детей, но много говорит о них, пишет о «трехлетних карапузах» (*marmousets* ³⁸ — старое слово, которое превратилось в простонародном языке в *marmots*), «сопляках с жирными подбородками, лезущих пальцами во все тарелки». Пользовались также терминами школьного латинизированного аргота или же языком военных и спортивных академий: «маленький брат» (*petit frater*), «кадет», а для нескольких малышей употребляли слово «*populo*» ³⁹ или «этот маленький народец» (*ce petit peuple*). Наконец, стало популярным использование уменьшительных выражений. «Фан-фан» (дитятко) встречается в письмах мадам де Севинье и в письмах Фенелона.

Со временем значение всех этих слов несколько сместилось. Они стали обозначать не совсем маленьких, но уже немного подросших детей. В языке по-прежнему оставалась лакуна, отсутствовали слова для обозначения ребенка в первые месяцы его жизни. Этот пробел в словаре был заполнен только в XIX веке путем заимствования английского слова *baby*, которое в XVI и XVII столетиях относилось к детям школьного возраста. Так завершилась эта история, и отныне с появлением французского слова *bébé* совсем маленький ребенок получил свое имя.

* * *

Но хотя терминология для описания раннего детства была уточнена, осталась неопределенной граница между

³⁷ Mme de Sévigné. Lettres, 12 juin 1675.

³⁸ Coulanges. Chansons choisies, 1694.

³⁹ Claudine Bouzonnet-Stella. Jeux de l'enfance, 1657.

детством и юностью, с одной стороны, и той возрастной категорией, которая называется молодостью. Понятие о том, что мы сейчас зовем юностью, еще отсутствовало, и его формирование потребовало долгого времени. Оно угадывается в XVIII столетии в образе двух персонажей: один из них литературный — Керубино, второй социальный — новобранец. В образе Керубино подчеркивается известная двусмысленность периода полового созревания, акцентируется женственность мальчика-подростка, расстающегося с детством. Строго говоря, в этом не было особого новшества: поскольку общественная жизнь начиналась очень рано, нежные и мягкие черты первой юности на пороге полового созревания придавали мальчикам женственную внешность. Это объясняет ту легкость переодевания мужчин в женскую одежду и наоборот, которая чрезвычайно распространена в романе барокко в начале XVII века: два молодых человека или две девушки привязываются друг к другу, но один из них оказывается переодетой девушкой и т. д. Каким бы легковерием ни отличались любители приключенческих романов во все времена, необходим все же известный минимум правдоподобия, который и обеспечивался сходством безбородого мальчика с девушкой. Однако это сходство не считалось в те времена характерной чертой юности, признаком возраста. Эти безбородые мужчины с пухлыми щеками не юноши и подростки. Они себя уже ведут как взрослые мужчины: командуют, сражаются. В образе Керубино, напротив, женственность связана с переходом от ребенка к взрослому; она выражает состояние определенного периода, периода зарождающейся любви.

У Керубино не будет преемников. Юность у мальчиков будет ассоциироваться с мужественностью, и прообразом юноши в XVIII веке станет новобранец. Обратимся к объявлению о рекрутском наборе, датируемом концом XVIII века⁴⁰. Оно адресовано «блистательной молодежи»: «молодые люди, желающие разделить ту славу, которую завоевал этот превосходный корпус, могут обратиться к г-ну д'Амброну... Они вознаградят тех (вербовщиков), кто сведет их с настоящими мужчинами».

Первый тип современного юноши — это «Зигфрид»

⁴⁰ Exposition: l'affiche, Bibliothèque Nationale 1953, № 25.

Вагнера. Музыка «Зигфрида» впервые выражает ту смесь чистоты (временной), физической силы, естественности, непосредственности и жизнерадостности, которые сделают из юноши героя нашего XX века, века юности. То, что родилось в вагнеровской Германии, позднее, в 1900-х годах проникает во Францию. «Молодость», под которой тогда понимали юность, становится темой литературы и предметом забот моралиста и политика. Начинают серьезно задавать себе вопрос о том, что думает молодость. Появляются исследования, посвященные ей, такие, например, как исследования Масси* или Анрио. Молодость представляют как посетительницу новых ценностей, призванную оживить старое, склеротическое общество. Сходные настроения были распространены в эпоху романтизма, но тогда они не ассоциировались с какой-то точно определенной возрастной группой и к тому же ограничивались миром литературы и ее читателей.

Напротив, в результате войны 1914 года, когда масса фронтовиков оказалась противопоставленной старшим поколениям тыла, особое «юношеское сознание» стало всеобщим и даже банальным. Это «молодежное сознание» поначалу было чувством бывших бойцов. Мы сталкиваемся с ним во всех воюющих странах, даже в Америке Дос Пассоса. Но с тех пор молодость раздвинула свои границы, потеснив, с одной стороны, детство, а с другой — зрелость. Отныне брак, уже не совпадающий с «устройством жизни», не прерывает молодости. Женатый юноша — один из самых характерных типов нашего времени. Он предлагает свои ценности, вкусы, привычки. Так, на смену эпохе, не знавшей юности, пришла эпоха, в которой юность стала наиболее ценным возрастом. Все хотят вступить в него пораньше и задержаться в нем подольше.

Эта эволюция юности сопровождается параллельной, но противоположно направленной эволюцией старости. Мы хорошо знаем, что в древности старость начиналась рано. Примеры этого достаточно известны: «старикашки» Мольера — молодые люди в наших глазах. Впрочем, иконография старости не всегда изображает ее в виде дряхлой развалины: старость начинается с выпадения волос, с ношения бороды, стариком иногда изображался просто лысый. Именно так дело обстоит со стариком в Тициановском концерте, также представляющем возрасты жиз-

ни. В целом до XVIII века старик оставался чем-то смешным. Действующее лицо у Ротру* хочет навязать своей дочери пятидесятилетнего жениха: «Ему только пятьдесят лет. И ни одного зуба!»

Нет никого, кто не счел бы его
Выходцем из века Сатурна или времен потопа,
А когда он шествует, опираясь на палку,
На своих подагрических ногах, спотыкаясь
На каждом шагу, то его надо постоянно
Поддерживать ⁴¹.

Когда же он постареет на десять лет, он будет напоминать шестидесятилетнего у Кино**:

Согбенный маленький старичок
Кашлял, сморкался, отхаркивал, рассказывал
Анекдоты давно минувших времен —
Все это оглушило Изабеллу ⁴².

Франция прошлого не уважала старость, этот возраст покоя, книг, набожности и болтовни. Образ совершенного человека в XVI—XVII веках — это образ человека молодого: офицер с командной перевязью стоит на вершине возрастной лестницы жизни. Но это не молодой человек в сегодняшнем его понимании. Он принадлежит к той, второй возрастной категории, лежащей между детством и старостью, которую в XVII веке называли молодостью. Фуретьер, который еще всерьез принимает эти архаические проблемы периодизации жизни, думает о каком-то промежуточном понятии зрелости, но он признает, что это понятие мало распространено: «Для юристов молодость и зрелость — это один и тот же возраст». Семнадцатый век видел свой образ в этой властной молодости, в то время как воплощением XX века стали юноши.

Сегодня, напротив, старость исчезла, по крайней мере из разговорного языка, где слово «старик» приобрело несколько вульгарный, презрительный или покровительственный смысловой оттенок. Сначала появился респек-

⁴¹ Rotrou. La Soeur.

⁴² Quinault, La Mère coquette.

табельный старец, предок с серебром в волосах, Нестор, дающий мудрые советы, патриарх с богатейшим опытом жизни — старик Греза, старик Рестиф де ла Бретона * и всего XIX столетия. Он не был еще очень живым и подлинным, но не был уже и таким дряхлым, как старик XVI и XVII веков. Кое-что из этого образа сохраняется и в нашем сегодняшнем почтении к старости, унаследованном от прошлого века. Но это уважение беспредметно, так как в наше время — и в этом-то и состоит второй этап эволюции представлений о старости — старик исчез. Его сменил «человек в солидном возрасте» и «очень хорошо сохранившиеся дамы и господа». Еще одно буржуазное понятие, получившее, однако, широкое распространение. Техническая идея консервации заменила биологическую и одновременно моральную идею старости.

* * *

Дело обстоит так, как если бы каждой эпохе соответствовал свой привилегированный возраст и своя собственная периодизация человеческой жизни: молодость — привилегированный возраст XVII столетия, детство — XIX, юность — XX столетия.

Эти изменения от века к веку были связаны с демографическими отношениями. В них выражается наивное понимание общественным сознанием демографической структуры, которую оно не всегда может познать объективно. Так, отсутствие юности и презрение к старости, или же, напротив, исчезновение старости (по крайней мере в смысле деградации человека) и появление юности выражает реакцию общества на продолжительность жизни. Ее удлинение вызвало из небытия те отрезки жизни, которым ученые Византийской империи и средних веков дали наименование, но которые тогда для большинства людей практически не существовали. Современный язык позаимствовал эту старую терминологию, имеющую чисто теоретическое происхождение, для обозначения новых явлений. Таково последнее перевоплощение некогда столь популярной, а ныне забытой темы «возрастов жизни».

В средние века, в начале нового времени, а среди простого народа и много лет спустя дети вступали в жизнь взрослых, как только начинали считать, что они могут обойтись без помощи матери или кормилицы. Это происходило приблизительно в семилетнем возрасте, спустя некоторое время после отнятия ребенка от груди, а в те времена это делали поздно. Дети сразу же вливались в большую семью взрослых, разделяя со своими друзьями, молодыми и старыми, повседневные труды и развлечения. Единый поток коллективной жизни охватывал все возрасты и состояния, не оставляя никому времени для одиночества и интимности. В этом слишком тесном и слишком коллективном существовании не было места для частной жизни. Семья, выполняя одну определенную функцию продолжения жизни, передачи имущества и фамильного имени, не проникала в глубину человеческих чувств. Мифы о куртуазной (или жеманной) любви презирали брак; а такие реалии, как отдача детей в ученичество, ослабляли эмоциональную связь между родителями и детьми. Можно представить современную семью без любви, но забота о детях, потребность в их присутствии глубоко укоренились в ней. Средневековая же цивилизация забыла пайдейю (воспитание. — *Прим. пер.*) древних и еще не прониклась идеей современного воспитания. Современное общество зависит и знает, что оно зависит, от успехов системы воспитания. Оно выработало систему и концепцию воспитания. Оно сознает его важность. Новые области знания, такие, как психоанализ, педиатрия, психология, изучают проблемы детства, а их рекомендации распространяются обширной научно-популярной литературой.

Средневековая цивилизация не знала ничего подобного просто потому, что она не видела в этом никакой проблемы. Сразу же после отнятия от груди или некоторое время спустя ребенок становился естественным спутником взрослого. Возрастные классы неолитической эпохи, пайдейя эллинизма признавали существование различия между миром детей и миром взрослых; переход из одного состояния в другое предполагал посвящение (инициацию) или воспитание.

⁴³ Ph. Ariès Ibid., p. 462—647.

Возрождение заботы о воспитании в новое время стало великим историческим событием. Эта забота вдохновляла отдельных представителей духовенства, юристов и ученых уже в XV веке. В XVI и XVII веках их отряды пополнились и стали более влиятельными, объединяясь с религиозными реформаторами. Вопрос о воспитании чаще ставился моралистами, чем гуманистами, так как последние больше размышляли о культуре человека вообще и мало занимались воспитанием детей. Реформаторы педагогики, моралисты, оказавшие влияние на жизнь школы и семьи, решительно боролись против анархии (или того, что им казалось анархическим) средневекового общества, с которой церковь давно уже смирилась, призывая праведников искать спасения вдали от этого языческого мира, в тиши монастырей. Это способствовало действительной морализации общества: моральный аспект религии начал мало-помалу практически преобладать над ее магическими или эсхатологическими аспектами. Борьба за новый моральный порядок не могла обойти вопрос о важности воспитания. Ее влияние в истории школы проявилось в преобразовании свободной школы в закрытый коллеж. В период от Жерсона до Пор-Рояля*, в XVI—XVII веках выходит все больше и больше книг по педагогике. Религиозные ордена иезуитов и ораторианцев сделали воспитание и образование своей главной задачей, причем в отличие от проповедников и нищенствующих монахов средних веков педагогическая деятельность этих орденов адресовалась преимущественно не ко взрослым, а к детям и молодежи. Вся эта литература и пропаганда настойчиво внушала родителям, что им доверены души, что на них лежит ответственность перед богом за души и даже за тела их детей.

Стало общепризнанным, что ребенок, прежде чем вступить в мир взрослых, нуждается в специальном режиме, своеобразном карантине.

Это вновь пробудившееся внимание к воспитанию детей постепенно пустило прочные корни в обществе, радикально преобразуя его. Семья перестает быть только институтом частного права, инструментом для передачи имущества и фамильного титула. Она приобретает также моральную и духовную функции, формируя тела и души. Вакуум между физическим продолжением рода и юридическим институтом должно было заполнить воспитание

детей. Забота о детях порождает новые чувства, новые привязанности. Иконография XVII века настойчиво и радостно выражает новое современное чувство семьи. Родители уже не могут, как это было раньше, произведя на свет нескольких детей, обеспечить лишь некоторых из них, бросая остальных на произвол судьбы. Дух времени предписывает, чтобы все дети, а не только старший сын, были подготовлены к вступлению в жизнь. С конца XVII века это требование распространяется и на дочерей. Эта миссия возлагается на школу. На место традиционной системы обучения приходит новая, преобразованная школа как инструмент воспитания суровой дисциплины, охраняемой законом и полицией. Чрезвычайно быстрое развитие школы в XVII веке — одно из следствий вновь проявившейся заботы родителей об образовании своих детей. В сочинениях моралистов того времени настойчиво внушалось родителям, что их долг состоит в том, чтобы как можно раньше отдать своих детей в школу: «Родители,— говорит нам один документ 1602 года,— которые заботятся о воспитании своих детей, заслуживают несравненно большей чести, нежели те, которые просто родили их. Важно не только дать жизнь, но сделать эту жизнь доброй и праведной. Вот почему родители правильно поступают, посылая своих детей в самом нежном возрасте туда, где обретается истинная мудрость, иначе говоря, в коллеж, «где они станут кузнецами собственного счастья, украшением отечества, семьи и друзей»».

Семья и школа совместными усилиями вывели ребенка из общества взрослых. Школа заперла до сих пор свободного ребенка в рамки все более и более строгого дисциплинарного режима, кульминационным пунктом развития которого явились в XVIII и XIX веках закрытые учебные заведения, интернаты. Усилиями семьи, церкви, моралистов и руководителей учебных заведений ребенок был лишен той свободы, которой он располагал ранее в мире взрослых. Они принесли ему плеть, карцер — все то, чем раньше наказывались осужденные из низших слоев общества. Но за этой суровостью стояло иное чувство, в корне отличное от прежнего безразличия к судьбе ребенка: всепоглощающая любовь к детям, получившая самое широкое распространение с конца XVIII века. Можно заметить, что вторжение детства в мир человеческих

чувств вызвало и такие явления, как мальтузианство, контроль над рождаемостью и т. д. Последнее появилось в XVIII в. в момент, когда семья завершила свою реорганизацию вокруг ребенка и воздвигла между собой и обществом стену частной жизни.

* * *

Современная семья изъела из общественной жизни не только ребенка, она отвлекла на себя значительную долю времени и интересов взрослых. В семье ищут удовлетворения потребности в интимности, равно как и потребности быть самим собой: членов семьи объединяют чувства, привычки и стиль жизни. Она отвергает промискуитет, порождаемый древней общинностью. Известно, что моральное засилье семьи было по своему происхождению буржуазным явлением: аристократия и простой народ, два крайние полюса социальной лестницы, гораздо дольше придерживались традиционного стиля поведения, оставаясь безразличными к давлению со стороны буржуазии. Народные массы надолго сохранили вкус к коллективному образу жизни. Последнее говорит, таким образом, о зависимости между семейным и классовым чувствами. В процессе нашего исследования мы сталкивались с этим неоднократно. Люди различных сословий веками играли в одни и те же игры. Но новое время произвело отбор: одни игры стали преимуществом людей с положением, другие были предоставлены детям и народу. Благотворительные школы XVII века, основанные для бедных, поначалу привлекали и детей богатых. С конца XVIII века буржуазные семьи восстают против такого смешения и забирают своих детей из заведений, которые позже превратятся в массовые начальные школы. Для детей богатых создаются пансионы и коллежи с маленькими классами. Игры и школы, вначале общие для всех, приобретают отныне классовый характер. Происходит так, как если бы полиморфный и вместе с тем целостный социальный организм распался и был заменен, с одной стороны, множеством малых сообществ, семей и, с другой стороны, несколькими сильными группировками, классами. Семьи и классы объединяют людей по их моральному сходству, единству образа жизни, в то время как старая социальная система объединяла людей самых различных возрастов и

состояний. Социальные условия при этом были тем более расчленены и иерархизированы, чем теснее была пространственная близость людей. Отсутствие пространственной дистанции стремились компенсировать моральными разграничениями. Строгий ритуал внешних знаков уважения, различия в одежде вносили коррективы в фамильярность совместной жизни. Слуга не покидал своего хозяина, другом и сообщником которого он становился. Это объяснялось привязанностью, выраставшей на базе совместных походов в пору юности, привязанностью, которую нам очень трудно понять сегодня. Надменность хозяина при этом соответствовала наглости слуги. Она была призвана вновь и вновь восстанавливать между ними дистанцию, которую их чрезмерная близость очень часто ставила под вопрос.

Жизнь складывалась из контрастов: знатность и богатство соседствовали с нищетой, порок — с добродетелью, озлобление — с преданностью.

Но все эти кричащие противоречия и вся эта пестрота никого не удивляли. Они воспринимались как естественное разнообразие мира. Люди с положением, пышно одетые, не испытывали ни малейшего стеснения, посещая тюрьмы и больницы, сталкиваясь на улицах с нищими, полуодетыми бедняками. Это постоянное соприкосновение крайних социальных сословий не стесняло одних и не унижало других. Моральный климат современной южной Италии отчасти еще напоминает эти отношения. Затем пришло время, когда буржуазия отказалась выносить давление большинства и контакт с народом. Она отделилась, она ушла из этого огромного полиморфного общества и замкнулась в семье, в интимном жилище, в новых кварталах, охраняемых от всякого соприкосновения с народом. Совместное существование людей, неравных по своему положению, некогда воспринимавшееся как нечто совершенно естественное, стало для буржуазии невыносимым: отвращение богатых предвосхитило стыд бедных. Стремление к интимности, новая потребность в комфорте, порождаемая этой интимностью (между ними существует тесная связь), еще сильнее обострили противоположность образа жизни буржуазии и народа. Старое общество в минимальном физическом пространстве концентрировало максимальное число самых разнообразных стилей жизни. Если оно и не стремилось сознательно к пестрому смеше-

нию крайних социальных состояний, тем не менее оно принимало его. Новое общество предоставляет каждому стилю жизни свое ограниченное пространство и требует от своих членов под страхом отлучения уважения к основным нормам этих стилей, подражания установленным образцам поведения — некоему идеальному типу.

Чувство семьи, чувство класса и, может быть, чувство расы представляются нам проявлениями той же нетерпимости к различию, общей заботы о единообразии.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ,
ПОСТАВЛЕННЫХ РАЗВИТИЕМ
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ¹

Современный историк перестал быть «мастером на все руки», который брался рассуждать обо всем с высоты неопределенности и универсальности своего предмета — истории. Он перестал рассказывать о том, что было, то есть отбирать в происшедшем то, что он считал соответствующим его повествованию или его вкусу, или его теории. Теперь он, как и его коллеги в других гуманитарных науках, должен сказать, что именно он ищет, какие материалы имеют отношение к данному вопросу. Он должен четко сформулировать свои гипотезы, полученные результаты, методы и доказательства, а также свои сомнения.

В этом воспитании (или перевоспитании) историка, которое продолжается уже долгое время, первостепенную роль, я полагаю, сыграла политэкономия, введя в сферу истории как свои методы, так и свой специфический предмет. Во Франции, например, движение, получившее в 30-е годы название исторической школы «Анналов», своим поворотом к количественной истории и статистическим моделям и экономике как фундаментальному измерению всякой эволюции. Количественные доказательства при этом необходимо связываются с описанием экономического уровня истории; они рождаются из аналитического расчленения историком своего предмета изучения — времени.

Но тот, кто говорит о количественной истории, затрагивает тем самым и количественные данные, то есть ряды однородных единиц, позволяющие реконструировать

¹ Francois Furet. Sur quelques problèmes posés par le développement de l'histoire quantitative.— "Information sur les sciences sociales", VII-1, Février 1968, p. 71—82.

связное целое из одинаковых или сравнимых на протяжении длительного периода явлений. Как правило эти количественные данные не обрабатывались и не использовались в качестве источников историками XIX века. Каждый тип историографии создает свои собственные архивы и «monumenta» *, основанные на том, что завещала нам эпоха позитивизма: это собрания административных или политических документов, относящихся к проблемам управления людьми и борьбе за власть.

В целом можно сказать, что отбор, организация и даже классификация исторических архивов до недавнего времени соответствовали тому типу документации, одновременно разнородной и кустарной, который господствовал во всей исторической литературе в течение полутора веков. Известная позитивистская концепция документа — не связывающая его ни с рядом, которому он принадлежал, ни с проблемой, решаемой историком, — казалась единственной эпистемологической мудростью.

Напротив, в первой половине XX века в трудах Си-миана, Бевериджа **, Гамильтона *** и Лабрусса, если не касаться менее важных имен, экономическая история, превратившись в привилегированную область и, так сказать, в элемент точного знания внутри исторического повествования, сразу же создала и свои собственные архивы, отличающиеся от традиционных в двояком отношении. Эти архивы не только дополняли историю новой областью исследования, но и в отличие от старой документации подчинялись требованиям внутренней связности и полноты (или репрезентативности), порожденным самой экономической наукой.

Они зародились как систематизированные описания цен, ибо данные о движении цен, собранные крупными европейскими странами, начиная с XVI века, представляли собой основной материал для историко-экономического исследования. Эти ряды цен, обработанные и составленные из однородных и сопоставимых единиц, позволили реконструировать «тренды», то есть длительно действующие тенденции и различные типы циклов европейской экономической конъюнктуры. В экономическую историю было введено, таким образом, понятие о множественности отличающихся друг от друга времен: многовековой или столетний «тренд», циклы внутри «тренда», годовичные движения внутри циклов и сезонные колебания в преде-

лах года. Но даже такое описание всегда содержало в себе некоторую интерпретацию, соотнесение частного случая с общим, с прогрессом. Так, например, Лабрусс добавляет к концепции Симиана содержательную теорию движения цен, которая толкает его к тому, чтобы на основе выведенных кривых систематизировать всю феодальную экономику. Общие черты этой модели известны²: преобладание сельскохозяйственного производства и производства зерна; приблизительно десятилетний экономический цикл, определяемый величиною урожая, причем резкое повышение цены денег является предвестником будущего кризиса; углубление промышленного кризиса вследствие падения спроса на товары у крестьян; особенно тяжелые последствия кризиса для широких народных масс в связи с высокими темпами роста цен на наиболее депешевые продукты питания (например, на рожь по сравнению с другими зерновыми) и неустойчивостью деревенской экономики, основанной, главным образом, на хозяйственной автаркии. Эта общая систематизация, в которой индуктивные выводы смешивались с направляющей гипотезой дедуктивного характера, не только убедительно показывала значение количественной истории для разработки фундаментальных понятий современной историографии. Она породила в качестве средств своей верификации или, напротив, опровержения количественные исследования и на других уровнях. Здесь я прежде всего имею в виду исследования по демографии дореволюционной Франции, которые в своей совокупности подтвердили модель циклических продовольственных кризисов, показав наличие периодических демографических спадов, во время которых показатель воспроизводства населения колеблется около единицы³. Столь значительное достижение новейшей историографии «новой» истории Европы («новой» в смысле доиндустриальной),

² C. E. Labrousse. *Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII^e siècle*, Paris, 1932, 2vol.

³ См. особенно нижеследующие работы: J. Meuret. *Les crises de subsistance et la démographie de la France d'ancien régime*. - "Population" 1 (4), 1946; E. Gautier et L. Henry. "La population de Crulai, paroisse normande: Etude historique", Paris, Institut National d'Etudes Démographiques, 1958 (*Cahiers de L'INED*, 33); P. Goubert. *Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730*, Paris, SEVPEN, 1960.

определяющее характер экономики «старого режима», также основывается в конечном счете на установленной взаимозависимости между двумя однородными рядами документов; а именно между прейскурантами и приходскими книгами, между ценами и демографией. Для каждого из этих двух рядов документов были постепенно выработаны свои правила использования и обработки, основанные по возможности на операциональных понятиях современной политической экономики и демографии.

Особенно блестящими оказались результаты во второй из указанных областей: историческая демография сегодня, вероятно, является наиболее строгой в научном отношении частью историографии. Это стало возможным, прежде всего потому, что, по крайней мере, в двух странах — во Франции и Англии — имеются многочисленные, относительно хорошо сохранившиеся, однородные и богатые информацией источники, содержащие измеримые сведения о рождаемости, браках и смертности. Методология этих исследований вплоть до технических деталей была тщательно разработана во Франции, прежде всего Л. Анри и П. Губером*, за которыми в Англии последовали П. Ласлетт и Кембриджская группа исторической демографии.

Более сложной является проблема обработки рядов цен, так как последние далеко не охватывают всего предмета экономической истории независимо от того, какое бы значение ни придавали их колебаниям. Это одна из причин, по которой история и привилегированное положение цен, как индикаторов экономического развития и конъюнктуры (индикаторов с обратным знаком, по крайней мере в экономике «старого режима», так как длительное повышение цен означало процветание, а кратковременное — кризис) начинают отступать на второй план. В этом, по-видимому, заключается также смысл американской критики работы Лабрусса и ее проблематики, сконцентрированной на ценах и унаследованной от Симьяна⁴. Иначе говоря, оспаривается не ценность прейс-

⁴ См. статью: D. S. Landes. The statistical study of French crisis. — "Journal of economic history", 10 (2), 1950, pp. 195—211, и дискуссию, которая последовала за ней: A. Danière. Feudal incomes and demand elasticity for bread in late eighteenth century France. — "Journal of economic history", 18 (3), 1958, p. 317—331;

курантов как источников экономической истории, а их право быть единственным ее источником.

Сам Лабрусс, начиная со своего знаменитого «Очерка», постоянно настаивал на важности изучения истории доходов и общественного распределения национального продукта, несмотря на то, что источники, позволяющие восстановить величину заработной платы, ренты и различных типов прибылей, значительно менее надежны и требуют еще более тонкой обработки, чем источники по истории цен. Однако диалектика взаимодействия прошлого и настоящего, одновременно создающая и историю и историографию, вызвала в 30-х годах XX в. своеобразную инверсию перспективы: там, где раньше историк экономики искал прежде всего кризис и его объяснение, историк пятидесятых годов — иногда это одно и то же лицо! — ищет показатели экономического роста и, в частности, периоды его взлета («take-off») *. Но сегодня экономический рост выражают не косвенным путем, через вариации цен отдельного продукта, а в более существенных показателях, таких, как производство, производительность труда, макроэкономические балансы **, производство на душу населения. Все это помогло вновь открыть многообразие уровней жизни и экономической истории. В то же время это способствовало тому, что преимущественное внимание стали уделять историко-экономическим периодам, по длительности значительно превышающим экономические циклы, излюбленным «долговременностям» Ф. Броделя⁵, в рамках которых можно определить инерционные структуры развития.

Исследования экономического роста до некоторой степени обесценили изучение графиков цен, поскольку между ростом цен и периодами особо быстрого возрастания доходов или совокупного общественного продукта нет устойчивых совпадений. Как недавно отметил П. Бэррон⁶, в Испании и Англии между 1730 и 1800 гг. (согласно также данным Гамильтона) существовал одина-

D. S. Landes. Reply to Mr. Danière and some reflections on the significance of the debate, *ibid.*, p. 331—338; A. Danière. Rejoinder *ibid.*, p. 339—341; D. S. Landes. Second reply, *ibid.*, p. 342—344.

⁵ F. Braudel. Histoire et sciences sociales: La longue durée, *Annales: Economies, sociétés, civilisations*, 13 (4), 1958, p. 725—753.

⁶ P. Bairoch. Révolution industrielle et sous-développement. 2^e éd., Paris, 1964.

ковый разрыв между эволюцией стоимости и цен, и тем не менее только в Англии произошла промышленная революция. Если согласиться с датами, (впрочем, весьма спорными) периодов бурного роста («take-off»), предложенными У. Ростоу⁷ для ряда стран, то можно видеть, что они не совпадают, за редкими исключениями, с конъюнктурами повышения цен: производство может расти столь же быстро и в периоды понижения цен. Это положение распространяется и на прибыли: в одной недавней работе⁸ было показано, что во Франции XIX столетия прибыль в промышленности зависела скорее от объема производства, чем от состояния цен (даже если и верно, что в периоды повышения цен получают прибыль от инфляции). Поэтому в современной экономической истории преобладают иные методы квантификации, нежели в предыдущие периоды. Они ближе к требованиям Кузнецца* или к модели по схеме затраты—выпуск**, чем к требованиям Симпсона. Пользуясь этими методами и основываясь на гипотезе оптимальности, стремятся ретроспективно воссоздать историческую последовательность балансов национального продукта (в стоимостном и натуральном выражении) по образцу тех, которые составляются современными государствами уже в течение нескольких десятилетий.

Я пока ничего не говорил о трудностях этой задачи, а они чрезвычайно велики. В некоторых случаях эта задача вообще неразрешима. Ретроспективные макроэкономические построения требуют от историка не только тщательной проверки их источников, относящихся к современной эпохе (определим ее приблизительно как период с конца XIX века по настоящее время), но и непосредственного восстановления данных предшествующих эпох. Чем отдаленнее эти эпохи, тем к большему числу экстраполяций мы вынуждены прибегать, тем более произвольным и, следовательно, спорным оказывается использование различных коэффициентов. Во Франции, например, М. Марчевский⁹ и его ученики занимались

⁷ W. Rostow. Les étapes de la croissance économique, Paris, 1960.

⁸ J. Bouvier, F. Furet et M. Gillet. Le mouvement du profit en France au XIX^e siècle, Paris, 1965.

⁹ Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée, 1961—1963.

проблемой реконструкции валового продукта (в натуральном и стоимостном выражении) французской промышленности и сельского хозяйства с начала XVIII века. Они получили чрезвычайно интересные и убедительные результаты по промышленности, начиная с XIX века. Послереволюционная Франция, возобновляя заведенный еще до революции порядок в хозяйственных управлениях и у интендантов Людовика XVI, можно сказать, просто упивалась статистикой. Мы и сейчас еще не в состоянии обработать все имеющиеся данные той эпохи. Безусловно, они не охватывают всего. Например, такой важный момент, как самопотребление крестьянами произведенного продукта не мог быть измерен. Однако разве сегодня наши знания в этом вопросе существенно улучшились? Мы и теперь определяем долю на самопотребление в общем товарном балансе страны, манипулируя рядом коэффициентов. Что же касается промышленности, то здесь, напротив, со времен Шапталя* статистический аппарат был приведен в полный порядок и находится в отличном состоянии с 40-х годов прошлого века. Статистические данные по префектурам, данные воинского учета, демографические и фискальные документы всех видов позволяют восстановить существенные характеристики не одной только экономики. Старые документы землеустроительных и кадастровых съемок, проведенных в свое время в Анжевиле, ясно показывают, что люди, осуществлявшие эти обширные работы и статистические переписи, уже тогда стремились свести их данные в единое целое. Но все это отнюдь не исключает того, что для периодов, предшествующих XIX веку, отсутствие научной статистики снижало ценность любых полученных результатов. Пользуясь числовыми коэффициентами, предложенными политическими арифметиками** и физиократами, мы рискуем построить такие ряды статистических данных, которые будут стоять немногим больше, чем их «литературные» источники. Воссоздание рядов статистических макроэкономических данных до XIX в. представляется делом счастливой случайности. Ниже мы покажем, что сегодня следует стремиться к реконструкции серии статистических данных частного характера — по отдельным периодам и различным аспектам экономики (производство, производительность труда, занятость и т. д.).

Но даже если мы и предположим, что нам удалось в полной мере и достаточно надежно воссоздать макроэкономические серии данных, последние все же не смогут ответить на все вопросы историка, так как они (в лучшем случае) позволяют лишь заново разработать статистическую модель общего экономического равновесия, но не объясняют скачков в экономической эволюции. Экономическое равновесие — это отнюдь не малозначащий фактор. Именно оно придает истории то, что называется «большой длительностью», всю ее инерционную массу, которую, как правило, всегда ошибочно определяют оптимистические приверженцы религии прогресса. Но модель равновесия не решает проблемы перехода от одной экономической системы к другой. Количественные ряды позволяют лишь идентифицировать момент перерыва постепенности, но они не объясняют его причин. Последние часто кроются в действии какого-либо внешнего фактора — либо совсем нового, либо обновленного серией копвергентных трансформаций, каждая из которых сама по себе незначительна, однако взятые в целом они могут нарушить общее равновесие системы. В таких случаях обращаясь к гипотезе, к теоретической модели, построенной на основе качественного анализа, и модели микроэкономического * характера, которые заменяют количественный анализ в описании новой экономической системы.

Применяя марксистскую терминологию, можно сказать, что совокупность рядов количественных экономических данных позволяет в лучшем случае воссоздать основные производительные силы того или иного сообщества. Но эти данные не объясняют и не могут объяснить перехода от одного «способа производства» к другому «способу производства». Например, микроэкономическая документация не дает нам никакой информации о том, переходит ли, и если да, то в какой пропорции, капитал, накопленный в сельском хозяйстве или торговле, в промышленной капитал, по той простой причине, что ответ на данный вопрос предполагает качественный анализ. Мы не можем быть даже уверены, что воссоздание длинных количественных рядов всегда позволяет нам точно зарегистрировать те даты, в интервале между которыми происходит фундаментальная перестройка способов производства. Вновь обращаясь, например, к пробле-

матике, поднятой Ростоу, мы видим, что вопрос о хронологии взлета французской экономики нельзя решить на основе указанных данных, так как количественный рост производства и доходов на душу населения происходит довольно равномерно в течение всего XIX столетия, и мы не можем выделить два или три десятилетия, особенно характерные в этом отношении¹⁰.

II

В то же время в гипотезе «способа производства», образующего всеохватывающую систему отношений людей к природе и друг к другу, современная количественная история как раз и находит свое наилучшее оправдание. Количественная история создается не ради удовольствия упорядочивать числа в хронологические ряды. Предметом количественной истории должен быть анализ целой совокупности переменных, исследование отношений между величинами, имеющими значимый характер. Но отсюда, как нам кажется, следует, что главной задачей историка, работающего с рядами количественных данных, является не исследование проблемы перехода от одной социальной системы к другой, а максимально полное описание переменных в пределах некоторой системы. Именно это радикальное изменение традиционной эпистемологической перспективы, это заимствование метода у современной антропологии* может превратить историю в науку о человеке, занимающую свое место среди других наук этого рода. Для чего отнюдь не требуется, чтобы история отказалась от исследования своего собственного предмета — времени. Необходимо, однако, чтобы она перестала рассматривать время лишь только как непрерывный каскад качественных скачков.

Исторический период, который мы во Франции называем «новой историей» (конец средних веков — начало XIX в.), стал объектом многочисленных исследований в последние два десятилетия. Эти исследования позволяют нам с большой количественной точностью реконструир-

¹⁰ См.: M. Marczewski. В: "Cahiers...", op cit.; P. Bairoch. Niveau de developpment économique de 1810 à 1910 "Annales": E. S. C., 20 (6), 1965, p. 1091—1117.

ровать демографо-экономическую систему того, что, по терминологии 1789 года, мы все еще называем «старым режимом». Так, П. Губер не только описал¹¹, но и объяснил механизмы демографического застоя, имевшего место в течение длительных периодов времени. В другой области экономико-исторического исследования Р. Бэрэль¹² попытался выйти за пределы чистой истории цен и экономической конъюнктуры, исследуя отношения затрат к выпуску в сельском хозяйстве Нижнего Прованса в XVII и XVIII веках. Он рассматривает отношение, которое само по себе является фундаментальным для истории цен: отношение предложения, то есть производства к спросу, зависящему от демографических факторов и покупательной способности населения; последняя является одновременно как суммарно-сводной, так и социально-дифференцированной. В этой работе впервые при анализе производства используются источники, связанные с выплатой различных феодальных повинностей (десятины, церковного сбора, арендной платы натуральным продуктом или деньгами). Как очень часто случается в экономической истории, эти данные ничего не говорят нам об абсолютных величинах производства. Их ценность состоит в том, что они дают материал для сравнений и сопоставлений. При ежегодном сопоставлении одной и той же части урожая они являются превосходными показателями движения сельскохозяйственного производства (в натуральном его выражении), причем автор проверяет их данными, взятыми из сохранившихся частных учетных книг. Что касается спроса, то росту предложения «основных» (сельскохозяйственных) товаров соответствует рост общего числа населения. Последнее определяется на основе расчета различных демографических показателей. В тех случаях, когда это возможно, воссоздается также движение доходов по данным коммунальных и сеньориальных казначейств, десятины, земельной ренты, прибылей предприятий, заработной платы.

Анализ аграрной экономики прошлого был проведен совсем недавно на значительно более широкой основе

¹¹ P. Goubert. *Op. cit.*

¹² R. Baehrel. *Une croissance: la Basse-Provence rurale, fin du XVI^e siècle — 1789*, Paris, 1961.

Ле Руа Ладюри¹³. Он изучил всю область Лангедока за очень длительный отрезок времени (XV—XVIII века). В его распоряжении была весьма богатая документация, которая, в частности, благодаря сохранившимся кадастровым переписям, позволила ему исследовать движение земельной собственности. XV—XVIII века — это период единого и исключительно длительного аграрного цикла, в котором периодические колебания производства происходили на фоне общего устойчивого равновесия. Равновесие, характерное для всего этого периода в целом, может быть в общем объяснено на основе мальтузианской модели, которой Мальтус придал абсолютное значение как раз в тот момент, когда она перестала быть истинной, то есть в момент начала развернутой индустриализации в Англии. Но в течение очень долгого времени аграрная экономика Лангедока определялась отношением сельскохозяйственного производства к количеству населения края. Неспособность общества поднять производительность сельского хозяйства при отсутствии значительных резервов пригодной для обработки земли ставит «земельный предел» большому росту населения так же, как знаменитый «монетный голод», излюбленный историками цен, ставит предел их значительному увеличению. Хотя объяснение экономики с помощью денежных механизмов потеряло свое доминирующее положение в экономической теории, оно тем не менее включается в состав многоплановой, но вместе с тем обладающей внутренним единством теоретической системы.

Структура экономики «старого режима», в течение длительного времени определявшая законы ведения хозяйства, прошла несколько фаз исторического развития, фаз, в которых различные элементы этой общей структуры меняли свое отношение друг к другу. Воспроизведем кратко периоды экономического развития, столь блестяще реконструированные Ле Руа Ладюри:

— Фаза I (XV в.): население Лангедока малочисленно, так как в результате демографической флуктуации предшествующего периода, завершающей то, что обычно называется «средними веками», оно значительно снизилось. Множество необработанных земель составляет

¹³ E. Le Roy Ladurie. Les paysans de Languedoc, Paris, 1966.

резерв возможного расширения производства. Укрупняется земельная собственность и развивается кооперация в ее обработке; перестраиваются, увеличиваясь, семьи и достигают размеров прежнего «рода». Снижение земельной ренты стимулирует распашку целины и вводит в оборот заброшенные земли. Продукты питания дешевы, и уровень жизни относительно высок.

— Фаза II: взлет XVI столетия; вступают в действие благоприятные факторы, накопленные во времена предшествующего застоя. Быстро растет народонаселение, однако, несмотря на распашку целинных земель, оно очень скоро сталкивается с «потолком» валового продукта, так как производительность сельскохозяйственного труда остается прежней. Поэтому демографический рост тормозится пауперизацией населения (снижение реальной заработной платы) и дроблением земельной собственности (сопровожаемым возвратом к нуклеарной семье): «Мальтус и Рикардо действуют вместе», — заключает автор.

— Фаза III (первая половина XVII в.): зрелость — мальтузианские и рикарднанские тупики останавливают демографический рост населения. Падает прирост народонаселения. К середине века кривая роста становится горизонтальной. Снижение прибылей от обработки земли препятствует инвестициям капитала в сельское хозяйство. Дух рантье вытесняет дух предпринимательства. В Лангедоке XVII в. рента во всех ее формах (ростовщический процент, церковный сбор, арендная плата, наконец, налоги, удвоенные при Ришелье) доминирует над всеми иными видами доходов. Это не итало-кастильская депрессия 1620 годов, а медленная экономическая и социальная летаргия.

— Фаза IV: с 1665—1670 гг. начинается период длительного экономического упадка, охватывающий все царствование Людовика XIV и несколько первых десятилетий XVIII века. Валовый продукт сельского хозяйства, неизменный со времен Франсиска I и до Кольбера, падает с легкой тенденцией роста до своей исходной величины. Именно это уменьшение валового продукта, который до сих пор, при всей его неэластичности, обеспечивал прирост населения и дробление земельной собственности (темпы этих процессов были различными в разные периоды: в фазе III они протекали значительно медленнее, чем в фазе II), приводит к снижению численности

пости народонаселения. В этом же направлении действует и увеличение налогового обложения. Таков конец двухвекового периода экономического и демографического роста. Но одновременно это и начало новой «чистки» экономики «старого режима», нового процесса концентрации земельной собственности, подготавливавших условия для нового роста в 30-х годах XVIII века. Последний окажется необратимым, так как будет преодолено проклятие мальтузианских «ножниц». Но теперь мы имеем дело уже с иной экономической структурой.

Здесь мы не будем обращаться к критическому анализу различных сторон теории Ле Руа Ладюри; как бы ни было полезно рассмотрение такого рода, оно не входит в задачу нашей статьи. Нам хотелось бы лишь подчеркнуть, что из этой теории следует одно важное методологическое положение, которое может пролить свет на дискуссию между сторонниками синхронического подхода и подхода диахронического. В этой дискуссии, находящейся в центре развития современных общественных наук, историки и антропологи часто оказываются в различных лагерях. Положение, о котором мы говорим, сводится к следующему: периодическое движение, охватывающее краткие или средние по длительности промежутки времени, то есть то, что может быть названо «событием» на экономическом уровне, не обязательно противоречит теории общего равновесия. Напротив, изучение этого события может выявить различные элементы равновесия, показать, каким образом каждый из них эволюционирует в рамках целого.

Различия в эволюции являются не только временными, но и пространственно-географическими. Они обнаруживаются даже в сравнимых по своей природе обществах, то есть обществах, для которых справедливы одни и те же теоретические постулаты. Специалисты по экономической истории привыкли к мысли о том, что существуют резкие экономические различия между нациями, что различные экономические зоны по-разному чувствительны к конъюнктуре или же по-разному реагируют на смену экономических конъюнктур во времени. Примеры этого рода слишком многочисленны для того, чтобы можно было здесь дать их исчерпывающее перечисление. Мы воспользуемся только некоторыми из них, особенно популярными во французской историогра-

фии. К ним относятся: традиционная и недавно вновь поднятая проблема различий экономического роста в Англии и Франции XVIII века¹⁴; противоположность между «взлетом» экономики Каталонии в XVII веке и ее упадком в Кастилии, выявленная П. Виларом¹⁵; контраст в экономике Франции XVII века между жалким Бовэзи, охваченным в середине века глубоким экономическим и демографическим упадком, и относительно более благополучным Провансом, где отрицательная экономическая конъюнктура сказалась позднее. Может быть, этот частный хронологический пример послужит отправной точкой для более широкого сравнения, предложенного Ле Руа Ладюри¹⁶, а именно сравнения двух Франций — северной и южной, которые отличаются не только своими реакциями на конъюнктуру и рост, но обнаруживают также и серьезные различия в культурно-антропологических характеристиках. Впрочем, эта гипотеза возникла совсем недавно и не успела еще породить значительных откликов и исследований. Во всяком случае, совершенно ясно, как это подчеркивал П. Вилар на первой конференции по экономической истории в Стокгольме (1960), что наряду с разворачиванием исследований экономической конъюнктуры в пространстве историк должен углубить исследования структурного характера на национальном, региональном и локальном уровнях. Расхождения, возникающие при применении этих двух типов анализа, позволяют выявить географические аспекты одной и той же конъюнктуры, одной и той же экономической структуры.

Очевидно, однако, что все наши предшествующие размышления были существенно облегчены тем обстоятельством, что мы имели дело только с одним объектом исторической реальности — объективным процессом и экономическими законами социальной жизни. Но человек существо не только экономическое, а и политико-идеологическое. Несомненно, он не может предвидеть все

¹⁴ F. Grouzet. Angleterre et France au XVIII^e siècle: Essai d'analyse coarée de deux croissances économiques *Annales: ESC* 21 (2), 1966, p. 254—291.

¹⁵ P. Vilari. "La Catalogne dans l'Espagne moderne", Paris, 1962.

¹⁶ E. Le Roy Ladurie. Communication au Congrès International de Sociologie, Evian, 1966.

результаты своих исторических действий, но он осознает по крайней мере, что он творит историю, и сознание этого уводит его за пределы непосредственно данной реальности. Возвращаясь, например, к Франции XVII века, становится очевидным, что если фискальная политика Людовика XIV была антиэкономичной, как бы мы сказали сегодня, основываясь на критериях рациональности развития, то это ее свойство определялось системой бюрократическо-дворянских ценностей, идеями воинских доблестей и «величия» государства. Так же как и антропология, история не может избежать проблемы, как ее называл Леви-Стросс, «мыслимого общества» («la société pensée») в отличие от «общества переживаемого» («la société vécu») *.

Я хорошо знаю, что существует довольно заманчивый способ ее решения: постулируется наличие целостной структуры «глобального общества» и причинных взаимодействий между его различными уровнями, причем некоторым из этих уровней дополнительно приписывается особое значение при объяснении конкретных социальных явлений. Но при современном состоянии исторических наук полезность этого постулата весьма ограничена, так как прежде всего мы должны знать, каковы индикаторы (квантифицируемые или же неквантифицируемые) «мыслимого общества». Мы должны создать соответствующую документацию, установить типичные свойства данной эпохи и ее значение для других эпох. Эта область истории значительно менее развита, чем область экономической истории. Начатая Марксом дискуссия относительно того, какой уровень социальных явлений определяет в конечном счете развитие общества в целом, дискуссия, можно сказать, о «системе систем» не может быть плодотворной до тех пор, пока историки не дадут исчерпывающего перечня и описания частного вида систем по отношению к культурным или социокультурным измерениям исторического целого. Но все это еще только предстоит сделать.

Одна из глубоких причин этого отставания заключается, несомненно, в том, что начиная с XIX в. история разрабатывалась под углом зрения усвоения и концептуализации идеи прогресса. Именно поэтому она смогла хорошо измерить все те явления, для которых идея прогресса имеет существенное значение, а именно все то,

что отделяет прошлое от настоящего в плане производства и потребления материальных благ. Что же касается воссоздания «мысли» и ценностей, то здесь история оказалась пленницей упрощенного сведения прошлого к тому, что в этом прошлом подготавливало настоящее. Сегодня мы обязаны освободить наших предков от наших представлений о них, чтобы вернуть им их собственный духовный мир. Источники информации в этой области так же многочисленны, а многие из них образуют столь же однородные и упорядоченные последовательности, что и источники в демографическом или экономическом секторах; так, например, обстоит дело с данными о росте грамотности населения, религиозном чувстве или потреблении идей элитой. И только реконструкции этих, как и многих других, социокультурных измерений позволят нам решить вопрос о том, насколько правомочно говорить о единой социальной структуре, то есть единой модели, охватывающей и соединяющей все познанные аспекты того или иного общества; только такое воссоздание позволит решить, насколько адекватны исследования, основывающиеся на гипотезе существования единой социальной структуры, которые пытаются установить соизмеримость ритма эволюционного развития различных структурных единиц этого общества и зависимость этой эволюции от типа общества и типа переживаемой им истории.

Вполне возможно, например, что общество, основанное на системе каст, не подчиняется ни законам, ни эволюционным ритмам классового общества. Поэтому надо попытаться, хотя бы на первой стадии, описать эту кастовую систему в себе и для себя, как некоторое идеологическое «мыслимое общество» в виде предположительно независимой переменной, а не переходить сразу на другой уровень описания (например, экономический) и не сводить описываемое общество к специфически иерархизованной разновидности классового общества. В обоих случаях мы фактически предусматриваем решение проблемы.

Современный мир дает нам так много примеров сопротивления специфических культур распространению материального прогресса, что историк не может не усомниться в правомерности европоцентристского подхода и его проблематики, ведущей свою родословную от маи-

честерского оптимизма и его антипода — марксизма. Вот почему историк, еще вчера пользовавшийся услугами политической экономии и очень многим ей обязанный, сегодня обращается к антропологии. Он ждет от нее не столько обновления своих количественных процедур, которые уже достаточно хорошо разработаны и выдержали проверку, сколько методов, которые позволят ему научно исследовать, а не просто «комментировать» другие отличные от экономики уровни исторической реальности. Только на этом пути мы получим право говорить «об обществах в целом».

О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ ИСТОРИИ

Почти столетие тому назад Фридрих Ницше, этот упоенный историей сын немецкой филологической школы, выступил против гипертрофированного увлечения ею. В заголовке этого очерка я признаюсь в аналогичной двойственности моего отношения к современному использованию психологии в исторических исследованиях. После ряда лет работы над историческими сочинениями я начал испытывать страх заблудиться в джунглях психологизма. В этом затруднительном положении я бы мог, конечно, обратиться к аналитическим философам и попросить их просветить меня относительно скрытых предпосылок моих работ. Однако, прочитав их интерпретации сочинений моих коллег, я потерял желание сделать это. Поэтому я попытаюсь найти выход из моих затруднений, следуя совету А. Н. Уайтхеда *, который сказал однажды, что, если человек заблудился, ему следует задавать вопрос, не где он находится, а где находятся другие. Вот почему я намерен установить свое местоположение, критически рассмотрев опыт контактов между историками и психологами, не ограничивая себя строгими хронологическими рамками. Остановившись вкратце на восемнадцатом веке, в котором зародилась взаимосвязь истории и психологии, я сосредоточусь на последнем столетии, особенно на современности, когда эти науки стали гигантскими, по своим размерам, областями научной деятельности. Некоторые могут сказать, что их сосуществование в этих условиях с самого начала обречено на бесплодие. Я надеюсь, что недостаток глубины и топкости в моем изложении будет искуплен его пиротой. Возможно, что в конце концов мне и удастся определить свое собственное отношение к психологии и, кто знает, может быть, и другие последователи захотят присоединиться ко мне.

Мое изложение не будет излишне догматичным и аналитическим. Нас будет интересовать прежде всего описание целей и достижений тех ученых, которые ощутили

богатые возможности новой области и приступили к ее разработке. Речь пойдет не столько о научных теориях, с которыми ученые входили в эту область, сколько о том, что они вынесли из нее в результате своих экспедиций. Хотя я и не проводил детального анализа литературы по данной проблеме, я подозреваю, что в последнее время больше занимались составлением требований и пожеланий для этой области истории, чем описанием фактически происходящего в ней. Описание и комментирование действительной проблематики и содержания историко-психологических исследований может оказаться значительно более поучительным, нежели аналитическое препарирование работ невежественных историков, слепых по пути чисто описательной истории, или издание манифестов о том, какой должна быть идеальная психологическая история.

В течение трех истекших столетий основные усилия историков были направлены на выявление не только зафиксированных в документах мыслей людей других эпох, но и характера их мышления, не только на регистрацию их действий, но и их тайных целей и скрытых, даже подсознательных стремлений, которые побуждали и сопровождали исторические события. Стремились к открытию не только памятников искусства и литературы, но и того чувственного мира, который был в них выражен, эмоций их создателей и современной им аудитории. Однако, если существуют пирронисты*, ставящие под сомнение достоверность документированной истории в самом тривиальном ее понимании, какой же должна показаться им задача воссоздания внутренних переживаний, как правило, не выражающих себя ясно в определенных и недвусмысленных документах! И тем не менее именно к этому самоуверенно стремилась психологическая история. Правда, столь фантастическое намерение в качестве второстепенного элемента присутствовало в любом историческом произведении, начиная с первых персидских хроник, отраженных еще в книге Эстер**, повествующей о том, как один из ее персонажей «говорит в глубине своего сердца». Греческие и римские историки использовали целый ряд приемов для того, чтобы выявить тайные намерения и неудовлетворенные желания, вдохновлявшие их героев. Историки Возрождения, подражавшие классикам, прибегали к богатому

психологическому словарю при описании мотивов человеческого поведения. Однако только с начала восемнадцатого столетия некоторые историки обратились к воссозданию внутреннего мира человека, смещая тем самым фокус своего внимания от исторических деяний к психическим событиям.

I

Все более и более вижу я в Джамбаттиста Вико — одиноком итальянце, жившем в Неаполе с 1688 по 1774 год, — смелого теоретика этой новой формы исторического сознания. Его «Новая наука», рассматриваемая чисто внешне, представляет собой довольно стандартную теологию истории, утверждающую циклический характер развития. Но если мы заглянем за ее формальную структуру, мы, к своему удивлению, обнаружим, что Вико писал о «трех видах человеческой природы» и постулировал, что на каждом этапе *ricorso* (итал., циклического развития. — Ю. А.) люди обладают принципиально различными типами восприятия реальности. Не только физические условия жизни, но и эмоциональная топальность существования каждой ее стадии глубоко отличны друг от друга. Сама способность выражения внутреннего мира принимала радикально отличные формы: знаки и символика для людей, еще не овладевших звуковой речью, некогда были единственным способом проявить вовне свои чувства. Поэзия была единственным языком варварской эпохи. И лишь в рациональную эпоху заговорил в прозе голос разума. Для каждой стадии цикла характерен свой собственный баланс между рациональными способностями и агрессивным насилием, между страхом смерти и стремлением к комфорту, между здравым воображением и расчетливым педантизмом. Одним словом, природа живущих — их мышление, чувствования и воля — подвержены революционным изменениям во времени. Изменяющиеся характеристики человеческого существования были обнаружены в истории языка, в литературе и юрисдикции, и в таких публичных искусстваах, как, например, живопись.

Можно спросить, как оказалось возможным для Вико, человека начала восемнадцатого века, истолковать фак-

ты, уловить эмоции и дух эпохи героического варварства. Ответ на этот вопрос дает сам Вико: циклы истории откладываются в человеческой душе. Понимание трансформаций возможно потому, что люди фактически проходят все циклы развития — от примитивизма до рациональности. В нецивилизованных странах еще и сегодня сохранились реликты примитивного сознания.

Великий французский романтический историк девятнадцатого века Жюль Мишле перевел и прокомментировал труды Вико в то время, когда они были почти неизвестны западной культуре. Многотомная история Франции Мишле может быть понята как попытка исследовать изменяющееся сознание французов за тысячу лет их национального существования. Его драматизация Ренессанса как нового способа восприятия мира была открытием в области применения психологии к истории в духе «Новой науки» Вико. К середине XIX столетия Мишле имел в своем распоряжении более тонкие инструменты психологического анализа. Некоторые из них были унаследованы им от утилитарной традиции Просвещения, другие заимствованы из сочинений Жан-Жака Руссо, великого пионера психологизма восемнадцатого столетия, который обнажил свой сложный внутренний мир и сделал его моделью для всякого человека.

В конце XVIII века немцы нашли эквивалент Вико в Гердере, который учил, что в ходе мировой истории бесконечное множество человеческих сообществ формируется изолированно друг от друга под воздействием физических и климатических условий их жизненного пространства. Каждое из них, по Гердеру, выработало своим неповторимым способом некоторый индивидуальный баланс чувственных восприятий, неповторимый никаким другим народом. Этот «народный гений» с самого начала был воплощен в мифологии, религии, поэзии, короче, в «народной культуре», за пределы которой не может выйти ни один представитель данного народа. В последующем развитии культуры могут появиться и рациональные элементы, но на всех этапах ее существования любое произведение литературы, искусства и музыки, по Гердеру, является в своей сущности отражением примитивной эффективной «души народа». Вселенная Гердера заполнена «народными культурами», находящимися на различных стадиях их жизненных циклов.

И хотя сам Гердер и сделал слабые попытки установить взаимосвязь между ними в рамках концепции человечества, его следует все же рассматривать как основоположника особого типа немецкого историзма, который подчеркивает необходимость поиска конкретной психологической «специфичности» (термин принадлежит другу Гердера, Гёте) во времени и пространстве. Как для Вико, так и для Гердера природа исторических событий крылась в эмоциональных различиях человеческих коллективов.

Вклад Гегеля в психологическую историю, с моей точки зрения, состоит не столько в его характеристиках стадий истории духа, сколько в его способности схватить и представить во всей феноменологической полноте самые существенные человеческие взаимоотношения (см., например, его глубочайший анализ противоречий в отношениях раба и господина или же его описание «отчуждения»). Последнее понятие было воспринято Марксом и Кьеркегором и с тех пор претерпело своеобразную инфляцию, став центральной психологической характеристикой современного сознания.

II

В последних десятилетиях девятнадцатого столетия мы сталкиваемся с существенным разрывом постепенности в развитии психологической истории, с ее скачком. Психология в качестве самостоятельной науки стала пользоваться известной степенью признания в немецком академическом мире. Хотя она и имела солидную литературную и философскую историю — сам термин психология был предложен Рудольфом Гоклениусом из Марбурга в шестнадцатом столетии, — но с тех пор, как она впервые стала фигурировать в университетах в качестве самостоятельной формы знания, она претерпела кризис подросткового возраста. Чем она была? Физической наукой, ищущей единообразия и повторяемости явлений? Или же она принадлежала к гуманитарным дисциплинам и могла быть представлена как разновидность истории? Почти одновременно с возникновением экспериментальной психологии была основана новая школа психиатрии, а в 80-х годах появился новый термин — «бессознательное». Этот мо-

мент представляет собой удобную отправную точку для обзора современных отношений истории и психологии.

В немецких и французских школах мы сталкиваемся с двумя ранними значительными попытками слияния этих дисциплин. Одна из них связана с именем Вильгельма Дильтея (род. в 1833 г.), другая — с именем Люсьена Февра (род. в 1878 г.). Первая важная работа Дильтея была опубликована в 1883 году, и двадцать пять лет спустя он все еще продолжал работать над критикой исторического разума, ряд фрагментов которой появился посмертно после первой мировой войны¹. Профессор философии в Берлине, он сильно повлиял на Трельча, Майнеке, Хайдеггера и на целое поколение немецких академических историков идей. Следы его влияния можно проследить даже у Шпенглера, который бы с презрением отверг подобное отождествление. Люсьен Февр — один из основоположников «Анналов», журнала, призванного пропагандировать его идеи. Хотя и Дильтей и Февр посвятили свою научную жизнь выявлению взаимосвязей психологии и истории, они фактически были интеллектуально разделены «пропастью поколений» и непреодолимым тогда барьером Рейна. В понятие «психология» они вкладывали совершенно различное содержание. И оба полностью пренебрегали такими возмутительными новшествами, как доктрины их современника Зигмунда Фрейда. Что же касается обращения самого Фрейда и его непосредственных учеников к истории, то оно редко попадало в поле зрения академических историков того времени (Смит в Корнельском университете представляет собой исключение). Дильтей и Февр — две различные версии начального эта-

¹ Wilhelm Dilthey. *Einleitung in die Geisteswissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte* (Leipzig: Duncker und Humblot, 1883), I (опубликован был только первый том). Второе издание с добавлением неопубликованных рукописей составляет первый том *Gesammelte Schriften* Дильтея, изд. Bernhard Groethuysen в 1923 (Leipzig: Teubner). За исключением второго тома *Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation* (1914) Собрание сочинений Дильтея издавалось с 1921 по 1936 год. Работа "Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Studien...", ч. 1 была опубликована в: *Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse* (1910). Новое издание этой работы с добавлением неопубликованных рукописей входит как VII том в издание B. Groethuysen (1927), *Gesammelte Schriften*.

на возникновения психологической истории новейшего времени.

Хотя основная работа Дильтея осталась неоконченной, его очерки о ведущих представителях западноевропейской мысли, и прежде всего о Шлейермахере и молодом Гегеле, не оставляют никаких сомнений относительно его намерений². Все исследования человека он, конечно, растворил бы в интеллектуальной истории, лишив всякого самостоятельного значения как психологию, так и социологию. Отвергнув возможность построения какой бы то ни было связной мировой истории в традиционном смысле и с презрением относясь к идее Ранке о том, что основным объектом исторической науки является государство, Дильтей был убежден, что история человечества лучше всего может быть представлена как последовательность психологических мировоззрений, скорее эмотивных, чем рациональных, воплощенных главным образом в сочинениях литературных, религиозных и философских гениев. Несмотря на свое стремление выявить феноменологическую сущность целых эпох и связать в них экономико-социальные и философско-религиозные тенденции, он, по-видимому, испытывал наибольшее удовлетворение, занимаясь биографиями творческих личностей. В них для Дильтея скрещивались различные эпохальные психические потоки, приобретая в конечном счете обозримую, доступную для анализа структуру. Его героические фигуры — это носители все подчиняющих себе страстей, космических установок и глубоко укоренившихся верований целых эпох. Исследуя исторические разновидности психического восприятия человека, он утверждал тем самым свободу, разрушал догматизм, проповедовал гуманизм. С менее захватывающим краспоречием и без моральной патетики Ницше он разрабатывал сходную концепцию монументальных мировых личностей. Выражение их духовных натур, придающих специфику целым эпохам, было для Дильтея главным предметом истории, а их возрождение и общение с ними было фактически единственным оправданием исторического знания. Дильтей почти

² Wilhelm Dilthey. Die Jugendgeschichte Hegels, в "Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften", 1905; "Leben Schleiermachers", опубликованная вместе с "Denkmale der inneren Entwicklung Schleiermachers". Berlin, 1870. Bd. 1.

никогда не спускался с вершин экзальтированной интеллектуальной истории, окропленной аффектами. В теории он взял на себя обязанность рассказывать не только о мировоззрениях великих личностей, но и описывать индивидуальный психологический мир своих героев, полностью их жизненных переживаний. Однако на деле эти описания были лишь повествованиями, пропущенными через призму сознания кабинетного профессора философии Вильгельмовской эпохи. Его истории — это элитарные драмы страстей «великих мира». Дильтей исследовал рукописные материалы своих героев и дал нам возможность заглянуть в их социальное положение, интеллектуальные дружеские связи, в их внутренний мир. Их поиски Бога всегда воспринимаются им с большой симпатией и с пониманием всей сложности западной религиозной традиции. Экономические и социальные реалии если и проникают в его рассказ, то только лишь в качестве элементов мировоззрения, а политические революции быстро трансформируются в абстрактные идеи. Сталкиваясь с безумием Гельдерлина, Дильтей оказывается неспособным описать картину полного психического краха, предлагая в связи с этим какие-то банальности³. В то же время богатое оттенками описание религиозного опыта Шлейермахера достигает у него подлинной всеобщности. Дильтей осознавал глубины бессознательного, но для него оно было доступно только в форме художественного произведения.

Дильтей признавался, что феноменология Гуссерля произвела на него глубокое впечатление. В свою очередь Хайдеггер в «Бытии и времени», утвердившем исторический характер категорий познания, описывает свой взгляд на исторический мир — как мир, сложившийся под влиянием дильтеевских произведений. Поскольку все еще пишут чисто интеллектуальные биографии и до сих пор имеют место попытки представить то или иное мировоззрение с помощью чисто психологических терминов, Дильтей продолжает оказывать некоторое, хотя и ограниченное, влияние. Карл Ясперс, который начал свою академическую карьеру в качестве психиатра и усвоил идеи и методы психиатрии, практиковавшейся в Германии в начале

³ Wilhelm Dilthey. *Das Erlebnis und die Dichtung*, 13th ed. Stuttgart: Teubner, 1957, S. 289.

двадцатого века (то есть вне всякого влияния Фрейда), в своих исследованиях о Сведенборге, Гельдерлине, Стриндберге и Ван Гогге был менее односторонним, чем Дильтей. В них он соединил феноменологическую психологию с попыткой передать разнообразие исторических мировоззрений⁴. Но когда он попробовал охватить весь психический мир в своей «Психологии мировоззрений» (1919), его типологизация мировоззрений осталась в тех же самых интеллектуалистических рамках, что и типологизация Дильтея⁵.

Французская историческая традиция со времен Мишле была богата исследованиями религиозных и других форм выражения эмоций. Психологическая же история своим центральным положением в историческом познании обязана Люсьену Февру. В то время как немецкая школа была склонна к импрессионизму в своих психологических портретах, Февр настаивал на более строгой, можно даже сказать, позитивистской методике.

И тем не менее наследство, завещанное Февром потомству, — проблематично. После первых страниц заверений его «Лютера» о том, что основными проблемами его исследования являются отношения между индивидом и массой, между личной инициативой и общественной необходимостью, мы, дочитав книгу, испытываем ощущение обманутых ожиданий. Можно соглашаться или не соглашаться с окончательными выводами «Лютера» Эриксона, опубликованного как исследование из области психологической истории тридцать лет спустя после книги Февра, но нельзя отрицать, что она, во всяком случае, дает ответы на вопросы, поставленные Февром, психологическая история которого, к примеру, категорически отказывается заниматься гипотетическим Лютером юношеского возраста. «Мы совершенно откровенно отказываемся от попыток воссоздать среду, в которой жил молодой Лютер. Ее влияние на его идеи и чувства никогда не может быть правильно оценено... Лучше бороться до конца против соблазнов психоанализа, для которого не существует по-

⁴ Karl Jaspers. "Strindberg und Van Gogh: Versuch einer pathographischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin.", (Bern: E. Bircher, 1922).

⁵ Karl Jaspers. "Psychologie der Weltanschauungen" (Berlin: J. Springer, 1919, 4th ed., 1954).

пания банальности теоретической конструкции... Фрейд-довского Лютера так легко представить, что читатель не чувствует ни малейшего любопытства или желания продолжить знакомство с описанной историком фигурой. С тем же успехом можно было бы представить и самого Фрейда лютеранином и установить, насколько полно знаменитый создатель психоанализа воплощает в себе вечные характеристики германского духа, известным представителем которого в свое время был Лютер?»⁶

Книга Февра «Рабле» — это работа, в которой его умение выразить то, что «хотела, чувствовала и думала» другая эпоха, создало эталон школы психологической истории. Здесь ясно видны достоинства и недостатки всего направления. Когда Февр сосредоточивается на истолковании религиозных убеждений своего героя, он оказывается в состоянии показать с помощью громадного количества свидетельств, что сарказмы Рабле и его критика «пороков церкви» могут рассматриваться как доказательство его атеизма только ценою смертельного для историка греха — анахронизма⁷. Февр, вовлекая в свой анализ все более широкие пласты духовной культуры, очерчивает границы того, что вообще мыслилось и ощущалось по отношению к сверхъестественному в Европе шестнадцатого века. Для Февра Рабле, как и его герои-гиганты, отнюдь не провозвестник нового рационализма, а христианин типа Эразма Роттердамского. Отметим, между прочим, что Февр описал характер века стандартными литературно-психологическими терминами, а выявление отдельных компонентов исторической психологии коллективов объявил первой задачей историков. Но «психическая структура» эпохи ограничена у Февра уровнем сознания явных содержаний идей и верований, стилем их выражения, проблемой разграничения естественного и сверхъестественного или же интенсивности внешнего выражения эмоций в сравнении с человеком двадцатого столетия. В мире шестнадцатого века он находит отсутствие исторического сознания, поглощенность чувствами обоняния и слуха, а

⁶ Lucien Paul Victor Febvre. Un destin: Martin Luther. Paris, 1928.

⁷ Lucien Febvre. Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle: La religion de Rabelais, Paris; 1947 (первое издание 1942), p. 163.

не зрения. Этот искусно разработанный тип истории идей и чувств все еще существует во Франции как в литературе, так и на исторических факультетах и порождает неубывающий поток респектабельных гигантских диссертаций по таким темам, как идеи природы или же счастья в различные эпохи.

Но Февр указал на одну из самых больших сложностей, с которой сталкивается любая попытка реконструировать психический мир в любом отрезке прошлого времени. Рецензируя книгу Иоганна Хейзинга «Увядание средних веков», он задает скептический вопрос, действительно ли мы можем установить, что общая эмоциональная атмосфера некоторых исторических периодов характеризовалась большей интенсивностью чувств любви, страха, большей жестокостью и насилием, чем атмосфера других периодов. Он предостерегал приписывать другим эпохам психологию, основывающуюся на современных формах чувственности. Возможно ли, спрашивал он, применять психологические модели комфортабельного двадцатого века к векам, знавшим долгие периоды страшного голода, эпидемий, к векам, когда люди просыпались и засыпали вместе с восходом и закатом солнца, страдали от избытка жары и холода. Он высмеивал биографии фараонов, изображавших их современными людьми, наряженными в театральные костюмы древних египтян. Единственной гарантией, предохраняющей от такого рода нелепостей, он считал совместное исследование историка и психолога — здесь он имел в виду французских университетских психологов типа Анри Валлона. Но даже и сознавая все трудности этой задачи, Февр постоянно утверждал, что воспроизведение «чувственности» прошлых эпох является главной целью историка, достижению которой должны быть подчинены все его другие усилия. «Верно, что задача реконструкции эмотивной жизни определенной эпохи является одновременно и чрезвычайно заманчивой и устрашающе трудной. Но что же из этого? Историк не имеет права дезертировать»⁸. Волнующая эпохальная патетика!

Один из учеников Февра — Робер Мандру, приверженец незапятнанных традиций психологической истории, — потратил целые годы, детально изучая юридические ас-

⁸ Lucien Febvre. Combats pour l'histoire. Paris, 1953, p. 229.

пекты веры в колдовство во Франции семнадцатого века. Недавно вышла из печати его книга, в которой исчерпывающе показано, как вера в колдовство претерпевала изменение в сознании членов Парижского парламента, так что в конце концов она фактически полностью изжила себя⁹, хотя еще в начале столетия такой утонченный ум, как Жан Боден, принимал ее. Работа Мандру — классический многосторонний анализ важного изменения, происшедшего в сознании правящей группы, анализ политических, социальных и научных сил, вызвавших эту революцию. Его методология имеет позитивистский характер. Единственным недостатком работы Мандру является отсутствие ответа на вопрос, что означает это изменение на уровне бессознательного — критический вопрос для историка психологического направления 70-х годов. Авторы последних американских работ по расизму белых, по-видимому, представляющему феномен, аналогичный исследованному Мандру, иногда называют себя психоисториками. И хотя они, быть может, несколько претенциозны, а методология их слаба, тем не менее они в известном смысле показывают, как историки могут исследовать некоторые коллективные навязчивые состояния¹⁰. Идеями такого рода полностью пренебрегает пуристическая французская школа, хотя последние номера «Анналов» свидетельствуют о растущем влиянии психоаналитических понятий.

Если с теоретической модели Мишеля Фуко снять тщательно разработанные внешние вспомогательные конструкции, то в блестящем и хорошо документированном анализе понятий о безумии и психической норме в XVII и XVIII столетиях все еще будут заметны следы первоначальной программы Февра. Попытка Фуко уловить содержание психических структур различных эпох в его «Словах и вещах» также демонстрируют это влияние¹¹. Анализ Фуко более усложнен, построен формально и, может быть, менее доказателен, чем исследование исто-

⁹ Robert Mandrou. *Magistrats et sorciers en France au XVII^e siècle: Une analyse de psychologie historique*. Paris, 1968.

¹⁰ См., например: Joel Kovel. *White Racism: A Psychohistory*. New York, 1970.

¹¹ Michel Foucault. *Histoire de la folie à l'âge classique*. Paris, 1961; *Les mots et les choses*. Paris, 1966.

рического сознания у Февра. Фрейд, который с некоторым запозданием вышел на авансцену Франции после второй мировой войны, заставил поколение Фуко заглянуть в подпольные тайники, все еще находившиеся под запретом у прошлого поколения историков. Хотя я часто теряю нить доказательств Фуко, я считаю его работы самым волнующим новым событием во французской психологической истории. И вместе с тем они не столь уж далеки от работы основоположника школы, как это может показаться.

III

После второй мировой войны был сформулирован ряд теорий, тесно, хотя и несколько проблематично, связанных с именем Фрейда. Маркузе попытался соединить философскую интерпретацию фрейдовских текстов — часто весьма насильственно, не обращаясь к основным его работам, — с марксистско-гегелевским мировоззрением. Эрик-сон, объединив свои усилия с психологами, занимавшимися фрейдистской теорией Я, вышел на совершенно новое направление психологической истории и в шестидесятых годах популяризировал термин «психоистория». В тот же послевоенный период Жан-Поль Сартр предпринял монументальную попытку создания синкретического целого из феноменологической философии, марксистского диалектического материализма и позднее фрейдистского психоанализа, соединяя все это вместе с экзистенциальным «*conscience malade*». Его «Критика диалектического разума», работа теперь уже десятилетней давности, еще не сделала, мне кажется, брешей в крепостных заслонах Европы и Америки¹². Во Франции новое поколение структуралистов пишет о нем как о человеке, по их выражению, давно уже «преодоленном». Но утверждения о его закате представляются нам преждевременными.

Фрейдовское «бессознательное» заложило основу для принципиально нового применения психологических понятий к истории, хотя, как я уже указывал, в момент по-

¹² Jean-Paul Sartre. Critique de la raison dialectique, précédé de "Questions de méthode". Paris, 1960.

явления фрейдизма ни один историк не отдавал себе отчета в этой возможности. Терапевтическая техника, изобретенная Фрейдом, привела в итоге к накоплению буквально сотен тысяч историй личностей. Может быть, Эриксон и несколько преувеличивал, когда однажды заявил, что двадцатое столетие узнало больше об индивидуальном развитии человека, чем все остальные столетия, вместе взятые. Однако клинические истории психоанализа, несомненно, предоставили в наше распоряжение как данные нового типа, так и обильный материал, существенно отличающийся от философских и литературных размышлений прошлого. В конечном счете любая классическая психоаналитическая процедура дает нам приблизительно 10 000 000 слов, которые так или иначе раскрывают внутреннюю жизнь человека. Отныне человеческое поведение не может быть объяснено с помощью чисто утилитарных мотивов, как это было в работах авторов прошлого столетия.

Сам Фрейд сделал несколько психоаналитических экскурсов в историю. Хотя он и сохранял некоторую неуверенность, взволнованный интерпретацией знаменитых снов Декарта¹³, временами он отваживался на небольшие, но смелые психобиографические гипотезы, относящиеся к творчески одаренным людям. Таковы, например, его очерки о Леонардо и Достоевским, в которых картины и романы используются в качестве иллюстративного материала¹⁴. Это помогало ему подкрепить свои концепции объективными данными, которые были общественным достоянием и не требовали соблюдения анонимности, как в случае анализа собственной биографии или истории своих пациентов. Помимо интерпретации литературных документов, Фрейд создал макроисторический миф о происхождении цивилизации. Он сформулировал экстравагантные психологические гипотезы о происхождении еврейского монотеизма.

Отождествление филогенеза и онтогенеза было аксио-

¹³ Sigmund Freud. Brief an Maxim Leroy über einen Traum des Cartesius (1929). — "Gesammelte Schriften", Wien 1934, p. 403—405.

¹⁴ Sigmund Freud. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. Leipzig, 1910; Der Wahn und die Träume in W. Jensen's "Gradiva". Wien, 1907; Dostoevski und Vätertötung (1928). — B: "Gesammelte Schriften", XII, S. 7—26.

мой для Фрейда. Психологическая история цивилизованного человечества для него, по-видимому, не очень сильно различалась в разные эпохи. Войны и революции, каково бы ни было их происхождение, могли в общем плане рассматриваться как изменяющиеся возможности для проявления агрессии. Временами происходили сильные социальные взрывы, направленные против крайностей в подавлении инстинктов в цивилизованных обществах. Но история как целое означала для Фрейда только периодически повторяющийся и вечный конфликт между Эросом и смертью.

В то время как исторические эссе Фрейда подвергались резкой критике за ошибки в трактовке отдельных деталей, его аналитический метод проникновения в бессознательное открыл нам широкие новые перспективы исторических исследований. Последователи Фрейда, подражая учителю, значительно умножили число психобиографий.

Хотя некоторые психоаналитические биографы сформулировали гипотезы о природе творчества как универсальном феномене, все же, как правило, к художникам и писателям подходили как к изолированным монадам, существующим в себе и для себя. Этот тип изолированного подхода к личности был преодолен, когда политологи и историки, пытаясь объяснить исторические события большой значимости, применили фрейдовскую теорию личности к великим историческим деятелям. Американский профессор политических наук Гарольд Лассвелл был одним из первых исследователей, выступивших с формулой, соотносящей индивидуальное и коллективное¹⁵ в том смысле, что великие политики переносят личные чувства на социальные объекты. Достоинства политических исследований этого рода очень различны. Так, к примеру, весьма утонченная трактовка Вудро Вильсона была сделана Александером и Джульетт и, напротив, достаточно вульгарная — в книге, которая могла бы быть и не одобрена Фрейдом¹⁶. Однако, несмотря на некоторые при-

¹⁵ H. Lasswell. *Psychopathology and Politics*. Chicago, 1930, p. 75—76.

¹⁶ L. Alexander and L. Juliette. *Woodrow Wilson and Colonel Hous: A Personality Study*, New York; 1956; Sigmund Freud and W. S. Bullitt. *Thomas Woodrow Wilson*, Twenty-

меры злоупотребления Фрейдом в этой области, применение психоанализа открыло большие перспективы в изучении поведения крупных исторических фигур в мировой истории.

У Э. Эриксона, написавшего целый ряд программных заявлений и два биографических исследования политикорелигиозных деятелей, мы сталкиваемся с самым тонким применением психоаналитического метода в истории¹⁷. И тем не менее основная проблема, поднятая Люсьеном Февром, осталась нерешенной. Мы обязаны задать вопрос: является ли универсально применимой сконструированная Эриксоном идеальная психологическая модель человеческого развития, состоящая из восьми стадий? Не есть ли она итог психоаналитической практики XX столетия, не гипотетично ли поэтому ее применение к другим эпохам и культурам?

Безусловно, в те эпохи, в которых состав семьи, ее духовный и экономический характер, жизненные ожидания значительно отличались от наших, определение последовательно переживаемых кризисов жизни должно было меняться. Эриксон мог бы заявить, что речь идет не столько об изменении определений, сколько об их известной модификации. Однако историк, сталкивающийся с фактом, что во Флоренции 1426—1427 годов разница возрастов между супругами составляла в среднем двадцать лет и что отцы умирали, когда их дети еще были очень маленькими, может с полным основанием считать, что эриксоновская схема возрастных кризисов должна претерпеть чрезвычайно большие изменения¹⁸. Историк может вместе с Платоном и Аристотелем, Локком и Декартом, да и с Фрейдом и Эриксоном полагать, что самые ранние переживания являются наиболее сильными. Он вместе с тем, несомненно, будет приветствовать отказ Эриксона от придания исключительного значения младенчеству и переходу к более широкому взгляду на развитие личности, обращение к периодам, которые лучше доку-

Eight President of the United States; A Psychological Study. Boston, 1967.

¹⁷ E. Erikson. *Childhood and Society*. New York, 1959; *Insight and Responsibility*. New York, 1964; *Gandhi's Truth*. New York, 1969.

¹⁸ D. Herlihy. *Viellir au Quattrocento*. — "Annales: économies, sociétés, civilisations", November — December, 1969, p. 1338—1352.

ментированы и поэтому лучше поддаются историческому исследованию. Но может ли историк принять (как нечто неоспоримое) то умножение числа поздних «кризисов» в эриксоновской модели или же ту различную значимость, которые Эриксон приписывает каждому из этих кризисов? Историка следует предупредить, что обязательный подбор материалов для каждого из указанных Эриксоном кризисов может сделать данную схему самореализующимся пророчеством. Я нахожу достаточно правдоподобным учение Эриксона о кризисах юности и о том, что психиатры XIX столетия, например Филипп Пинель, называли мужскими климаксами. Ибо все это не немые периоды, а периоды, в которых тревога выражается в жалобах и признаниях. Остальные из восьми стадий жизни представляются нам довольно произвольными*. Традиционное деление человеческой жизни на этапы отцами церкви — четыре этапа Дапте или же шесть Винцентия из Бовэ — могут оказаться совершенно достаточными. Прежде чем оценивать эриксоновскую модель как инструмент исторического исследования, необходимо создать историю самого эпигенетического цикла, конкретизированную во времени и пространстве. Предварительные поиски в этом направлении были уже проведены¹⁹. В целом, если отбросить все эти оговорки, подчеркивание Эриксоном необходимости анализа всего эпигенетического цикла, какова бы ни была его форма, представляется мне прочным завоеванием исторического сознания.

В своих исследованиях о Лютере и Ганди, Эриксон обнаружил движущие мотивы героического действия в потребности сыновей опередить своих отцов и компенсировать тем самым их жизненные неудачи. Относя эти гипотезы, касающиеся небольшой и особенной группы великих людей, ко всем гениям, Эриксон выступает как теоретик психоанализа с его стремлением найти нечто единообразное, но его мышление как историка отходит на второй план. Его перечень общих черт гениев — скрываемое предчувствие проклятия, лежащего на них, привя-

¹⁹ Creighton Gilbert. When Did a Man in the Renaissance Grow Old. — "Studies in the Renaissance", 14, 1967 7—32. Эта работа — хороший пример того, что надо проделать в широком масштабе.

запность к отцу, делающая открытый бунт невозможным. чувство избранности и особого высшего предназначения, чувство слабости, робости и собственной неполноценности, преждевременное развитие сознания в детстве, раннее развитие основных интересов, короткая по времени попытка сбросить с себя бремя своей судьбы и в итоге окончательно овладевающая ими убежденность в своей ответственности за некоторую часть человечества — вызывает сомнение даже у тех историков, которые весьма далеки от банальных и обыденных позитивистских точек зрения. Их можно принять как описание переживаний Ганди и, может быть, Лютера, но согласиться с ними, как с общей исторической типологией гениев, — нельзя.

В работе о Ганди Эриксон внимательно проанализировал, каким образом группа последователей живет в унисон со своим героем, идентифицирует себя с ним, стараясь повторить его жизненный путь. Искусство и богатство воображения, с которыми он обрабатывает запомнившиеся сновидения, фантазии и символические акты, не имеют себе равных в современной психологической истории. Но его характеристики общих зависимостей между мировыми историческими фигурами и их эпохой не ушли много дальше гегелевских лекций. В эриксоновской психологии так же, как и у Фрейда, нет теории социального изменения, если не считать за эту теорию утверждения, согласно которым каждое новое поколение стремится превзойти предшествующее, обновить его, рискуя при этом впасть в амбивалентный эдипов комплекс. Эриксон не помогает нам понять темп и направление исторических изменений. Мы слышим от него лишь категорическое утверждение о том, что в определенные моменты человечество готово к эпохальным трансформациям, что в такие моменты создается вакуум для отождествления²⁰. Вот в такие-то моменты, заполняя этот вакуум, и появляется герой с призывом к современникам. Каждый момент такого рода обладает своими возможностями для нового творчества и преодоления исторических психических препятствий, мешающих обществу вступить на путь, для которого оно созрело и которого оно желает в глубине своего бытия. Гениальный лидер первым освобождает себя от психических

²⁰ E. Erikson. *Insight and Responsibility*, p. 204.

цепей или же указывает другим путь к свободе, которой он сам не может достичь.

Для меня в этой модели исторического момента слишком много от религиозной мистерии, метафорического языка, к которому немецкие историки «духа времени» прибегали в течение многих десятилетий. Хотя Эриксон и не упоминает Гегеля, я не могу не слышать ноток гегелевской теории всемирно-исторической личности, в которой воплощается история абсолютного духа. Мне остается не понятным, что создает исторический кризис и каким образом прозрения героя оказываются силой, разрешающей его. Иногда в эриксоновских утверждениях о наступлении нового периода мировой истории, с его все расширяющейся областью общих идеалов и преодолением агностицизма, слышится нечто религиозно-пророческое. Жесткие и строгие критерии «психоисторической очевидности», сформулированные им в ряде теоретических утверждений, не всегда наблюдаются в практике²¹.

Экзистенциалистская амальгама психологии и истории Сартра выведена из совершенно иной традиции. С эриксоновской психоисторией ее объединяет одно: гуманистический акцент на роли личности в истории и свободе, мы бы сказали, эговоле, хотя в настоящее время Сартр в большей мере, чем прежде, учитывает влияние врожденной психологической обусловленности.

В духе экзистенциализма Сартр доказывает правомочность психологизированных марксистских установок, заполняет промежутки в истории социоэкономического развития свободными выборами человеческих волей, как, по его мнению, это сделал бы Маркс, и подвергает действия этих волей психологическому анализу. Сартр постулирует марксистский классовый детерминизм, но при этом он считает, что гуманистическая история может показать, каким образом для индивидов оказывается возможным (при условии неоднородности класса и идеалов, с которыми себя отождествляют его члены) жертвовать своими жизнями в интересах общих исторических действий. Он комбинирует марксистскую историческую диалектику, основывающуюся на производственных отношениях и классовой структуре с экзистенциальным объяснением того,

²¹ E. Erikson. On the nature of psycho-historical evidence. In Search of Gandhi. — "Daedalus", Summer 1968, p. 695—730.

как люди, находящиеся в отношениях рядоположности, серийности, в конкретном историческом кризисе принимают на себя узы, влекущие за собой ответственность за жизнь и смерть. Его усложненные рассуждения менее интересны для историка, чем те вопросы, которые он ставит. Перечитывая истории французской революции 1789 года, 1848 года, Парижской Коммуны, он поднимает следующие проблемы: как случилось, что толпою овладела единая цель? Какова природа тех невысказанных психологических обязательств и соглашений, в которые люди при этом вступили? Как фактически осуществляются коллективные исторические действия? Хотя сартровское пристрастие к феноменологическим обобщениям многим из нас приходится не по вкусу, историки должны уметь использовать его метод извлечения экзистенциальных выводов из изолированных событий. Анализ отдельных личностей у Сартра создал прототипы слияния социального и психологического знания. Опубликованные фрагменты его «Флобера» представляют собой блестящий синтез марксистских и фрейдовских прозрений²².

Проникновение внешнего социального и идеологического мира в интимность семейных отношений и психологическую историю личности (здесь и происходит первичная конфронтация общественного и индивидуального) является для Сартра первым и, может быть, наиболее важным событием в истории духовного развития человека. Во введении к «Критике диалектического разума» он упрекает своих марксистских друзей за то, что они изучают только взрослого индивида. «Ознакомление с их работами оставляет ощущение, что мы рождены в том возрасте, когда уже получаем нашу первую заработную плату... Экзистенциализм, напротив, полагает необходимым включить в себя психоаналитический метод, который выявляет точку соприкосновения человека и его класса, то есть конкретную семью как опосредующую силу между универсальным классом и индивидуумом»²³. «Я весьма

²² Jean-Paul Sartre. La conscience de classe chez Flaubert. — "Les Temps Modernes", v. 21, № 240 (May 1966), и № 241, p. 2113—2153; Flaubert: Du poète à l'artiste. — "Les Temps Modernes", v. 22, № 243, 244, 245 (août — octobre 1966).

²³ Jean-Paul Sartre. The Problem of Method (вступительный очерк к "Critique de la raison dialectique"), перевод Х. Барнес (London, 1963), p. 62.

одобрительно отношусь к этой точке зрения. В настоящее время писатели, называющие себя психоисториками, вынуждены за неимением лучшего пользоваться грубыми, вводящими в заблуждение положениями относительно экономики и интерпсихических отношений в западной семье. Меру наших скудных знаний в этом вопросе лучше всего характеризует та частота, с которой работа Филиппа Ариеса о детстве цитируется в качестве Священного Писания»²⁴. Всякий раз, когда я пытаюсь истолковать семейные отношения исторических деятелей, я чувствую себя на зыбкой почве старомодных шаблонных изречений по поводу этой ячейки общества. Но возможность исследований открыта, и материалы вызывают к тому, чтобы их использовали. По-видимому, существует полное согласие между социальными историками, просопографами* и историками, интересующимися психологическими явлениями, в том, что история семьи образует пробел в наших исторических познаниях, пробел, которому новое поколение историков призвано уделить первостепенное внимание.

Современная история может быть индивидуализирована и конкретизирована способом, о котором и не мечтал Леопольд фон Ранке. Сегодня мы можем видеть, каким образом экономическое и социальное существование индивидов и их совокупностей отражается в семье наряду с психической структурой, формируемой этой первичной реальностью в критические периоды жизни. Прозрения Маркса и Фрейда могут быть объединены не в пророчествующей претенциозной риторике Г. Маркузе или Н. Брауна**, а в конкретных исторических исследованиях, описывающих жизненные ситуации.

IV

Несмотря на некоторые серьезные опасения, связанные с применением психологии в истории, я чувствую, что мы далеко оставили за собой интеллектуалистическую психологическую историю начала нашего столетия. Я все

²⁴ Philippe Ariès. L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Paris, 1960.

еще на стороне фрейдистских «психологизаторов». Любой историк едва ли сможет предположить хотя бы строчку исторического описания, не взяв на себя явных или скрытых обязательств в отношении той или иной теории личности и мотивации. С конца XVII в. в разные периоды в качестве господствующих выступали и разные психологические теории, такие, например, как теории Локка и Декарта. Они проникали в литературный язык, равно как и повседневную речь, поэтому историк был вынужден использовать их мотивационную терминологию. Современный историк должен испытывать по крайней мере некоторую неловкость, обнаруживая приверженность к традиционным моделям мотивации XIX века. Скептик может с известным основанием сомневаться в том, что более новые теоретические системы по своим внутренним достоинствам превосходят теории, унаследованные нами от прошлого. Но одеваться по моде прошлого века — эксцентрично, даже если эта мода и нравится человеку. Историк, по-видимому, всегда обязан принимать психологический язык своего времени. Поэтому, я считаю, мы не можем обойти концепций Фрейда в их ортодоксальной или же неортодоксальной форме.

Несмотря на продолжительное и в целом продуктивное взаимовлияние истории и психологии в самых различных формах как на теоретическом, так и практическом уровнях, большинство членов Американской Исторической Ассоциации (и позитивисты, и релятивисты) оказалось плохо подготовленным к той «бомбе», которую бросил в них в своей президентской речи Вильям Лангер 29 декабря 1957 года. Он сказал, что очередная задача историков состоит в том, чтобы применить открытия психоанализа к истории. Это был самый жестокий удар для ученых, создавших целую серию безупречно солидных работ по дипломатической истории. В настоящее время есть основания полагать, что упорное сопротивление историков тому, что они считали случайными психологическими ассоциациями, преодолено. Доклады по психологии и истории, представленные в большом количестве на недавних собраниях Американской Исторической Ассоциации, собрали большие аудитории. В 1963 году Брус Мазлиш составил впечатляющий сборник теоретических высказываний о взаимоотношении психоанализа и истории и настойчиво убеждал историков ознакомиться с от-

носящимися к этому вопросу работами²⁵. Стюарт Хьюз в своей книге «История как искусство и наука» еще раз повторил общий смысл лангеровского манифеста, добавив ряд своих собственных программных утверждений. Здесь же он выразил уверенность в возможности выработки общезначимых исторических обобщений, касающихся «глубоко укоренившихся тревог и идеальных устремлений»²⁶. По-видимому, американские историки за последнее десятилетие написали больше статей о желательности установления контакта между психологией и историей, чем работ, вдохновленных самой этой идеей. Правда, некоторые молодые ученые начинают использовать открытия новой психологии в своих работах. Например, июньский выпуск «American Historical Review» включил статью молодого историка Джона Демоса «Закулисные мотивы колдовства в Новой Англии XVII столетия»²⁷, построенную на основе довольно искусно использованных психоаналитических понятий. В этом отношении, однако, американские историки отстают от политологов, которые с большой энергией включают новые психологические идеи в свои исследования. Доказательством этого служит один из выпусков «Деалуса» (лето 1968 года).

Большой интерес к статьям о взаимоотношении психоанализа и истории в недавнее время проявили сотрудники французских «Анналов», приступивших к исследованиям психологических основ демографии. Здесь следует отметить, что французская демографическая школа занимает выдающееся положение в современной мировой науке.

Любое современное использование психологии в истории обязано постулировать существование бессознательного, убеждение в том, что бессознательное прошлых эпох оставило после себя видимые следы и веру в возможность их расшифровки. И коль скоро историк в пред-

²⁵ Bruce Mazlish (ed.). *Psychoanalysis and History* (Englewood Cliffs. New York, 1963).

²⁶ H. Stuart Hughes. *History as Art and as Science*. New York, 1964, p. 61, 62.

²⁷ John Demos. *Underlying Themes in the Witchcraft of Seventeenth-Century New England*. — «American Historical Review», v. 73, 1970, p. 1311—1326.

варительном порядке сделает выбор некоторой психологической или психоаналитической теории, результаты его исследования могут значительно обогатить наше понимание исторического опыта. Исследования психологических явлений прошлых эпох не только изменят исторические концепции, относящиеся к ним, но могут привести и к правильной оценке исторических рамок и ограничений современных психологических доктрин.

Историки, вводящих современную психологию в историю, очень часто обвиняют в дилетантизме. Однако разве не на перекрестке дорог развития этих двух наук возникли наиболее плодотворные концепции современной историографии? Идея «коллектива», объединение психологов и историков — слишком банальное решение. Окончательный синтез этих дисциплин должен осуществить историк.

Относительно использования специальной психологической терминологии в историографии, именно терминологии, а не понятий, я занимаю довольно консервативную позицию. За небольшими исключениями я нахожу психологический жаргон слишком неподходящим для исторического повествования и убежден в том, что можно воспринять психологические понятия и не пользуясь психологической терминологией, порожденной местными сциентистскими традициями. Включение психоаналитических понятий в историю предполагает, конечно, несколько иные критерии исторического доказательства. Эти критерии должны отличаться от тех, к которым привык традиционный историк. Однако в то время как количественная школа в истории продолжает галилеевскую традицию математизации знания, применяя новые методы, созвучные нашей эпохе, психологическое направление в истории все еще тяготеет к описанию индивидуального, к поиску уникального. Перспектива внедрения количественных методов в историю все еще представляется отдаленной. Однако уже и сейчас они могут получить известное применение в анализе отдельных сторон поведения групп ²⁸.

²⁸ Интересной попыткой анализа психологии социального коллектива, поднимающей проблемы квантификации исторического материала, является работа: Marc Raeff. *Origins of the Russian Intelligentsia*. New York, 1966.

В целом я полагаю, что психологическое знание на данной стадии его развития более полезно при описании, чем при построении систем объяснения. Недавние попытки объединить психологию и историю в некоем неудачно названном психоисторическом процессе предполагают принятие некоторой разновидности Монизма с большой буквы, которому история всегда упорно сопротивлялась. Так как множество историко-психологических проблем даже не было грубо очерчено, я не склонен включать в свое изложение детально разработанные теоретические структуры. В конечном счете для меня психология в историческом описании играет более скромную роль, внося живые и сочные оттенки и полутона на палитру историка, преодолевая тот печальный черно-белый характер структуры и количества, который в наш технологический век неизбежно превалирует в исторической картине.

Новые психологические теории могут открыть целые области исследований, вызывая историков на прямые, а иногда и дерзкие вопросы. Ограничение психоанализа биографиями, областью, где он сейчас, по крайней мере частично, признан, не может быть длительным. Историки должны будут снова обратиться к серьезным исследованиям символических представлений. В истории идей существуют очень важные проблемы, которые невозможно решить адекватно лишь на интеллектуальном и сознательном уровнях. Они требуют применения новых орудий анализа: истории ощущений времени, пространства, утопий, мифов и т. д. «Бессознательные умственные навыки», которые Артур Лавджой* надеялся проанализировать в истории идей, мало или вообще не имеют ничего общего с «бессознательным» Фрейда. По-видимому, основным недостатком его работ и работ школы Февра является их исключительный интеллектуализм.

Конкретные формы вытеснения и сублимации в психике** имеют свою историю. Их функциональное значение сильно изменяется во времени и пространстве. Изменяется также и форма проявления невротических реакций — это покажет нам любая выборка историй болезней за последние 70 лет. Еще в 1913 году Карл Ясперс в главе своей «Общей психопатологии», названной «Социальные и исторические аспекты психозов и разрушения лич-

ности»²⁹, указывал, что «неврозы в особенности обладают стилем, присущим данному времени». Однако мало кто из историков смог убедительно показать изменяющийся характер удовлетворения стремлений, вырастающих из либидо в разные эпохи.

Истории мод, платья, сексуальных и брачных обычаев, наказаний, стилей и многое другое, по традиции относимое к области «малой истории» и антиквариата, должно быть исследовано, таким образом, с точки зрения их символического содержания. Вторым, наиболее существенным вкладом наследия Фрейда в историческую науку, является, быть может, переоценка принятой иерархии ценностей исторических источников. Если бы все предметы стали средствами выражения чувств и мыслей, то государственные документы, великие философские системы и научные законы могли бы несколько потерять свой престиж в сравнении с другими более интимными свидетельствами человеческого переживания. Дни дильтеевской элитарной психологической истории сочтены. Классический же психоанализ (с его сомнительным будущим в качестве психотерапевтического метода), напротив, может быть возрожден как инструмент исторического исследования.

Наше понимание прошлого может стать значительно более глубоким после нового прочтения как старых документов, так и документов, которые ранее представлялись незначительными. Записные книжки и каракули, предназначенные в настоящее время лишь для того, чтобы увеличивать груды пепла истории, могут быть спасены и возвращены к жизни. Огромная масса литературы о снах и фантазиях прошлых эпох все еще остается неисследованной. В Западной Европе и в Америке имеется громадное количество печатных и рукописных материалов (юридических, политических, медицинских, литературных), не говоря уже о произведениях изобразительного искусства, психологическое значение которых еще не изучено.

Экономическая история стала уважаемой дисциплиной. И кому теперь придет в голову преуменьшать значе-

²⁹ Karl Jaspers. "General Psychopathology", перевод J. Hoenig and Marian W. Hamilton (Chicago; University of Chicago Press, 1963), p. 732. Оригинальное немецкое издание Allgemeine Psychopathologie, 1913.

ние истории труда или же характера потребления? Здесь я хочу всего лишь подчеркнуть необходимость обращения к истории и другим потребностям и проявлений жизни. В защиту своей идеалистической теории Духа как сущности человеческого существования Гегель однажды с величайшим презрением писал об алиментарной истории (истории, в центре интересов которой стояли проблемы питания.— *Прим. пер. Ю. А.*). Теперь, когда мы вопреки Гегелю признали права рук и желудка на участие в человеческой истории, будем же готовы ввести в ее храм и другие, более скрытые тайники человека.

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ
К ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА

Этот очерк — попытка наблюдения и анализа, за исключением ясно оговоренных утверждений, — не является выражением личного кредо автора, его предпочтений и оценок. Об этом приходится говорить с самого начала не только для того, чтобы отграничить наш очерк от других, которые представляют собой скорее апологии или же призывы работать в тех областях истории, где работают их авторы (в настоящее время социальная история не нуждается ни в защите, ни в призывах), но и для того, чтобы избежать двух недоразумений. С последними особенно часто сталкиваешься в дискуссиях остроидеологического содержания. Таковы все дискуссии по социальной истории.

Первое недоразумение — это тенденция читателей отождествить взгляды автора с теми, о которых он пишет. Здесь иногда не помогают даже совершенно недвусмысленные протесты с его стороны. Второе недоразумение — это тенденция смешивать идеологические или политические мотивы исследования, способы его использования с его научной ценностью. Когда идеологические установки или побуждения автора приводят к тривиальностям или ошибкам, как это часто бывает в общественных науках, мы можем с легким сердцем осудить мотивацию автора, его методы и результаты. Однако жизнь была бы значительно проще, если бы наше понимание исторических событий развивалось только благодаря работам тех историков, со взглядами которых по всем общественным и даже личным вопросам мы либо согласны, либо же им симпатизируем. Социальная история сегодня в моде. Никто из тех, кто занимается ею, не очень бы желал, чтобы его идеологические установки были отождествлены с установками других историков, работающих в том же самом направлении. И все-таки сегодня не так важно точное определение своих собственных позиций, как решение вопро-

са о том, каково место социальной истории после ее плодотворного, хотя и несистематического, периода двадцатилетнего развития и каковы ее будущие перспективы.

I

Термин «социальная история» всегда был трудно определим. До недавнего времени к этому особенно и не стремились, так как на точных разграничениях настаивали в основном в силу ведомственных и профессиональных интересов, которые, однако, не выражались в достаточно четкой форме. Вообще говоря, до современной моды на эту дисциплину (или по крайней мере на ее название) термин «социальная история» использовался в трех, иногда перекрывающихся смыслах.

Во-первых, им обозначали историю низших классов, точнее говоря — историю движений бедноты («социальные движения»). Термин мог бы быть еще более конкретизирован, если его отнести к истории профсоюзных и социалистических идей и организаций. Целый ряд историков был привлечен в эту область исторической науки¹.

Во-вторых, этот термин использовался для обозначения исторических работ по самым разнообразным вопросам человеческой деятельности. Последние было бы трудно определить, не обращаясь к таким понятиям, как «матери, обычаи, повседневная жизнь».

Таково понимание социальной истории англосаксами, для которого по каким-то, может быть, лингвистическим причинам в английском языке отсутствуют подходящие термины для соответствующего обозначения; немцы, пишущие по тем же самым вопросам, весьма поверхностно и по-журналистски называли бы его *Kultur-Sittengeschichte* (нем.: «история культуры», «история нравов»). Этот тип социальной истории не был всецело ориентирован на низшие классы. Скорее дело обстояло иначе, хотя политические радикалы в этой области и обращали на них большое внимание. Такой смысл термина создавал не явно выраженную основу тому, что может быть названо «остаточным» подходом к социальной истории. Последний был на-

¹ См. выступление А. Reuter на IX Международном конгрессе исторических наук (Париж, 1950), I, 298.

иболее рельефно определен Дж. М. Тревельяном в его работе «Английская социальная история» (Лондон, 1944). Для него—это «история, из которой исключена политика». Данное определение не нуждается в комментариях.

Третье значение этого термина, безусловно, является наиболее распространенным. Оно особо важно для наших целей. Термин «социальная» используется в этом случае в совокупности с термином «экономическая история». И действительно, до второй мировой войны, вне англосаксонского мира названия самых важных специальных журналов в этой области всегда объединяли оба эти термина, как, например: *Vierteljahrschrift für Sozial-u. Wirtschaftsgeschichte*, *Revue d'Histoire E. and S*, *Annales d'Histoire E. and S*. Необходимо признать, однако, что экономическая половина в такой комбинации терминов явно доминировала. Едва ли существовала социальная история, которую можно было бы сопоставить по объему с многочисленными томами, посвященными экономической истории различных стран, периодов и отраслей. Действительно же экономических и социальных историй было мало. До 1939 года мы можем назвать только несколько работ этого типа, хотя и написанных маститыми авторами (Пиренн, М. Ростовцев, Дж. Томпсон, может быть, Допп) *. Монографических исследований и журналов по этим вопросам было еще меньше. Тем не менее весьма примечательно ставшее привычным объединение в один термин понятий экономического и социального как при определениях общего предмета исторической специализации, так и в более специализированных рамках экономической истории.

Здесь обнаруживалось стремление к такому подходу к истории, которое бы принципиально отличалось от подхода Ранке. Историков этого типа интересовало развитие экономики, так как оно пролиvalo свет на структуру и изменения в обществе, более конкретно — на отношения между классами и социальными группами, как это отметил Джордж Анвин^{**2}. Этот социальный параметр прослеживается даже в работах наиболее осторожных историков-экономистов, коль скоро они притязают на то, чтобы быть историками. Даже Клэпхэм^{***} доказывал, что экономическая история является самой фунда-

² R. H. Tawney, *Studies in Economic History* (London, 1927), p. XXIII, 33, 34, 39.

ментальной из всех разновидностей истории, так как в ней рассматривается основа общества³. Преобладание экономического над социальным в этой комбинации, по нашему мнению, объяснялось двумя причинами. Частично оно было связано с определенными положениями самой экономической теории, которая, как, например, в марксизме или же в немецкой исторической школе, отказывалась изолировать экономику от социальных, институциональных и других элементов общества. Частично — с тем, что политическая экономия в своем развитии опережала другие общественные науки. Если история намеревалась органически включиться в другие общественные науки, то ей прежде всего надлежало установить взаимопонимание с политической экономией. Можно было бы пойти и дальше, доказывая вместе с Марксом, что при всей неразделимости экономического и социального аналитической основой исторического исследования эволюций человеческих обществ должен быть процесс общественного производства.

Ни одна из этих трех версий социальной истории не сложилась в специализированную академическую дисциплину до 50-х годов нашего века, хотя и было время, когда знаменитые «Анналы» Марка Блока и Люсьена Февра отказались от экономической части своего названия. Однако это было временным эпизодом военных лет и название, под которым этот журнал известен уже в течение четверти столетия, а именно как *Annales: économies, sociétés, civilisations* (Анналы: экономики, общества, цивилизации. — Ю. А.), равно как и его содержание, отражают глобальные и всеохватывающие установки его основателей. Ни сама социальная история, ни характер рассмотрения ее проблем не развивались серьезно до 1950 года. Специальные журналы, все еще очень немногочисленные, появились лишь в конце 50-х годов. В качестве первого журнала в этой области (1958 г.) мы можем назвать «*Comparative studies in Society and History*». Таким образом, социальная история как специализированная академическая дисциплина совсем нова.

Чем же объясняется столь быстрое развитие и все возрастающая самостоятельность социальной истории за

³ J. H. Clapham. *A Concise Economic History of Britain* (Cambridge, Eng.: University Press, 1949).

последние двадцать лет? На этот вопрос можно ответить, только приняв во внимание методические и организационные изменения в общественных науках, а именно планомерно осуществляемую специализацию экономической истории, отвечающую требованиям быстро развивающейся экономической теории и анализа. Хорошим примером этой специализации является «новая экономическая история». Замечательное и всеохватывающее развитие социологии как самостоятельной области знания и как моды в свою очередь потребовало создания вспомогательных исторических дисциплин. Здесь дело обстоит так же, как и с развитием экономической теории. И мы не можем пренебрегать всеми этими факторами. Многие историки, ранее называвшие себя экономическими, не нашли себе места в быстро сужающихся рамках экономической истории. Они-то и приветствовали звание «социальных историков». В атмосфере 50-х и 60-х годов такой исследователь, например, как Р. Тони*, едва ли был бы принят в число экономических историков, будь он молодым историком, а не президентом Общества экономической истории. Однако подобные академические переименования и профессиональные перемещения вряд ли могут объяснить многое, хотя их и не следует упускать из виду.

Значительно более важна общая историзация общественных наук, которая ретроспективно представляется наиболее существенным явлением. Здесь нет необходимости подробно объяснять причины этих перемен в общественных науках, достаточно только указать на огромное значение революций и борьбы за политическое и экономическое освобождение колониальных и полуколониальных стран, которые привлекли внимание правительственных, международных и исследовательских организаций, а следовательно, и специалистов по общественным наукам к тому, что, в сущности, является проблемами исторического преобразования⁴. Все эти проблемы до настоящего

⁴ Две цитаты из одного документа (Economic and Social Studies Conference Board, Social Aspects of Economic Development, Istanbul, 1964) хорошо показывают противоположные мотивы исследователей, работающих в области этой новой исторической специализации. Турецкий председатель конференции отметил: «Экономическое развитие или рост в экономически отсталых районах — самая серьезная проблема, стоящая перед современным миром. Развивающиеся страны видят в этом развитии высокий идеал. Оно для

времени были вне или в лучшем случае на периферии внимания академической ортодоксии в общественных науках и неизменно пренебрегались историками.

Как бы то ни было, исторические по своему существу проблемы и понятия (иногда это лишь сырые полуфабрикаты: «модернизация» или «экономический рост») проникли в дисциплины ранее весьма невосприимчивые к истории, если не прямо враждебные ей, как, например, в случае социальной антропологии Редклифа-Брауна. Прогрессирующее проникновение истории в общественные науки особенно наглядно на примере экономической науки. Здесь в так называемой «экономике роста» предписания (хотя и достаточно утонченные, но все же напоминающие рецепты из поварской книги) претерпели существенное изменение благодаря растущему пониманию того, что экономическое развитие определяют и внеэкономические факторы. Короче, ученый-обществовед, пренебрегающий понятиями социальных структур и их трансформацией, игнорирующий историю обществ, может получить только самые тривиальные результаты в своих исследованиях. Забавный парадокс сегодня заключается в том, что экономисты начинают нащупывать некоторые пути к пониманию социального (или же по крайней мере не чисто экономического). В то же время историки-экономисты, осваивая экономические модели пятнадцатилетней давности, настолько озабочены тем, чтобы их построения выглядели как можно более жесткими, что забывают обо всем, кроме уравнений и статистики.

Какой вывод можно сделать из этого краткого обзора возникновения и развития социальной истории? Едва ли этот обзор может служить хорошим введением в ее предмет и рассматриваемую ею проблематику. Но он может объяснить, почему некоторые более или менее разнообразные предметы объединились в дисциплину с общим на-

них ассоциируется с политической независимостью и чувством национального суверенитета». По мнению же Даниеля Лернера, «десятилетие глобальных экспериментов с социальными изменениями и экономическим развитием ушло в прошлое. Во всем мире эта декада была наполнена попытками индуцировать экономическое развитие, не производя хаоса в культуре; ускорить экономический рост, не нарушая социального равновесия; обеспечить экономическую мобильность, не подрывая политической устойчивости» (XXIII, I).

званием и каким образом развитие других общественных наук подготовило почву для создания академической теории, названной этим термином. В лучшем случае в нем содержатся некоторые намеки, на одном из которых нам хотелось бы остановиться.

Обзор социальной истории в прошлом, по-видимому, показывает, что ее наиболее крупные и известные представители всегда испытывали определенное неудобство при использовании этого термина. Они или по примеру великих французов, которым мы стольким обязаны, предпочитали называть себя просто историками, а свою задачу — «тотальной» или «глобальной» историей, или же по примеру некоторых других исследователей пытались включить в состав истории все завоевания социальных наук, не уповав в отдельности на какую-либо из них. Марк Блок, Фернан Бродель, Жорж Лефевр — все это имена, которые нелегко включить в рубрику социальных историков. Они являются таковыми лишь постольку, поскольку все они принимают утверждение Фюстель де Куланжа: «История — это не совокупность фактов, случившихся в прошлом. Это наука о человеческих обществах».

Социальная история никогда не сможет стать специализированной дисциплиной, как, например, экономическая или любая иная история, так как ее предмет невозможно изолировать. Некоторые виды человеческой деятельности можно определить как экономические, по крайней мере с целью их анализа, и подвергнуть их историческому исследованию. Хотя это выделение экономического (если только при этом не преследуются строго определенные цели) может быть и искусственным, оно не бесполезно. Точно так же, как бесполезна история идей старого типа, в которой цели, зафиксированные в письменной форме, изолированы от их человеческого контекста, и их филиация прослеживается от одного автора к другому. Но социальные или же социетальные аспекты человеческого бытия не могут быть отделены от других его аспектов. Такая дифференциация может основываться лишь на тавтологии или же на чрезмерных упрощениях проблемы. Их нельзя даже на мгновение отделить от способов, с помощью которых человек получает средства к существованию из своего материального окружения. Точно так же эти аспекты нельзя отделить и от его идей, ибо отношения людей друг с другом выражаются

и формулируются в языке, который органически связан с понятиями. Этот перечень взаимосвязей можно было бы продолжить. Историк идей может и не обращать внимания на экономику, а историк экономики — на Шекспира. Но социальный историк, который выпустил бы из поля своего зрения то или иное, продвинулся бы не слишком далеко. И хотя в высшей степени невероятно, чтобы монография по провансальской поэзии оказалась экономической историей, а исследование по инфляции в шестнадцатом веке — интеллектуальной историей, оба эти явления могут рассматриваться таким образом, что они войдут в социальную историю.

II

Рассмотрим теперь проблемы создания истории общества. Первый вопрос, с которым сталкивается социальный историк, состоит в том, чем он может воспользоваться в других общественных науках и в какой мере они остаются науками об обществе, когда они обращаются к прошлому? Это резонный вопрос, и опыт двух последних десятилетий показывает, что на него можно дать два ответа. С одной стороны, совершенно очевидно, что с 1950 года социальная история формировалась не только под влиянием профессиональных структур других общественных наук (например, специфических требований к университетским курсам для студентов, изучающих эти дисциплины) и их методов и методик, но также и под влиянием их проблематики. Едва ли будет преувеличением сказать, что недавний расцвет исследований по промышленной революции в Великобритании (вопрос, которым эксперты по экономической истории пренебрегали, сомневаясь в правильности самого термина «промышленная революция») объясняется прежде всего стимулирующими требованиями экономистов ответить на вопросы, как происходят индустриальные революции, что к ним приводит и каковы их социально-политические последствия. За некоторыми выдающимися исключениями этот поток стимулирующего влияния за прошедшие двадцать лет был односторонним. С другой стороны, посмотрев на недавнее развитие общественных наук под иным углом зрения, мы будем поражены очевидным сближением представите-

лей различных дисциплин в направлении социоисторической проблематики. Примером здесь может служить исследование долговременных процессов. Среди авторов, пишущих по данной проблематике, мы встречаем и антропологов, и социологов, и историков, и представителей политических наук, не говоря уже об исследователях литератур и религий. Хотя, насколько я знаю, экономисты еще не встречаются. Можно также отметить случаи, когда исследователи с неисторической профессиональной подготовкой, по крайней мере временно, занимаются работой, которую историки называли бы исторической. Примером могут служить социологи Ч. Тилли и Н. Смелсер, антрополог Э. Вольф, специалисты по политической экономии Э. Хаген и Дж. Хикс*.

Не следует забывать, что если обществоведы (неистики) начинают задавать собственно исторические вопросы и обращаются к историкам за ответами, то это происходит потому, что у них самих этих ответов нет. И если они иногда сами превращаются в историков, то только потому, что историки, работающие в данной области, не дают им нужных ответов. Заметное исключение в этом отношении представляют марксисты⁵.

Кроме того, хотя в настоящее время и есть некоторые представители других общественных наук, обнаруживающие достаточную компетентность в нашей области, все же больше оказывается таких, которые ограничиваются использованием нескольких плохо усвоенных механических моделей и понятий. Я уже не говорю о достаточно большом числе других ученых-обществоведов, отваживающихся на рискованные экскурсии в области исторических источников без достаточного знания опасностей, которые

⁵ Характерна в этом отношении жалоба Джона Хикса: «Моя «теория истории» будет значительно ближе к той, которую попытался создать Маркс... Большинство (из тех, кто верит в возможность использования общих теорий для упорядочивания исторического материала, для выявления общего хода истории)... используют категории марксистской историографии либо же некоторые их разновидности. В этом нет ничего удивительного, так как в нашем распоряжении просто нет иных теоретических альтернатив. И все же это поразительно, что через сто лет после создания «Капитала», после столетия, в котором имело место такое громадное развитие общественных наук, в этой области было сделано еще так мало». *A Theory of Economic History* (Oxford, Clarendon Press, 1969), p. 2—3.

их здесь подстерегают, или же средств преодоления и избежания этих опасностей. Одним словом, ситуация в настоящее время такова, что историки, при всей их готовности учиться у других наук, скорее, должны учиться сами. Нельзя создать историю общества, используя фрагментарные модели других наук. Она требует адекватных новых моделей или по крайней мере разработки существующих набросков к ним.

Все это, конечно, не относится к вопросу о методиках и методах. Здесь историки не только в значительной степени должники, но и продолжают одалживать им необходимое. Я не намереваюсь рассматривать данный аспект проблемы истории общества, но одно или два замечания в этой связи можно было бы сделать. Учитывая характер наших источников, мы вряд ли можем ожидать большого прогресса в методологии исторических исследований без методик выявления, статистической группировки и обработки большого количества данных. Мы должны чаще прибегать к разделению труда в исследовании и техническим средствам, разработанным другими общественными науками. Вне всего этого история останется комбинацией гипотез и случайных фактических иллюстраций к ним.

В равной мере мы нуждаемся и в методиках наблюдения и глубинного анализа отдельных индивидов, небольших групп и ситуаций. Все эти методики были разработаны вне истории и могут быть применены для наших целей. Например, включенное наблюдение социальной антропологии, глубинные интервью, возможно даже некоторые психоаналитические методы. Во всяком случае, все они могут стимулировать поиск их эквивалентов и видоизменений для нашей области. Это может помочь найти ответы на вопросы, которые до сих пор были неразрешимы⁶.

Я очень сомневаюсь в реальности перспективы превращения социальной истории в спроектированную в прош-

⁶ Так, выборка телеграмм и резолюций, посланных в Петроград в первые недели Февральской революции 1917 года, которую сделал Марк Ферро, является эквивалентом ретроспективного опроса общественного мнения. Однако сомнительно: возникла ли бы у исследователя мысль о подобной работе без предшествующего развития методик опросов в общественных науках. М. Ферро. *La Révolution de 1917*. Paris, Aubier, 1967.

лое социологию, равно как и экономической истории в ретроспективную экономическую теорию. Эти науки в настоящее время не дают нам полезных моделей или же общих аналитических схем для изучения длительных по времени исторических социально-экономических трансформаций. За исключением такой школы, как марксизм, можно сказать, что основная масса соображений в них была направлена не на исследование этих изменений. Они даже не интересовались ими. Кроме того, можно было бы доказать, что аналитические модели в этих науках были получены в их систематической и наиболее убедительной форме именно с помощью абстракции от исторического изменения. Я бы сказал, что это особенно верно применительно к социологии и социальной антропологии.

Основоположники социологии мыслили более исторически по сравнению с главной школой неоклассической экономической теории*. Но социология — менее развитая наука. Стенли Хоффман совершенно справедливо указал на различие между «моделями» экономистов и «опросными листами» социологов и социальных антропологов⁷. Эти науки также дают определенное видение схемы возможных структур, образованных из элементов, которые можно скомбинировать разными способами, несколько напоминающими кольцо Кекуле. Однако их недостатком является их неверифицируемость. В лучшем случае такие структурно-функциональные схемы могут быть эвристически полезными, по крайней мере для некоторых исследователей. При более скромной их оценке мы можем сказать, что они снабжают нас хорошими метафорами, понятиями или же терминами (такими, как «роль»), представляя удобные средства для упорядочивания собранного материала.

Кроме того, можно было бы показать, что теоретические конструкции социологии (или же социальной антропологии) оказывались наиболее плодотворными тогда, когда они исключали историю как направленное или же ориентированное изменение⁸. В целом же структурно-

⁷ На конференции по новым тенденциям в истории (Princeton, N. Y., May, 1968).

⁸ Я не считаю историческими и передающими направление развития такие характеристики, как «возрастание сложности общества». Хотя само по себе оно, конечно, может иметь место.

функциональные схемы выявляют то общее, что характерно для различных обществ, в то время как наша проблема заключается в выявлении специфических различий. Вопрос совсем не в том, какой свет могут пролить племена Амазонки, изученные Леви-Строссом, на современное (или любое иное) общество. Действительная проблема состоит в том, как человечество перешло от первобытно-общинного строя к современному индустриальному или постиндустриальному обществу; какие изменения в обществе имели место в связи с этим движением, были необходимы для этого прогресса и явились его следствием. Или же, иначе говоря, задача состоит не в том, чтобы констатировать постоянную необходимость для всех человеческих обществ обеспечивать себя пищей, выращивая ее или же приобретая каким-либо иным способом. Важно исследовать, что происходит, когда эта функция, с периода неолитической революции в подавляющем большинстве случаев выполняемая классом крестьян, преобладающим в любом аграрном обществе, начинает выполняться небольшими группами других производителей сельскохозяйственных продуктов либо же передается неаграрному производству. Как это происходит и почему? Я не думаю, что социология и социальная антропология, сколь бы ни были они полезны, могут дать сегодня ответы на эти и все другие аналогичные вопросы.

С другой стороны, хотя некоторые и проявляют известный скепсис в отношении способности большинства положений современных экономических теорий служить категориальной основой для исторического анализа обществ (откуда следует необходимость новой экономической истории), я все же склонен думать, что возможное значение экономической теории для истории очень велико. По своей природе она имеет дело с тем элементом истории, который динамичен по самому своему существу, а именно с процессом и (если использовать большие масштабы времени) прогрессом общественного производства. В той мере, в какой экономическая теория исследует эти стороны производства, она, как это ясно увидел Маркс,— историческая наука. Приведем один пример. Понятие экономического прибавочного продукта, с таким успехом возрожденное и использованное Полем Бараном, совершенно необходимо для любого историка обществен-

ного развития⁹. Оно представляется мне не только более объективным и квантифицируемым но и, говоря в терминах анализа, более первичным, чем дихотомия Gemeinschaft — Gesellschaft (нем. общность — общество) *. Безусловно, Маркс полагал, что экономические модели, обладающие некоторой ценностью для исторического анализа, не могут быть оторваны от социальных и институциональных реальностей, включающих основные типы человеческих общностей, системы родства, не говоря уже о социальных структурах и предпосылках, специфичных для конкретных социально-экономических формаций или культур. И тем не менее, хотя Маркс с полным основанием считается одним из основоположников современной социологической мысли (прямо или косвенно, через его последователей или критиков), его основное интеллектуальное достижение — «Капитал» — является работой, посвященной экономическому анализу. Мы не требуем соглашаться ни с его выводами, ни с его методологией. Но было бы неразумным пренебрегать трудом мыслителя, который больше, чем кто бы то ни было, сформулировал и поставил исторических вопросов, разрешением которых занимаются сегодня общественные науки.

III

Как мы должны работать над историей общества? Я не могу предложить читателю определение или модель того, что мы понимаем под обществом, или же то, что мы хотим знать о его истории. Даже если бы я и мог это сделать, я не уверен, насколько все это было бы полезно. Однако представляется целесообразным предложить небольшой перечень требований к такой истории с тем, чтобы ориентировать и предостеречь будущих исследователей.

1) История общества — это *история*. Это значит, что одним из измерений общества является реальное хронологическое время. Мы изучаем не только структуры и механизмы их сохранения и изменения, не только общие возможности и схемы их трансформаций, но и то, что

⁹ P. Baran. The Political Economy of Growth (New York: Monthly Review Press, 1957), chap. 2.

имеет место в действительности. Если мы этого не делаем, то, как напомнил нам Фернан Бродель в своей статье «История и долговременность», мы не историки¹⁰. *Гипотетическая* история характерна и для нашей дисциплины, хотя ее основная ценность состоит в том, что она помогает нам осмыслить возможности не столько прошлого, сколько настоящего и будущего. Применительно к прошлому этим целям служит *сравнительная* история. Но наша задача состоит в объяснении действительных исторических событий. Анализ возможностей развития капитализма в императорском Китае, например, важен для нас лишь постольку, поскольку он помогает нам объяснить тот реальный факт, что данный тип экономической системы развился впервые полностью, по крайней мере в одном, и только одном, регионе мира. Это обстоятельство в свою очередь может быть не без пользы противопоставлено (опять же в свете общих моделей экономического развития) существующей тенденции других систем социальных отношений, например феодальных, развиваться в значительно большем числе регионов. Таким образом, история общества — это взаимодействие общих моделей социальной структуры и изменений конкретных, фактически совершившихся феноменов. Последнее остается правильным как для временных, так и для пространственных рамок наших исследований.

2) История общества — это, кроме того, те конкретные общности людей, различия между которыми определяются социологией. Это история человеческого общества в отличие, скажем, от сообществ (обезьян и муравьев) или определенных типов обществ и их возможных взаимоотношений. К таким типам общества применимы термины «буржуазное» или «пастушеское». История общества — это вместе с тем история общего развития человечества, рассматриваемого как единое целое. Определение общества в этом смысле поднимает целый ряд сложных вопросов, даже если мы допустим, что наше определение содержит нечто объективно реальное, что весьма вероятно. Трудности остаются, если мы не отбросим как незаконные такие, например, утверждения, как «Японское общество в 1930 году отличалось от английского общест-

¹⁰ Английский перевод этой важной статьи см. в: "Social Science Information", 9 (February 1970), p. 145—174.

ва» *. Но даже если мы устраним путаницу различных значений слова «общество», мы столкнемся с целым рядом проблем, потому что, во-первых, размеры, сложность и объем этих объединений изменяются на разных исторических периодах или стадиях развития, и, во-вторых, то, что мы называем обществом, есть одна из совокупностей человеческих взаимоотношений. Существуют и другие иных масштабов и степени полноты понятия, с помощью которых можно классифицировать объединения людей, причем мы часто сталкиваемся с одновременным и перекрещивающимся употреблением возможных классификаций. В таких крайних случаях, как племена папуасов и племена бассейна Амазонки, разные совокупности межчеловеческих отношений могут определять одну и ту же группу людей. Но это весьма маловероятно. Как правило, эти группы не совпадают ни с такими важными для социологии единицами, как, например, община, ни с более широкими системами отношений, из которых строятся те или иные его части и которые в функциональном отношении могут быть или существенны (например, совокупность экономических отношений), или же несущественны (отношения культуры).

Христианство и ислам существуют и признаются в качестве некоторых самоклассификаций. Но хотя они и могут определять некоторый *класс* обществ, имеющих общие характеристики, они не являются обществами в том смысле, в котором мы говорим о греках или о современной Швеции. С другой стороны, хотя Детройт и Куско являются сегодня частями единой системы функциональных взаимозависимостей (например, как части единой экономической системы), лишь очень немногие стали бы рассматривать их в качестве частей одного и того же общества с социологической точки зрения. Точно так же не стали бы относить к одному обществу римлян и гуннов, которые, совершенно очевидно, вступали в сложные взаимоотношения друг с другом. Как определить совокупности такого рода? На этот вопрос ответить довольно трудно, хотя большинство из нас решили бы его (или же ушли от решения), выбрав некоторый внешний критерий объединения — территориальный, этнический, политический и т. д. Но это решение не всегда удовлетворительно. Проблема группировки сталкивается не только с методологическими трудностями. Одной из главных тенден-

ций истории современных обществ является увеличение их масштабов, внутренней однородности (или по крайней мере централизации и ясности социальных отношений), переход от существенно плюралистической к существенно унитарной структуре. В свете всего этого проблемы определения становятся очень затруднительными. И об этом знает каждый исследователь.

3) История обществ требует от нас применять если не формализованную и тщательно отработанную модель таких структур, то по крайней мере приближенную схему, устанавливающую первоочередные и второстепенные исследовательские задачи. Мы должны использовать и рабочие гипотезы по отношению к тому, что образует центральное звено или комплекс связей предмета нашего исследования. Все это, конечно, предполагает существование некоторой модели общества. Каждый социальный историк фактически пользуется такими гипотезами и устанавливает относительную важность предметов своего исследования. Так, я сомневаюсь, что исследователь Бразилии XVIII века придал бы большее значение ее католицизму, чем ее рабству. Сомнительно также, чтобы исследователь Великобритании XIX века рассматривал бы родственные связи как основные социальные связи.

По-видимому, среди историков установилось молчаливое согласие относительно принятия достаточно общих рабочих моделей такого рода с некоторыми вариантами. Начинают с материального и исторического окружения, переходят к производительным силам и методам производства (демография занимает некоторое промежуточное положение); затем исследуется структура соответствующих экономических отношений (разделение труда, обмен, накопление, распределение прибавочного продукта и т. д.); затем переходят к социальным отношениям, возникающим из экономических. Далее может следовать изучение институтов общества тех представлений об обществе и его функциях, которые лежат в основе этих институтов. Так устанавливается форма социальной структуры, определяются ее специфические характеристики и детали. Последнее, как правило, сопоставляется с другими источниками методом сравнительного исследования. Таким образом, практика исторического исследования состоит в том, что от процесса общественного производства в его специфическом окружении мысль историка

движется «вверх» и «вовне». Историки всегда будут подвергаться искушению (с моей точки зрения, совершенно оправданному) выбрать один из комплексов отношений как центральный и характерный для данного общества, а весь остальной материал группировать вокруг него. Так, например, сделал Марк Блок, выбрав «отношения взаимозависимости» в своем исследовании «Феодальное общество». Таким ядром могут быть и отношения промышленного производства в любом индустриальном обществе. Что же касается капиталистической формы такого общества, то здесь анализ этих отношений в качестве ядра социальной структуры обязателен. Коль скоро установлена структура общества, оно может рассматриваться в его историческом движении. Во французском языке термин «структура» достаточно тесно связан с понятием «конъюнктура», хотя последняя и не должна представляться как единственная и наиболее существенная форма исторических изменений. И снова мы сталкиваемся с тенденцией рассматривать экономическое движение (в самом широком смысле) как основу анализа исторического изменения вообще. Напряженность, которой подвергается общество в процессе исторического изменения и трансформации, позволяет историку выявить: 1) общий механизм, с помощью которого структура общества одновременно проявляет тенденции к потере и восстановлению равновесия, 2) феномены, которые по традиции интересуют социальных историков (например, коллективное сознание, социальные движения, социальные измерения интеллектуальных и культурных изменений и т. д.).

Суммируя и обобщая то, что я называю (может быть, и ошибочно) широко распространенным рабочим планом социальных историков, я не ставлю перед собой задачи рекомендовать его другим, хотя лично высказываюсь за него. Моя цель, скорее, в обратном. Я предлагаю попытаться выявить в эксплицитной форме скрытые предпосылки наших исследований, поставить вопрос о том, является ли этот план наилучшим для определения природы и структуры общества и механизмов их исторических трансформаций (или стабилизаций).

Мы должны задаться вопросом, насколько другие планы исследования совместимы с данным, следует ли отдать им предпочтение или же мы можем просто наложить их один на другой, создав исторический эквивалент

тех портретов Пикассо, которые одновременно передают лицо и в анфас и в профиль.

Короче, если наша задача как историков общества состоит в том, чтобы помочь всем остальным социальным наукам выработать значимые модели социоисторической динамики, мы должны добиться большего единства нашей теории и практики. В настоящее время, по-видимому, решение этой задачи сводится к наблюдению за тем, что мы делаем, обобщению и корректировке нашей практики в свете проблем, вырастающих из наших исследований.

IV

Поэтому я хотел бы завершить статью обзором реальной практики социальной истории за одно или два прошлых десятилетия, чтобы уяснить, на какие перспективы исследования и проблемы она нас наталкивает. Этот обзор, хорошо согласуясь как с профессиональными наклонностями историков, так и с тем малым, что мы знаем о фактическом прогрессе науки, обладал бы целым рядом преимуществ. Он позволил бы выявить, какие разделы и проблемы социальной истории привлекли наибольшее внимание социальных историков в последние годы, какие области социальной истории были наиболее растущими и интересными? Ответы на эти вопросы, конечно, не исчерпывают всего предмета анализа, но, оставляя их без ответа, мы не сможем идти дальше. Единодушие историков в ответах на все эти вопросы может быть ошибочным. На нем может сказываться влияние моды или же, как это очевидно в случае изучения общественных беспорядков, влияние политических или административных требований. Но мы оставим без внимания эти источники ошибок, отдавая себе отчет в степени возможного риска. Прогресс науки весьма мало зависит от априорных попыток конструирования перспектив и программ исследования (если было верно обратное, мы бы уже давно лечили рак) и куда больше — от смутных и часто дублирующих друг друга поисков интересных вопросов, и прежде всего вопросов, созревших для ответа. Посмотрим же на то, что происходит в исторической науке, по крайней мере по впечатлениям одного из наблюдателей.

Я позволю себе высказать предположение, что основ-

ная масса интересных исследований по социальной истории за последние 10—15 лет сосредоточена вокруг следующих комплексных проблем:

- (1) демография и системы родственных связей,
- (2) урбанистика в той мере, в какой она относится к нашей науке,
- (3) классы и социальные группы,
- (4) история коллективного сознания или же «культура» в антропологическом смысле этого слова *,
- (5) трансформации общества (например, модернизация или же индустриализация),
- (6) социальные движения и явления социального протеста.

Первые две группы проблем можно выделить потому, что безотносительно к важности объектов исследования они уже конституировались как самостоятельные области: для них характерны собственные организации, методология и система публикаций. Историческая демография — быстро развивающаяся и результативная область, прогресс которой основан не столько на постановке новых проблем, сколько на техническом усовершенствовании исследований (например, в области воссоздания семейных отношений). Новые методики представили возможность получить интересные результаты по материалам, которые до настоящего времени считались не поддающимися обработке или же исчерпанными (приходские книги, регистрирующие крещения, браки, погребения). Тем самым здесь была открыта новая группа источников, которая привела к постановке нового комплекса проблем. Историческая демография интересует социального историка прежде всего потому, что она проливает новый свет на некоторые стороны структуры семьи и поведения человека, на извилистые жизненные пути людей в различные исторические эпохи, на изменения отношений между поколениями. Все это важно, хотя природа источников такова, что допускает лишь ограниченные ответы на эти вопросы. Ценность источников такого рода представляется более ограниченной, чем это кажется энтузиастам, работающим в данной области. И уж, конечно, взятые сами по себе, они совершенно недостаточны для того, чтобы создать основу анализа «мира, который мы потеряли» **. Тем не менее мы не ставим под сомнение принципиальное значение этой области истории. Она поощряет

применение строгих количественных методик. Один из положительных итогов ее развития (этот итог можно считать и побочным) — усиление интереса к историческим проблемам структур родственных отношений. Без этого стимула социальные историки обратили бы меньше внимания на данную проблему, хотя известное доказательство изменчивости структур родственных связей дано и социальной антропологией. Характер и перспективы развития этой области рассматривались достаточно детально, и мы не будем останавливаться на них подробно.

История городов также обладает некоторым единством методического характера. Отдельный город — это, как правило, географически ограниченное и связанное целое, зачастую обладающее своей специфической документацией и размерами, что делает его пригодным для монографического исследования. Интерес к этой области также отражает актуальность урбанистской проблематики, постепенно превращающейся в основную или по крайней мере наиболее драматическую проблематику социального планирования и руководства в современном индустриальном обществе. Но под влиянием этих факторов история городов находится под угрозой превращения в довольно пестрый конгломерат плохо поставленных разнородных и часто не отличимых друг от друга проблем. Она включает все о городах. Однако совершенно очевидно, что история городов в своем развитии поднимает проблемы, по праву принадлежащие социальной истории, так как город сам по себе не может выступать в качестве аналитических рамок в экономической макроистории (так как в экономическом отношении он должен быть частью большей системы), а политически он только в очень редких случаях выступает как самодовлеющий город-государство. В сущности, город — это совокупность человеческих существ, объединенных вместе особым образом, а характерный для современного общества процесс урбанизации делает городскую форму жизни все более типичной для человечества. По крайней мере так было до настоящего времени. Технические, социальные и политические проблемы города возникают, в сущности, из взаимодействия масс человеческих существ, живущих в непосредственной близости друг от друга. Даже идеи людей относительно городов, если последние не рассматривались как сценические площадки для демонстрации мощи и славы како-

го-либо правителя, всегда, начиная с Библии, выражали их представления о человеческих сообществах. Кроме того, город в последние столетия поставил и драматизировал проблему быстрого социального изменения больше, чем любой иной социальной институт. Но вряд ли можно утверждать, что социальные историки, занявшиеся в настоящее время урбанистикой, осознают это обстоятельство¹¹. Можно было бы сказать, что они только ощупью подходят к рассмотрению истории города как модели социального изменения. Но я сомневаюсь что это так, по крайней мере в настоящее время. Я также сомневаюсь, что урбанистике удалось осуществить большое число действительно впечатляющих глобальных исследований крупных городов эпохи индустриального общества, учитывая громадный объем работы в этой области. Однако история города должна продолжать оставаться в центре внимания историков общества хотя бы потому, что она выявляет (или может выявить) те специфические аспекты социетальной структуры и динамики, которыми занимаются социологи и социальные психологи.

Другие центры фокусировки проблематики и исследований не выделились в столь явной мере, хотя, может быть, один или два из них приближаются к положению исторической демографии и урбанистики. История классов и социальных групп выросла на базе распространенного убеждения, что никакое понимание общества невозможно вне понимания его составных компонентов. Но во всяком обществе, не основывающемся на родственных связях, именно классы и социальные группы являются этими компонентами. Ни в какой другой области прогресс исторических знаний не был более драматичным и (учитывая пренебрежение к этому вопросу историков прошлого) необходимым. Предельно краткий список наиболее значительных работ* по социальной истории в этой области должен включать работы Лоуренса Стоуна о елизаветинской аристократии, Е. Ле Руа Ладюри о крестьянах Лангедока, Эдварда Томпсона о возникновении ан-

¹¹ См., например, следующее высказывание Эрика Лапарда: «В истории городов, рассматриваемой с этой более широкой точки зрения, речь идет о том, чтобы социетальный процесс урбанизации рассматривать как главный в исследовании социального изменения». — В кн. "The Historians and the City" ed. Oscar Handlin and John Burchard. (Cambridge, Mass. M. I. T. Press, 1963), p. 233.

гнийского рабочего класса и Аделины Домар о парижской буржуазии. Мы называем здесь только вершины в той массе литературы, которая сама по себе образует горы. По сравнению с литературой, посвященной классам, исследования более узких социальных групп, например профессий, менее значительны.

Новым в исследованиях этого типа был их размах. Классы или специфические типы производственных отношений, такие, как рабство, в настоящее время систематически изучаются или в рамках отдельных обществ, или при сравнительном изучении различных обществ, или же как общие типы социальных зависимостей. Эти исследования не только расширились, но и углубились: исследуются все аспекты социального существования классов, их связи, поведение их членов. Все это ново, и достижения в этой области поразительны, хотя работа здесь едва началась (за исключением областей особо интенсивных поисков, таких, например, как сравнительное изучение рабства). Тем не менее мы сталкиваемся с рядом трудностей, о которых целесообразно сказать несколько слов.

(1) Объем и разнообразие источников для этих исследований настолько велики, что архаические ремесленнические методики историков старой школы совершенно явно оказываются неадекватными. Требуется коллективная работа и вооруженность современной техникой исследования. Я полагаю, что объемные исследования отдельных эрудитов должны, с одной стороны, дополниться коллективными исследовательскими проектами (как, например, запланированное исследование истории рабочего класса Стокгольма в девятнадцатом веке)¹², а с другой — периодическими попытками синтеза результатов. Последние могут быть и индивидуальными. Такая тенденция развития совершенно явно проявляется в области, с которой я знаком лучше всего, а именно в истории рабочего класса. Даже широко задуманная работа Е. П. Томпсона — не более чем большой фрагмент, хотя она и рассматривает довольно ограниченный период истории британского рабочего класса. Титаническая работа Ю. Кучипского «История положения рабочего класса при капитализме».

¹² Работа в настоящее время проводится под руководством профессора Свена Ульрика Пальме из Стокгольмского университета.

как явствует из самого ее названия, охватывает только некоторые аспекты истории рабочего класса*.

(2) В этой области истории возникают пугающие технические трудности даже тогда, когда имеет место концептуальная ясность. Эти трудности особенно характерны для вопросов, в которых мы сталкиваемся с необходимостью измерения изменений во времени: например, увеличение или уменьшение конкретной социальной группы, или изменение числа участков земли в собственности крестьян. Нам может сопутствовать удача тогда, когда мы располагаем источниками, на основании которых такого рода изменения можно установить (например, генеалогии аристократии и дворянства как группы), так и в случае наличия материалов, пригодных для последующего анализа (например, методом исторической демографии, или же с помощью данных, на которых основывались ценные исследования китайской бюрократии). Но что делать, если речь идет об индийских кастах, которые, как мы знаем, претерпевали изменения предположительно и в масштабе поколений и даже самые грубые количественные оценки которых мы дать не в состоянии?

(3) Более серьезны те концептуальные проблемы, которые не всегда четко осознаются историками. Это не мешает им писать хорошие работы, однако приводит к тому, что мы с большим опозданием ставим и решаем более общие проблемы социальной структуры, социальных отношений и их трансформации. Это в свою очередь поднимает ряд технических трудностей, связанных с определением принадлежности к классу в разные исторические периоды. Последнее сильно осложняет количественные исследования. Здесь также возникает проблема многомерности социальной группы. Приведем некоторые примеры. Марксизм употребляет термин «класс» в двояком смысле. С одной стороны, это общее явление для всей племенной истории. С другой — это продукт современного буржуазного общества. В первом смысле понятие класса в марксизме — это почти аналитическая конструкция, призванная придать смысл феноменам, почти не объяснимым иным способом. Во втором смысле «класс» — это группа людей, которые рассматривают себя как единое целое. Точно так же это понятие воспринимается и другими. Изучение классового самосознания в свою очередь поднимает вопрос о терминологии, упот-

ребляемой для обозначения принадлежности к классу, о меняющихся, часто перекрещивающихся и иногда нереалистических терминах современных классификаций¹³. О них до настоящего времени мы знаем слишком мало, чтобы ввести точные количественные определения в наш язык. (Здесь историки могли бы повнимательнее приглядеться к методам и процедурам социальных антропологов, планируя, как Л. Жирар и его группа в Сорбонне, систематическое количественное исследование социополитического словаря¹⁴.)

Существуют также и степени классовости. Используя выражение Теодора Шанина¹⁵, крестьяне, описанные Марксом в «Восемнадцатом брюмера», являются классом «низкой классовости», в то время как пролетариат, по Марксу, — это класс максимальной «классовости». Мы сталкиваемся с проблемами однородности и неоднородности классов или, что может быть то же самое, с проблемами определения их отношений к другим группам, их внутренних делений и стратификаций. В самом общем смысле существует проблема отношений между классификациями, каждая из которых по необходимости статична в любой данный момент, но за которой стоит многоплановая и изменяющаяся реальность.

(4) По-видимому, наиболее серьезная трудность в исследовании классов возникает в связи с изучением истории общества как целого. Класс обозначает не изолированную группу людей, а систему горизонтальных и вертикальных отношений. Поэтому класс — это отношения различия (или подобия) и социальной дистантности. Это вместе с тем отношения качественно различных социальных функций: эксплуатации, господства, подчинения. Изучение класса должно включать поэтому и изучение общества, частью которого он является. Рабовладельцы

¹³ Примеры возможных расхождений между реальностью и классификациями см. в дискуссиях относительно сложных социорасовых иерархий колониальной Латинской Америки (Magnus Mörner, *The History of Race Relations in Latin America*, в книге: L. Foner a. E. D. Genovese. "Slavery in the New World", Englewood Cliffs, N. Y.: Prentice-Hall, 1969, p. 221.)

¹⁴ См.: A. Prost. *Vocabulaire et typologie des familles politiques*. *Cahiers de lexicologie*, XIV (1969).

¹⁵ T. Shanin. *The Peasantry as a Political Factor*. — "Sociological Review", 14 (1966), 17.

не могут быть поняты без рабов и нерабовладельческих секторов общества. Можно было бы доказать, что для самосознания средних классов Европы в девятнадцатом столетии чрезвычайно существенной оказалась способность властвовать над другим (либо с помощью денег, нанимая слуг, либо же иными путями, например через патриархальную семейную структуру). Важным для их самосознания было также и то, что они не находились в прямом подчинении у кого бы то ни было. Изучение классов, коль скоро оно не ограничивается сознательно каким-то частным аспектом, является изучением общества в целом. Именно поэтому наиболее впечатляющие работы по данной тематике — как работа Ле Руа Ладюри — далеко выходят за пределы своего назначения.

За последние годы наиболее удачные попытки исследования истории общества в целом были сделаны при изучении классов в вышеуказанном более широком смысле¹⁶. Будем ли мы видеть в этом обстоятельстве правильное отражение природы послеплеменного общества, либо же влияние марксистской историографии, будущие перспективы исследования этого типа представляются обнадеживающими.

С еще большей остротой центральные методологические проблемы социальной истории ставятся в относительно недавно пробудившемся интересе к коллективному сознанию. В значительной мере он возник на основе традиционного интереса к «обычным людям», интереса, характерного для многих, посвятивших себя социальной истории. Здесь речь идет об исследовании индивидуально не выраженного, не документированного материала, материала малопонятного. А сам интерес к коллективному самосознанию часто неотделим от интереса к истории социальных движений и социального поведения в целом. Сегодня, к счастью, историки социальных движений изучают не только их активных участников, но и тех, кто по тем или иным причинам не принял участия в них, например, не только социалистически настроенных рабочих, но и консервативную прослойку этого класса.

¹⁶ Социальные историки в основном занимались классами. См., например, выступление А. Reuter на IX Международном конгрессе исторических наук, I, 298—299.

Именно это обстоятельство способствует особому динамическому подходу к культуре со стороны историков. Этот подход представляется более плодотворным, хотя он и оказывается под некоторым влиянием изучения «культуры бедности», исследуемой современными антропологами.

До настоящего времени активная роль идей и верований, их устойчивых или мимолетных сочетаний в ситуациях социального напряжения и кризиса исследовались довольно мало. Некоторые ценные мысли по этому вопросу были высказаны Альфонсом Дюпроном¹⁷. Здесь можно сослаться также на работу Жоржа Лефевра «Великий Страх»*, которая породила большое число последующих исследований. Сама природа источников в таких исследованиях редко позволяет историку ограничиться простым фактическим исследованием и изложением. С самого начала он должен конструировать модели, то есть соединять свои разрозненные частные данные в связное целое. В противном случае они будут не более чем совокупность отдельных эпизодов. Критерием правильности такого рода моделей должно быть то, что их компоненты соответствуют друг другу и выявляют природу социального действия в конкретной социальной ситуации¹⁸. Понятие Эдварда Томпсона о «моральной экономии» доиндустриальной Англии может служить одним из примеров таких моделей, моя работа о социальном бандитизме — другим.

В той мере, в какой эти системы представлений и действий оказываются образами общества в целом (или же предполагают таковые), причем в зависимости от обстоятельств, то есть исходя либо из необходимости его стабилизации, либо же преобразования, и, поскольку они соответствуют некоторым аспектам его реальности, они подводят нас ближе к сердцевине нашей задачи. Так как

¹⁷ A. Dupront. Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective. — "Annales: économies, sociétés, civilisations", 16 (January — February 1961), p. 3—11.

¹⁸ Под «соответствием друг другу» (fitting together) я понимаю выявление систематических связей между различными и на первый взгляд не связанными частями одного и того же синдрома. Например, либеральная буржуазия девятнадцатого столетия верила одновременно в индивидуальные свободы и патриархальную семейную структуру.

наиболее успешные работы такого рода имели дело с традиционными обществами, с устоявшимися обычаями, даже если они иногда и испытывали влияние социальных преобразований, применимость моделей, полученных на основе их анализа, оказывается ограниченной. Для периода существования общества, характеризуемого постоянным, быстрым и радикальным изменением, эти модели, выведенные из истории культуры, по всей видимости, все меньше соответствуют социальной реальности. К этому же приводит усложнение общества, выход его за пределы индивидуального опыта, за рамки узких понятий. Эти модели даже перестают быть полезными для конструирования идеалов современного общества («Каким должно быть общество»). Ибо промышленная революция изменила сам характер общественной мысли. До революции исходили из существования некоторого устойчивого социального порядка, описываемого или иллюстрируемого конкретными моделями, как правило, взятыми из прошлого, реального или воображаемого. После промышленной революции общественная мысль основывается на идее бесконечного прогресса в направлении целей, которые сами по себе могут быть определены только как процесс. Культуры прошлого оценивали свое общество через призму таких моделей, культуры настоящего могут измерять свое общество только на фоне возможностей. И все-таки история коллективного сознания оказалась полезной для историографии, внося в нее нечто напоминающее социальную антропологию, и возможности этой истории далеко не исчерпаны.

Я считаю, что польза, приносимая многочисленными исследованиями социальных конфликтов, должна быть подвергнута более тщательной оценке. Ясны причины, по которым они привлекают внимание современных исследователей. Не подлежит сомнению, что социальные конфликты, доводя напряжения в общественном организме до критических точек, точек разрыва, выявляют ключевые моменты социальной структуры. Кроме того, некоторые важные проблемы вообще не могут исследоваться вне таких моментов социальных взрывов. Последние не только выявляют то, что до сих пор было скрытым, но и делают более выпуклыми и концентрированными исторические явления. Социальные потрясения также предоставляют в распоряжение исследователя большой объем

относящейся к ним исторической документации. Возьмем простой пример. Насколько меньше мы бы знали об идеях, которые в обычных случаях никак не выражают себя, если бы не чрезвычайные по своей силе взрывы речевой и письменной активности, характерные для революционных периодов? Здесь мы сталкиваемся с массой памфлетов, писем, статей и речей, не говоря уж о полицейских отчетах, постановлениях судов и следственных комиссий. Насколько плодотворно исследование великих и хорошо документированных событий показывает историография Французской революции, которая исследовалась дольше и, может быть, с большей интенсивностью, чем любой иной столь же краткий отрезок исторического времени. Но длительность и интенсивность исследований этой революции никак не снижает их продуктивности. Она была и остается почти идеальной лабораторией для любого историка.

Однако исследования данного типа сопряжены с опасностью, которая состоит в искушении изолировать явления проявившегося кризиса от более широкого контекста общества, претерпевающего изменения. Эта опасность особенно велика, когда мы занимаемся сравнительными исследованиями, особенно если нами движет желание решить практическую проблему (как остановить или совершить революцию). Но сравнительные исследования не слишком плодотворны в социологии или социальной истории. Общее в восстаниях может быть и тривиальным (скажем, «насилие»). Оно может быть даже иллюзорным, если мы будем рассматривать явления через призму анахронических критериев, равно как и правовых, политических и прочих других. Этого анахронизма постоянно стремятся избежать историки криминологии. Сказанное выше может относиться и к революциям. Я меньше всего хотел бы дискредитировать сравнительно-историческое исследование революций, так как я сам, как историк, потратил достаточное количество времени на это. Однако, исследуя явления, мы должны определить совершенно точно, что нас интересует. Если нас интересуют, например, крупномасштабные трансформации общества, то мы можем столкнуться с таким парадоксом, когда ценность исследования будет в обратной зависимости от величины охваченного им отрезка времени. Для русской революции или же человеческой истории в целом характерны такие

черты, которые могут быть раскрыты лишь при рассмотрении кратких периодов времени, скажем, периода с марта по ноябрь 1917 года или последующей гражданской войны. Но есть и иные черты, которые не выявляются при таком подходе, хотя сами по себе они и драматичны и значительны.

В то же время революции и аналогичные объекты исследования (в том числе социальные движения) могут быть интегрированы в более широкие области явлений, которые в свою очередь требуют глубокого и всестороннего осмысления их социальной структуры и динамики... Термин «кратковременная социальная трансформация» может обозначать нечто длящееся в течение как нескольких декад, так и нескольких поколений. Здесь мы имеем дело не просто с хронологическими отрезками, взятыми из континуума роста и развития, но с относительно короткими историческими периодами, в течение которых общество переориентируется и трансформируется. Термин «промышленная революция» обозначает именно такой период. (Данные периоды могут, конечно, включать в себя и большие политические революции, но хронологически они не ограничиваются последними.) Широкая распространенность таких с исторической точки зрения неотработанных терминов, как «модернизация» или «индустриализация», указывает на известное осознание историками существования подобных периодов.

Трудности исследования таких периодов огромны. Этим, по-видимому, объясняется тот факт, почему еще и сегодня нет постоянного исследования промышленной революции восемнадцатого столетия как социального процесса, хотя мы и располагаем одной или двумя великолепными работами, которые, однако, связаны с региональным и локальным аспектами этого вопроса. К ним можно отнести исследование Рудольфа Брауна о процессе индустриализации в сельских местностях, прилегающих к Цюриху, а также работу Джона Фостера об Оулдхэме в начале девятнадцатого столетия¹⁹. По-видимому, помощь в исследовании такого рода явлений может нам

¹⁹ R. Braun, "Industrialisierung und Volksleben". (Erlenbach Zürich: Rentsch, 1960); "Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet... im 19 und 20 Jahrhundert" (Erlenbach-Zürich: Rentsch, 1965.). Работа Фостера готовится к публикации

оказать сегодня не только экономическая история (которая в значительной мере способствовала изучению промышленной революции), но и политические науки. Исследователи предыстории и истории освобождения от колониализма, вполне естественно, сталкиваются с подобными явлениями и проблемами, хотя, может быть, и в чисто политической перспективе. Особенно плодотворными в этом плане оказались исследования по Африке. Их методики в настоящее время переносятся на Индию²⁰. В результате политическая наука и политическая социология, имеющая дело с модернизацией колониальных обществ, могут оказать некоторую помощь.

Колониальная ситуация (я имею в виду «чистые» и формальные колонии, приобретенные с помощью завоеваний и управляемые из метрополии) при подходе к ней как к объекту анализа обнаруживает известные преимущества: здесь все общество или группа общества отчетливо определены, контрастируя с внешней силой, а их различные внутренние сдвиги и изменения, равно как и реакции на быстрые и неконтролируемые действия этой внешней силы, могут наблюдаться и анализироваться как единое целое. Определенные силы, которые для иных обществ являются внутренними либо же действующими в сложном сплетении с внутренними элементами общества, здесь с практической точки зрения могут рассматриваться как чисто внешние. Это очень облегчает анализ. (Мы, конечно, не должны пренебрегать искажениями, вносимыми колониальным обществом в восприятие исторических явлений, например, такими, как усеченность экономик и социальную иерархию, которая также является результатом колониализации, так как колониальное общество не является точным повторением неколониального.)

Колониальные общества при исследовании обладают и еще одним более конкретным преимуществом. Изучение социального конфликта поднимает важную проблему национализма и возникновения наций. Здесь колониальное общество дает значительно более точное приближе-

²⁰ Эрик Стоукс, который занимается историей Африки, осознает эту возможность. E. Stokes. Traditional Resistance Movements and Afro-Asian Nationalism: The Context of the 1857 Mutiny-Rebellion in India (печатается).

ние к общей модели. Хотя историки в настоящее время едва ли располагают этой моделью, тем не менее комплекс явлений, которые могут быть названы национальными, чрезвычайно важен для понимания социальной структуры и динамики в индустриальную эру. Некоторые наиболее интересные работы по политической социологии уже включают эту проблематику. Исследовательский проект, выполненный Стейном Рокканом, Эриком Алардтом и другими («Формирование центров, образование паций и разнообразие культур»), содержит некоторые очень интересные подходы к этому вопросу²¹.

«Нация» — продукт истории последних двух столетий, громадное практическое значение которой вряд ли нуждается в обсуждении, — поднимает некоторые чрезвычайно важные проблемы истории общества. Например, проблемы изменения масштабов обществ, преобразования плюралистических, опосредованно связанных социальных систем в когерентные системы с прямыми связями или же проблема слияния ряда меньших сообществ в более крупные социальные объединения (общества). В этой же связи возникает вопрос о факторах, определяющих территориально-политические границы отдельных социальных систем. В какой мере эти границы устанавливаются объективно, в соответствии с требованиями экономического развития, предполагающими в качестве пространства для размещения индустриальной экономики типа девятнадцатого века территориальное государство минимальных или максимальных размеров, судя по обстоятельствам?²² В какой мере эти требования автоматически предполагают не только ослабление и разрушение существовавших ранее социальных структур, но и определенное их упрощение, стандартизацию и централизацию, то есть прямые и все более непосредственные связи между

²¹ "Centre Formation. Nation-Building and Cultural Diversity: Report on a Symposium Organized by UNESCO". Симпозиум состоялся 28 августа — 1 сентября 1968.

²² Хотя капитализм развивался как глобальная система экономических взаимосвязей, это развитие происходило на основе некоторых территориально-политических элементов — экономик Британии, Франции, Германии, США. Все это может быть результатом случая. Однако вполне возможно, что даже в эпоху чистейшего экономического либерализма государство оказывается необходимым для экономического развития. (Вопрос этот остается открытым.)

«центром» и «периферией» (или, скорее, «вершиной» и «основанием»)? В какой мере понятие нации заполняет пустоту, оставленную разрушением старых общин и социальных структур, выявляя в социальной жизни нечто такое, что может служить в качестве духовной связи между людьми в обществе? (Понятие национального государства поэтому может иметь объективные и субъективные аспекты.)

Колониальные и экс-колониальные ситуации вовсе не обязательно лучше приспособлены для исследования этого комплекса проблем, чем европейская история. Но при отсутствии серьезных работ по этим вопросам у историков Европы девятнадцатого и двадцатого столетия представляется вероятным, что новейшая афро-азиатская история может оказаться наиболее удобной отправной точкой в решении данного комплекса проблем.

V

Итак, насколько исследования последних лет способствовали изучению истории общества? Я не могу назвать ни одной работы, которая представляла бы тот идеал истории общества, к которому мы должны стремиться. Марк Блок в своем «Феодальном обществе» дал нам мастерскую, в известных отношениях идеальную работу, в которой рассматривается природа социальной структуры. Работа содержит в себе как анализ некоторого определенного типа общества, так и его фактических и возможных вариантов, выявленных с помощью сравнительно-исторического метода, об опасностях и преимуществах которого я не намереваюсь говорить здесь. Маркс набросал для нас (или же предоставил нам возможность сделать это самим) некоторую модель типологии долговременных исторических трансформаций и эволюций обществ. Эта модель остается чрезвычайно действенной и почти столь же далеко опережает свое время, как и Прологомены Ибн-Халдуна *. Модель последнего, основанная на взаимодействии различных типов обществ, также была плодотворной, в особенности для первобытной, античной и восточной истории. В последнее время сделаны важные шаги в направлении исследования обществ конкретных видов — в особенности обществ, основанных на рабстве в

обеих Америках (исследование рабовладельческих обществ античности сейчас отходит на второй план) и обществ, включающих большие массы земледельцев. В то же время попытки синтезировать в популярной форме значительное число работ по социальной истории представляются мне схематическими, пробными, малоуспешными, хотя они и обладают рядом достоинств. К последним можно отнести прежде всего то, что они стимулируют мысль. История общества все еще находится в стадии становления. В этой статье я попытался указать на некоторые из ее проблем, оценить некоторые из направлений ее исследования. Я попытался также выявить те проблемы, решение которых зависит от степени концентрации исследований. Но было бы несправедливым не отметить и не приветствовать замечательный расцвет данной области исторической науки. Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы стать социальным историком. И даже те из нас, кто и не думал называть себя этим именем, сегодня не отреклись бы от него.

У. Дрей «Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке»

Уильям Дрей (Drau William H.), род. в 1921 г. — канадский философ, воспитанник Оксфордской школы логического анализа, профессор университета в Торонто. Основные труды: *Laws and Explanations in History*. Oxford Univ. Press, 1957; *Philosophy of History*. N. Y., Prentice-Hall, 1964.

Публикуемая статья "The Historical Explanation of Actions reconsidered" напечатана в сборнике "Philosophy and History. A symposium". Ed. by Sidney Hook, N. Y., Univ. Press, 1963, p. 105—135.

К стр. 71 * Коллингвуд (Collingwood), Робин Джордж (1889—1943 — английский историк и философ-неогегельянец. Исторические работы Коллингвуда посвящены Британии как провинции Римской империи. Большое внимание уделял проблемам философии истории, считая ее основной задачей, как и философии вообще, вычленению фундаментальных исторических принципов, лежащих в основе познания и отношения человека к миру в разные исторические периоды.

К. Гемпель «Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении»

Гемпель, Карл Дж. (Hempel Carl G.), род. в 1905 г. — американский философ и логик. Получил философское и физико-математическое образование в Германии. С 1934 года живет в США. Профессор Принстонского университета. Видный представитель логического позитивизма. Основные труды: *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*. N. Y., 1952; *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science*. N. Y., 1965.

Публикуемая статья "Reasons and Covering Laws in Historical Explanation" опубликована в сборнике «Philosophy and History. A Symposium». Ed. by Sidney Hook, N. Y., Univ. Press., 1963, p. 143—163.

К стр. 73 * «Объяснения дедуктивно-номологического типа» — дедуктивное объяснение, включающее в свой состав законы науки (от греческого «номос» — закон), причем последние входят в него в своей всеобще-необходимой, а не статистически-вероятностной форме. Приведенная ниже символическая форма такого объяснения и закона читается: для всякого X, если G, то F.

К стр. 75 * «Конъюнкция» — логическая связь «И», связь совместного утверждения, истинная только при истинности всех входящих в нее посылок (высказываний).

К стр. 75 ** «Логических теорий вероятности, развитых Кейнсом и Карнапом». — Имеются в виду теории индуктивной вероятности

(вероятности достоверности вывода индуктивного умозаключения), разработанные английским математиком и логиком Кейнсом и австрийским (впоследствии американским) философом Карнапом. Кейнс и Карнап разграничивают математическое понятие вероятности (вероятность в математике — относительная частота наступления данного события в достаточно большом ряду событий) и логическое ее понятие. Последнее, или «индуктивная вероятность», представляет собой степень подтверждения некоторой гипотезы о характере или механизмах наблюдаемого явления конъюнкцией предложений о данных наблюдения. На основании своей семантической теории Карнап приходит к выводу, что отношение между предложением-гипотезой и предложениями о данных наблюдения является чисто логическим (т. е. априорным, не зависящим от опыта), и степень подтверждения первого вторыми может быть выражена количественно. Отправляясь от подобного понимания логической вероятности, Карнап строит индуктивную логику как логику вероятностную и пытается решить ряд трудностей, связанных с индуктивным выводом от частного к общему.

К стр. 76 * «Относится к логике, а не психологии объяснения». — Разграничение логического и психологического подхода к решению методологических проблем является одной из основных идей современной гносеологии. Психологический подход исследует фактически происходящий процесс вывода, доказательства, объяснения и т. д. в его зависимости от психологических свойств лица, осуществляющего данное доказательство, объяснения его намерений в отношении аудитории, мотивов и т. д. При логическом подходе подчеркиваются нормативные и объективные стороны рассматриваемых процессов (как должно мыслить, чтобы достичь истины; наука как связь объективных истин).

К стр. 77 * «Метатеоретический смысл». — В метатеоретических исследованиях научные теории рассматриваются как первичные, подлежащие обобщению и анализу факты.

К стр. 77 ** «Теоретические сущности» Рамсея и Крейга. — Имеется в виду теория так называемых «логических конструкторов», выдвинутая Б. Расселом и усовершенствованная математическими логиками Рамсеем и Крейгом. «Логический конструктор» — это объект научной теории, построенный из совокупности непосредственно данных в опыте отношений и свойств и заменяющий так называемую «выведенную» (не данную в непосредственном опыте) «теоретическую сущность». Теория логических конструкторов допускает субъективно-идеалистическую интерпретацию. Марксистский анализ понятия логического конструктора см. в кн.: Е. Ледникова. Проблема конструкторов в анализе научных теорий. Киев, 1969.

Э. Нагель «Детерминизм в истории»

Нагель (Nagel) Эрнест, род. в 1901 г. — американский философ и логик, профессор Колумбийского университета. Основные труды: *Sovereign Reason and Other Studies in the Philosophy of Science*. N. Y., 1954; *Logic without Metaphysics*. N. Y., 1956; *The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation*, N. Y., 1961.

Публикуемая статья представляет собой перевод 4-го раздела 15-й главы последней книги (стр. 592—606). Впервые она была опубликована в 1960 году в журнале "Philosophy and Phenomenological Research".

Ф. Бродель «История и общественные науки»

Фернан Бродель (F. Braudel) род. в 1902 году — французский историк, профессор Сорбонны, редактор журнала «Annales». Есоopies, Societes, Civilisations». Став после смерти Марка Блока и Люсьена Февра главой так называемой «школы Анналов», Бродель фактически руководит сейчас наиболее плодотворным направлением в изучении социально-экономической истории на Западе. Как в своих конкретно-исторических исследованиях, так и в многочисленных статьях он активно выступает за сближение общественных наук и расширение теоретической базы историографии. Этим же проблемам посвящена публикуемая в настоящем сборнике статья "Histoire et sciences sociales. La longue durée" (Annales, octobre-decembre, 1958, p. 725—753). Статья была напечатана в кн. "Ecrits sur l'histoire". P., 1969. По соображениям объема в русский перевод не включена третья часть статьи, «Коммуникация и социальная математика», посвященная применению количественных методов в истории.

К стр. 115 * Леви-Стросс (Levi-Strauss), Клод, род. в 1908 г. — крупнейший французский этнолог, основатель структурной антропологии.

К стр. 118 * Лакомб (Lacombe), Поль (1833—1919) — французский историк и социолог. Генеральный инспектор архивов и библиотек Франции. Основные работы посвящены социально-экономической истории Франции.

К стр. 118 * Симиан (Simiand), Франсуа (1873—1935) — французский экономист и историк. Занимался, в частности, историей цен и заработной платы.

К стр. 121 * «Классический цикл Кондратьева» — гипотеза советского экономиста Н. Д. Кондратьева (род. в 1892 году) о существовании в мировой экономике больших экономических циклов, или «длинных волн», связанных с обновлением техники, постоянного капитала и т. д. (см.: Н. Д. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры, М., 1928). Эта гипотеза критиковалась советскими экономистами, но на Западе получила широкую популярность. В "Intern. Encycl. of the Social Sc." Кондратьеву посвящена специальная статья (v. 8, p. 443—444).

К стр. 122 * Лабрусс (Labrousse), Эрнест, род. в 1895 г. — французский историк экономики, профессор Сорбонны. Основная проблема исследований Лабрусса — связь экономических кризисов (понимаемых несколько ограниченно как кризисы экономической конъюнктуры) с политическими революциями. Название главного труда Лабрусса см. в ссылке к данной статье.

К стр. 128 * Ланглуа (Langlois), Шарль (1863—1929) — французский историк-медиевист, профессор Сорбонны, директор Национального архива.

К стр. 128 * Сеньобос (Seignobos), Шарль (1854—1942) — французский историк; занимался исследованием разных областей французской истории, с конца XIX века — в основном вопросами политической и парламентской истории.

К стр. 130 * Видаль де Ла Блаш (Vidal de La Blache), Поль (1845—1918) — французский географ и социолог, основатель так называемой «человеческой географии», то есть географии, понимаемой как экология человеческих сообществ.

К стр. 130 ** Малиновский (Malinowski), Бронислав (1884—1942) — английский этнограф, антрополог и социолог, основоположник функциональной школы. Бродель, указывая на слабости теории Малиновского, имеет в виду, что враждебность спекулятивному историцизму и эволюционизму у функционалистов тяготеет к полному разрыву с историческим подходом к исследованию общества.

К стр. 140 * Здесь и выше Бродель явно смешивает догматическую интерпретацию марксизма с жизненными принципами марксистской теории, полностью сохраняющей свою методологическую ценность и сегодня. См. об этом подробнее во вступительной статье.

Т. Шидер «Возможности и границы сравнительных методов в исторических науках»

Шидер (Schieder) Теодор, род. в 1908 году — западногерманский историк, редактор журнала *Historische Zeitschrift*. Публикуемая статья “Möglichkeiten und Grenzen vergleichenden Methoden in der Geschichtswissenschaft” представляет собой один из разделов его философско-методологической книги “Geschichte als Wissenschaft Eine Einführung”. München — Wien, 1965, S. 187—211. Теоретико-методологическим вопросом был посвящен доклад Шидера на XIII Международном конгрессе историков в Москве. См. Th. Schieder. “Unterschiede zwischen historischer und sozialwissenschaftlicher Methode”, Moskau, 1970, S. 5—6.

К стр. 149 * Нибур (Niebuhr), Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности, профессор Берлинского и Боннского университетов. Широко пользовался аналогией при реконструкции социально-экономической истории Рима.

К стр. 149 ** Дройзен (Droysen), Иоганн Густав (1808—1884) — немецкий историк, профессор Кильского, Йенского, Берлинского университетов. Наряду с исследованиями по средневековой и новой истории Германии, прусской политике и эллинизму много занимался методологическими проблемами исторической науки.

К стр. 151 * Бернхейм (Bernheim), Эрнст (1850—1921) — профессор истории в Грейфсвальде. Работы Бернхейма посвящены преимущественно методологии исторического исследования и средневековому восприятию времени, его влиянию на политику и историографию феодализма.

К стр. 151 ** Штейн (Stein), Лоренц фон (1815—1890) — профессор истории в Киле и Вене. Историк права и экономики. Один из первых немецких историков, обративших внимание на значимость истории рабочего движения. Ряд работ Штейна посвящен истории утопического социализма.

К стр. 152 * Лампрехт (Lamprecht), Карл (1856—1915) — нем. историк, профессор Марбургского и Лейпцигского университетов. Под «генерической» концепцией историографии имеют в виду выступления Лампрехта в защиту социально-экономической истории и истории коллективов («родов») против индивидуализирующей истории школы Ранке и неокантианцев. Выступления Лампрехта вызвали бурную дискуссию среди немецких историков конца XIX века.

К стр. 152 ** Белов (Below), Георг фон (1858—1927) — ведущий историк германского права и экономики. Автор ряда дискуссионных работ по философии истории.

К стр. 153 * Риккерт (Rickert), Генрих (1863—1936) — представитель баденской школы неокантианства. Автор ряда работ, обосновывающих принципиальные различия естественных и общественных наук. Основная работа Риккерта “Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung”, 1896; (есть русский перевод 1911 года).

К стр. 153 ** Трёльч (Troeltsch), Эрнст (1865—1923) — профессор философии в Бонне, Гейдельберге и Берлине. Представитель исторического метода в теологии, исследующего развитие христианства в связи с общим развитием европейской культуры. Социология религии Трёльча сложилась под прямым влиянием социологии Макса Вебера. В последние годы жизни выступал с рядом работ, посвященных историзму как методу мышления. “Der Historismus und seine Probleme”, Berlin, 1922; “Der Historismus und seine Überwindung”, Berlin, 1924.

К стр. 155 * Дильтей (Dilthey), Вильгельм (1833—1911) — основоположник «философии жизни» с ее критикой абстрактно-спиритуалистской теории природы человека в немецком классическом идеализме. Историк философии и духовной жизни Германии. В методологии исторического познания известен как автор «понимающей историографии», т. е. историографии, стремящейся постичь духовный мир исторических деятелей путем эмпатического сопереживания. Библиографию произведений Дильтея см. в соответствующих сносках статьи Ф. Мэньюеля.

К стр. 157* Хинце (Hintze), Отто (1861—1940) — нем. историк, ученик Дройзена, проф. Берлинского университета. Известен сравнительно-историческими работами по правоведению и конституционной истории западноевропейских народов.

Э. Питц «Исторические структуры»

Питц (Pitz), Эрнст — западногерманский историк. Публикуемая статья “Geschichtliche Strukturen. Betrachtungen zur angeblichen Grundlagenkrise der Geschichtswissenschaft” была напечатана в *Historische Zeitschrift*, Heft 198/2, Apr. 1964. По соображениям объема дается перевод лишь первой части статьи (стр. 265—289). В заключительной части статьи Питц пытается опровергнуть тезис о существовании фундаментального кризиса исторической науки, возражая против применения в ней социологических методов и теорий.

П. Ласлетт «История и общественные науки»

Ласлетт (Laslett), Питер — английский историк, профессор Кембриджского университета, ведущий представитель английской школы исторической демографии, один из руководителей Кембрижской группы по изучению истории населения и социальной структуры.

Важнейшие труды: "The World We Have Lost", London, 1971; "Household and Family in Past Time", edited with an analytic introduction on the history of the family by Peter Laslett. Cambr. Univ. Press, 1972.

Публикуемая статья "History and the Social Sciences" напечатана в Intern. En cycl. of the Social Sciences", V. 6, N. Y., 1968, p. 434—440 как раздел 2 статьи History.

К стр. 203 * Вебер (Weber), Макс (1864—1920) — влиятельный немецкий социолог, основоположник социологии религии. Известен также работами по политической социологии и методологии историко-социальных исследований.

К стр. 203 * Маршалл (Marschall), Томас Хемфри, род. в 1893 г. — английский социолог, профессор Лондонской школы экономики; в конце 50-х годов директор департамента общественных наук ЮНЕСКО. Представитель структуралистского направления в социологии. Много занимался вопросами классовой структуры и стратификации современного общества, часто давая антимарксистские их решения.

К стр. 203 ** Токвиль (Tocqueville), Алексис де (1805—1859) — французский государственный деятель, историк. Работа Токвиля «О демократии в Америке» — одно из первых исследований социально-политического строя США с позиций буржуазного либерализма.

К стр. 205* «контент-анализ» — метод количественной обработки больших массивов документов, разработанный в американской социологии. Метод основывается на подсчете частотности появления различных тем в коммуникационных потоках, средствах массовой информации. Полученные числовые данные, допускающие статистический анализ, позволяют делать выводы об относительной значимости той или иной темы в общественном сознании.

К стр. 208 * Имеется в виду вызвавшая острые споры работа американского историка Д. Хекстера, поставившего под сомнение тезис о подъеме буржуазии в тюдоровской Англии и о буржуазном характере английской революции XVII века. Статьи эти собраны в кн.: J. H. H e x t e r. Reappraisals in History. London, 1961.

К стр. 214 * Парсонс (Parsons), Толкотт, род. в 1902 г. — американский социолог, профессор Гарвардского университета. Сторонник теоретического направления в американской социологии. В своей теории «социального действия» осуществляет поиски категориального аппарата структурно-функционального анализа общественных явлений.

Ф. Ариес «Возрасты жизни» и «Заключение»

Ариес (Ariès), Филипп, род. в 1914 г. — французский историк, автор ряда работ по исторической демографии и психологии, в том

числе: *Les Traditions sociales dans les pays de France; Histoire des populations françaises et leur attitude devant la vie; Temps de l'histoire*. В настоящем сборнике публикуются два раздела основной работы Ф. Ариеса "L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Regime, P., 1960.

К стр. 217 * О пространственно-временных представлениях средневекового человека см. А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1971, стр. 84—138.

К стр. 221 * Кордые (Cordier), М. (1479—1546) — франц. педагог-латинист, один из лидеров кальвинизма во Франции и Швейцарии. Автор ряда работ по педагогике.

К стр. 221 ** В современном французском языке "puérilité" означает ребячество, мальчишество, а "sénilité" — сенильность, дряхлость, старческий распад личности.

К стр. 222 * В данном случае под «космосом» понимается идущее из греческой философии учение о единстве и взаимосвязи всех явлений действительности.

К стр. 223 * Фульгенциус — латинист и мифограф VI века, автор ряда книг, в том числе аллегорического толкования «Энеиды» Вергилия.

К стр. 224 * «Исидор и Константин» — авторы раннесредневековых энциклопедий. Исидор — архиепископ Севильский (560—636). Особенность энциклопедии Исидора — включение в нее этимологии (часто весьма искусственной и произвольной) латинских слов и терминов. Константин VII (Багрянородный) — византийский император (905—959).

К стр. 224 ** Латинский глагол *adolesco*, от которого образовано существительное *adolescence* (юность), означает расти, крепнуть.

К стр. 226* Филипп из Новары — юрист Ломбардии, род. в конце XII века. — Поэт, мемуарист.

К стр. 230* В оригинале приведен целый ряд слов двойственного значения. Слова *valet, valeton, garçon, fils, beaufils*, с одной стороны, обозначают мальчика, ребенка, с другой — младшего по возрасту и положению. Например, *valet* (видоизменное от *vaslet*) — молодой дворянин, оруженосец. *Valeton* — уменьшительное от *valet*. Этимологические наблюдения Ариеса подтверждаются и примерами из русского языка. Например, слово «отрок» первоначально обозначало не только ребенка, но и слугу, холопа, работника, в буквальном смысле — «не имеющий права говорить» (из слов «от» и «реку»). См.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. 3, М., 1971.

К стр. 232 * Пор-Рояль — Монастырь под Парижем и одноименная религиозная община в Париже. Центры яansenизма, морализирующе-реформатского направления католицизма, близкого по духу к протестантизму. При монастыре имелись школы.

К стр. 234 * Мадам де Севинье (Sevigné) — годы жизни 1626—1696 — маркиза, французская писательница эпистолярного жанра. Ее сохранившиеся письма к разным лицам ярко рисуют жизнь Па-

рижа и провинции второй половины XVII века. Первый сборник ее писем вышел в 1720 году; с тех пор письма неоднократно издавались и переиздавались.

К стр. 234** Куланж (Coulanges), Франсуа де (1633—1716) — поэт. Сохранилась его обширная переписка с мадам де Севинье. Мемуары Куланжа были опубликованы в 1820 году.

К стр. 236 * Имеется в виду первое социологическое исследование положения молодежи во Франции, проведенное писателем и социологом Масси в 1911 году.

К стр. 237* Ротру (Rotrou), Жан (1609—1650) — французский драматург.

К стр. 237** Кино (Quinault), Франсуа (1635—1688) — франц. поэт и драматург.

К стр. 238 * Рестиф де ла Бретон (Restif de la Bretonne), годы жизни — 1734—1806. Популярный писатель второй половины XVIII века, филантроп, предшественник Фурье и французского утопического социализма.

К стр. 240 * Жерсон (Gerson), Шарль (1363—1429) — французский теолог, ректор Сорбонны, автор Университетского Устава.

Ф. Фюре *«О некоторых проблемах, поставленных развитием количественной истории»*

Фюре (Furet), Франсуа (род. в 1927 г.) — французский историк, директор Исследовательского Центра "Ecole Pratique des Hautes Etudes", историк народного хозяйства Франции. Соавтор книг: *Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIII^e siècle* (avec A. Daumard), 1961; *La Revolution française*, 2 vols. (avec D. Richet), P., 1964—1965; *Livre et société dans la France au XVIII^e siècle*, 2 vols., The Hague, 1965—1970.

К стр. 246 * "monumenta" — здесь совокупность исторических документов.

К стр. 246** Беверидж (Beveridge), Уильям Генри, барон (1879—1965) — английский экономист, создатель современной (после второй мировой войны) системы социального страхования в Англии. Важнейшее его историко-экономическое исследование посвящено динамике цен и заработной платы в Англии XII—XIX вв.

К стр. 246*** Гамильтон (Hamilton) Эрл Д. — американский историк-экономист, автор книги "American Treasure and the Price Revolution in Spain: 1501—1650." Cambr. Mass., 1934.

К стр. 246 Симиан и Лабрусс — см. комментарии к стр. 118, 122.

К стр. 248* Анри (Henry), Луи — один из основателей современной французской исторической демографии. Из его работ можно назвать "Manuel de demographie historique". Genève, Droz, 1967.

К стр. 248 * Губер (Goubert), Пьер — один из основателей современной французской исторической демографии. Автор "Louis XIV

et Vingt Millions de Français", Paris, 1969 (издано в США в 1970), "L' Ancien Regime". Paris, 1969, обзорная статья в сб. "The Family in History. Interdisciplinary Essays". Ed. by T. K. Raab and R. L. Rotberg. N. Y., 1971, p. 16—27 и др.

К стр. 249 * Период "take-off" (старта) в теории американского экономиста У. Ростоу — критический момент в развитии национальной экономики, характеризуемый полным прекращением сопротивления традиционного общества экономическому росту, высвобождением социальных сил, делающих прогресс экономики национальной задачей. Ростоу считает, что этот период имел место в экономике Англии конца XVIII века, во Франции и США в 30-х и 40-х годах XIX века, в Германии — в третьей четверти XIX столетия, в Японии — в последней четверти XIX столетия, в России — на рубеже XIX и XX веков.

К стр. 249 ** «Макроэкономические балансы» — система экономических показателей, характеризующих источники и темпы производства, основные пропорции и соотношения в развитии национальной экономики в целом.

К стр. 250 * Кузнец (Kuznets), Саймон — американский экономист, известный, в частности, разработанными им методами исчисления национального дохода и их систематическим применением к пройденным фазам экономического развития.

К стр. 250 ** «Модель по схеме затраты-выпуск» — предложенный американским экономистом В. Леонтьевым (лауреатом Нобелевской премии по экономике) метод исследования производственных связей между отдельными отраслями народного хозяйства. Анализ основан на использовании матриц, показывающих распределение продукта, произведенного в данной отрасли народного хозяйства, между другими отраслями, и количество продуктов и услуг, необходимых для производства данного продукта определенной отраслью народного хозяйства. Американские экономисты приписывают этому методу особую ценность в исследовании истории народного хозяйства.

К стр. 251 * Шаптал, Жан-Антуан (1756—1832) — французский химик и государственный деятель, министр внутренних дел в правительстве Наполеона I.

К стр. 251 ** «Политические арифметики», — Термин «политическая арифметика» впервые в XVII веке был употреблен В. Петти. Первоначально под ним понималось любое исследование социальных явлений, проводимое с помощью количественных методов. С конца XVII века этим термином стали обозначать работы по демографической статистике.

К стр. 252 * «Микроэкономический анализ». — Экономическое исследование частных областей экономики, отдельных экономических единиц: предприятий, отраслей, семей, производителей и т. д.

К стр. 253 * «Заемствование метода у современной антропологии». — Имеется в виду структурно-функциональный метод англо-американской этнографии с его критикой «спекулятивного эволюционизма и историзма».

К стр. 259 * Разграничение общества «мыслимого» и общества «переживаемого» у Леви-Стросса отражает факт несовпадения стереотипов общественного сознания (тех представлений, которые общество имеет о самом себе) и повседневной практической жизнедеятельности людей.

Ф. Мэнюел «О пользе и вреде психологии для истории»

Мэнюел (Manuel), Франк Е. (род. в 1910) — американский историк общественной мысли, профессор Нью-Йоркского университета. Автор книг: "The New World of Henri Saint-Simon". Cambr. Mass., 1959; "The Eighteenth Century Confronts the Gods". Cambr. Mass., 1962; "Isaac Newton, Historian". Stanford, 1965. Мэнюел — редактор тома библиотеки Daedalus, посвященного утопиям и утопической мысли. Публикуемая статья Мэнюеля "The use and abuse of psychology in history" напечатана в журнале «Daedalus», Winter 1921, p. 187—210.

К стр. 262 * Уайтхед (Whitehead), Альфред Норт — английский философ и математик (1861—1947), профессор Гарвардского университета, один из крупнейших представителей неореализма.

К стр. 263 * пирронисты — скептики.

К стр. 263 ** Книга Эстер — одна из книг Ветхого Завета.

К стр. 278 * Имеется в виду учение Э. Эриксона о восьми кризисах, переживаемых человеком в ходе его полного онтогенетического развития.

К стр. 282 * Просопография — новая историческая дисциплина, посвященная так называемым коллективным биографиям, то есть общим чертам биографий представителей определенных социальных групп. В этом же номере «Daedalus» имеется специальная статья, посвященная просопографии.

К стр. 282 ** Браун (Brown), Норман — современный американский неофрейдист, автор влиятельной книги "Life against death: the Psychoanalytic Meaning of History". N. Y. Random House, 1959.

К стр. 286 * Лавджой (Lovejoy), Артур (1873—1962) — американский историк философии. Автор ряда работ по средневековой и новой истории философии.

К стр. 286 ** «Вытеснение и сублимация» — термины фрейдистской психодинамики. Вытеснение — перемещение запретного желания в область подсознательного. Сублимация — преобразование этого желания в другой разрешенный вид деятельности, часто в творчество.

Э. Дж. Хобсбоум «От социальной истории к истории общества»

Хобсбоум (Hobsbawm), Эрик Дж., (род. в 1917) — профессор экономической и социальной истории Бёркбек-колледжа Лондонского университета. Основные труды: «Primitive Rebels» Manchester, 1959; «Age of Revolution» London, 1969; «Industry and Empire» London, 1968; «Bandits» London, 1969. Публикуемая статья "From Social

History to the History of Society" напечатана в журнале «Daedalus», Winter 1971, p. 20—45.

К стр. 291 * Пиренн (Pirenne), Анри (1863—1935) — бельгийский историк, основатель первой кафедры экономической истории в Бельгии. Широко известны его работы по экономической и социальной истории средневековья и истории городов.

Ростовцев М. И. (1870—1952) — русский историк, специалист по истории Рима и эллинизма. Эмигрировал после Октябрьской революции. Преподавал в ряде университетов Англии и США.

Томпсон Дж. — английский историк-экономист. Известен своими работами по истории английской промышленной революции, в том числе по истории рабочего класса (The Making of the English Working Class. London, 1963).

Допш (Dopsch), Альфонс (1868—1953) — австрийский историк-медиевист. Проф. Венского университета. Специалист по источниковедению раннего средневековья, аграрной истории и истории государства и права.

К стр. 291 ** Анвин (Unwin), Джордж (1870—1925) — английский историк-экономист, основатель первой кафедры экономической истории в Англии, автор многочисленных работ по истории труда, финансов и средневековых цехов.

К стр. 291 *** Клэпхэм (Clapham), Джон Гарольд (1873—1946) — английский историк, автор ряда обобщающих работ по экономической истории Европы нового времени.

К стр. 293* Тони (Tawney) Р. Г. (1880—1962) — английский историк, ведущий представитель английской школы экономической истории, автор широко известных работ по аграрной истории XVI в. и особенно книги "Religion and the Rise of Capitalism", London, 1926 (2-е издание, 1963), в которой исследуется связь кальвинизма с зарождающейся буржуазной идеологией.

К стр. 297 * Тилли (Tilly), Чарльз — профессор социологии и истории Мичиганского университета. Автор книги "The Vandee". N. Y., 1965.

Смелсер (Smelser) Н., род. в 1930 г. — американский социолог, профессор Калифорнийского университета, автор книги "Social change in the Industrial revolution", Chicago, 1959.

Вольф (Wolf), Эрик — современный западногерманский этнолог, профессор Фрайбургского университета.

Хикс (Hicks), Джон, сэр — английский экономист, автор книги "The Theory of Wages". N. Y., 1932 (2-е изд., 1964).

Харен (Hagen), Эверетт — американский экономист, автор книги "On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins", London, 1964.

К стр. 299 * Имеется в виду направление современной буржуазной политэкономии, возрождающее некоторые рикардианские идеи и выступающее против господствующего субъективизма в теориях стоимости и экономического роста (Мид, Самуэльсон и др.).

К стр. 301 * «Общность» — органическое единство группы людей, основанное на общем происхождении, языке, взглядах и т. д. «Общество» — функциональное единство людей, связанных выполнением одной задачи.

К стр. 303 * То есть став на позиции исторического номинализма и отвергнув правомочность употребления общих понятий, таких, как «общество».

К стр. 307 * В англо-американском употреблении термин «культурная антропология» близок нашему понятию этнографии.

К стр. 307 ** Название книги Ласлетта "The World We Have Lost". Выходные данные см. в соответствующей сноске.

К стр. 309 * Имеются в виду следующие работы: L. Stone, "The Crisis of the Aristocracy, 1558—1641", Oxford, 1965; Le Roy Ladurie Em. "Les paysans du Languedock". Paris, 1969; Thompson E. "The Making of the English Working Class". London, 1963.

К стр. 311 * Имеется в виду работа известного экономиста ГДР Юргена Кучинского "Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus" (40 томов). Отдельные тома есть в русском переводе.

К стр. 314 * Lefebvre Georges, "Le Grande Peur de 1789". Paris, 1932.

К стр. 320 * Ибн-Халдун (1332—1406) — великий арабский историк и философ. Важнейший труд «Книга примеров по истории арабов, персов, берберов...». В русском переводе фрагменты первого тома этого труда см. в книге «Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока», М., 1961.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| Вступительная статья. История в системе общественных наук | 5 |
|---|---|

Часть первая

Логические проблемы исторического исследования.

| | |
|--|----|
| Уильям Дрей. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке | 37 |
| Карл Гемпель. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении | 72 |
| Эрнест Нагель. Детерминизм в истории | 94 |

Часть вторая

События и структуры

| | |
|--|-----|
| Фернан Бродель. История и общественные науки. Историческая длительность | 115 |
| Теодор Шидер. Возможности и границы сравнительных методов в исторических науках | 143 |
| Эрнст Питц. Исторические структуры. (К вопросу о так называемом кризисе методологических основ исторической науки) | 168 |

Часть третья

История и другие общественные науки

| | |
|--|-----|
| Питер Ласлетт. История и общественные науки | 199 |
| Филипп Ариес. Возрасты жизни | 216 |
| Франсуа Фюре. О некоторых проблемах, поставленных развитием количественной истории | 245 |
| Франк Е. Мэнюел. О пользе и вреде психологии для истории | 262 |
| Эрик Дж. Хобсбоум. От социальной истории к истории общества | 289 |
| Комментарии переводчика и составителя | 322 |

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Редактор *Л. В. Пеняева*
Художник *А. Д. Смеляков*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технический редактор *Г. Н. Калининцева*
Корректор *Г. Н. Иванова*

Сдано в набор 15.4.1975 г. Подписано в
печать 16.5.1976 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 1. Условн. печ.
л. 17,64. Уч.-изд. л. 17,60. Тираж 5 000
экз. Заказ № 6565. Цена 1 руб. 32 коп.
Изд. № 21366.

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли,
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21
Отпечатано с набора Московской
типографии № 5 Союзполиграфпрома
в Московской типографии № 7
«Искра революции» Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, К-1, Трехпрудный пер., 9
Зак. 01640